1974

10



СССР

Молодая гвардия



Иван Саввич НИКИТИН

К 150-летию со дня рождения

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал ЦК ВЛКСМ

Молодая гвардия

1974
10

Основан в 1922 году

В НОМЕРЕ:

Первая страница обложки: гравюра С. Лукашова.

Наш адрес:

103030, Москва, К-30, Сущевская, 21, редакция журнала «Молодая гвардия». Коммутатор: 251-15-00; отдел прозы — доб. 2-40; отдел поэзии — доб. 4-13; отдел очерка и публицистики — доб. 4-26; секретариат — доб. 4-16; отдел критики — доб. 4-14; отдел «Товарищ» — доб. 3-66.

Подписку на журнал «Молодая гвардия» можно оформить в пунктах «Союзпечати», у общественных распространителей на предприятиях, в колхозах, совхозах, учебных заведениях, а также в отделениях связи и на почтамтах.



ПОЭЗИЯ

Алексей **НЕДОГОНОВ**

СЕРГЕЙ ЛАЗО

В момент наступления японских войск, 5 апреля 1920 года, члены Военного совета — Лазо, Сибирцев, Луцкий — находились в здании следственной комиссии, на Полтавской улице, дом № 3, где и были арестованы японцами.

■

...Светает... Крики... Дым костров...
Десятый день с начала бури.
Бандит-хорунжий Бочкарёв
стоит на станции Уссури.

И каждый день одно и то ж:
насилья, пытки и кутеж.
И вот сюда, минуя ТОЛ,
к платформе медленно и глухо
японский поезд подошел...
Дождь начинал... Но было сухо...
Деревья дрогли на ветру...
Дождь начинал... Несло грозою...
Костры дымились... Кобуру
Бочкарь потрагивал рукою.
И на площадке выжидал,
покуда пьяный камчадал —
его палач —
преподнесет
ему «подарок».

У теплушки
японцы стали — грудь вперед, —
как оловянные игрушки.
Дождь начинал. По-над травой
блеснула молния. И яро
гром треснул. И над головой —
невыносимых три удара.

Казалось, будто полгоры
обрушилось в тартарары!
Японцы в блеске эполет,
забыв «гостинцы» фронтовые,
ведут Лазо
За ним вослед
Сибирцев, Луцкий, боевые
его товарищи, прошли,
как победители земли.

ЗВОНКОЕ СЕРДЦЕ ПОЭТА

К 60-ЛЕТИЮ АЛЕКСЕЯ НЕДОГОНОВА

Алексей Недогонов ушел из жизни молодым. Ему было тридцать три года. Всенародная слава только присматривалась к нему. Поэма «Флаг над сельсоветом», напечатанная за год до этого в журнале «Новый мир», только начинала свое триумфальное шествие по издательствам страны. Но всесоюзный читатель уже понял, что в советскую поэзию пришел настоящий поэт со своим подходом к теме, со своим неподражаемым голосом.

Он не успел увидеть своей первой поэтической книги, которая выходила в издательстве «Молодая гвардия». Книга называлась символично — «Простые люди». Всю свою жизнь Алексей Недогонов жил среди них. И когда работал на руднике в городе Шахты Ростовской области, и когда трудился на заводе в Москве, и когда воевал. Он был поэтом

Гроза играла. Для Лазо
мгновенье память возвратила,
где время детства колесо
вдоль Бессарабии катило.

Он вспомнил ночь, когда ему
хотелось выйти в дождик, в тьму.

Он вспомнил молний бирюзу:
тогда над юной головою
блистало небо синевою...
О, как Лазо любил грозу!
Его ведут: «Бурсук, дозо!..»
И отдают его под стражу.
И посмотрел Сергей Лазо
в последний раз на землю нашу.
И вспомнил вдруг Сергей Лазо

простых людей, несуетливым и внимательным. Алексей Недогонов успел написать сравнительно немного. Но написанное им прошло суровое испытание временем. За три истекших десятилетия вышло 14 поэтических сборников поэта. И ни один из них вы не увидите на прилавках магазинов, ибо это стихи мужественной любви и зоркого сердца. И недаром, его крылатые строки: «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд», — сказанные по-народному афористично, стали народной пословицей.

Предлагаемые читателям неопубликованные стихи были созданы поэтом в начале творческого пути. Они представляют несомненный интерес для любителей поэзии. Два стихотворения посвящены Александру Лильеру-Логвину, журналисту и поэту, с которым дружил Алексей Недогонов.

В этом году Алексею Недогонову было бы шестьдесят лет. Похоронен он рядом с Сергеем Есениным...

Анатолий ПАРПАРА, руководитель литобъединения имени А. Недогонова

народ, чья сила подымала,
и понял вдруг Сергей Лазо,
что жить ему осталось мало...
Открыв горящие глаза,
с площадки, стоя под прикладом,
ловил он землю и леса
своим прощальным жадным взглядом.

Всегда кипевшее в борьбе,
в нем молодое сердце ныло:
тайга опять звала к себе,
в густые заросли манила.
Она звала его: «Иди,
твое бессмертье впереди!»
...Он будто слышал, как народ
сквозь дым ночей, атак, пожарищ
сказал ему, идя вперед:
«Прощай, Сергей, прощай, товарищ,
мы отомстим врагу за вас!..»
Слепила молния сияньем...
И это было в первый раз
таким тяжелым расставаньем.

Вдруг промелькнуло — боль погонь,
сраженье под Сучаном, сопки,
тайга, подполье и огонь
гудящей паровозной топки...

И вечность!..

Время настает...
Перед народом сердцем чисты,
с бесстрашьем в голосе: «Вперед!..»
Так умирают коммунисты.

СОЛОВЬЕНЫШ

...Вот он вытянул шейку надутую.
Задыхаясь,
Кружась и свистя,
Он замлел за второю минутою...

Знаменитое это дитя.
Что с ним стало,
С беспечным, непонятым?
Он погиб?
Но к чему ж —
Невдомек,
Невпопад —
Над моим подоконником
Проплывает зеленый дымок?

Так и я не узнаю, не вызнаю
Этот мир.
Только в громком бою
Задохнусь и повисну над жизнею,
Не окончивши песню свою.
Ты приди, мой товарищ, до дерева,
На котором листы широки,
Под которым две жизни утеряны
Ради нечеловечьей тоски.

Встань под ним
И прислушайся к мерному
Содроганью ветвей и листвы,
К тишине наплывающей,
К первому
И короткому смеху совы.

Но меня за нестройность
Не выменяй.
Ради нашей огромной любви
Ты
Моим отмирающим именем
Это дерево назови.
Чтоб я слышал
Скупое волнение
Птиц залетных,
Зеленых ветвей,
Чтоб взрывалось
Знакомое пение
Над забытой могилой моей.
Чтоб касаться бы
Сумрака серого.

Чтоб остаться навеки
С тобой,
Ты приди, мой товарищ,
До дерева
И допой мою песню,
Допой.

СТРАНА НЕПУГАНЫХ ПТИЦ

Каждую ночь, угловатый на вид,
Старец сидит. И на небо глядит.
Ноги поджавши и руки скрестив,
Он воскрешает волшебный мотив.
— Дай-ка присяду, а ты — у окна.
Правду поведаешь, старина, —
Дрогнули кантеле струны, и он
Начал былину глубоких времен...
Пел он о том, как в губительный мрак
Канули боги раскосые. Как
Мамонт во мгле погибал. А потом
Шла Скандинавия в вихре крутом
Бурых камней по песчаным полям
С ветром сухим и с огнем пополам...
Много воды убежало с тех пор!
Птиц поселили в расселинах гор;
Тучи играют, бросаяся в дол.
Но Калевала? Куда он ушел?
Где же тропинки, бегущие вкось?
Где же деревья, растущие врозь?
Где ж Калевала, певавший свою
Славную песню в безлюдном краю?
Шедший сырыми песками долин
С коробом сказок, легенд и былин...
Сколько воды убежало с тех пор!
Вот, подымая пилу и топор,
В сонные дебри Карьяльской земли
Утром железные люди пришли.
Слышно, как дикие совы кричат,
Как топоры по березам стучат,

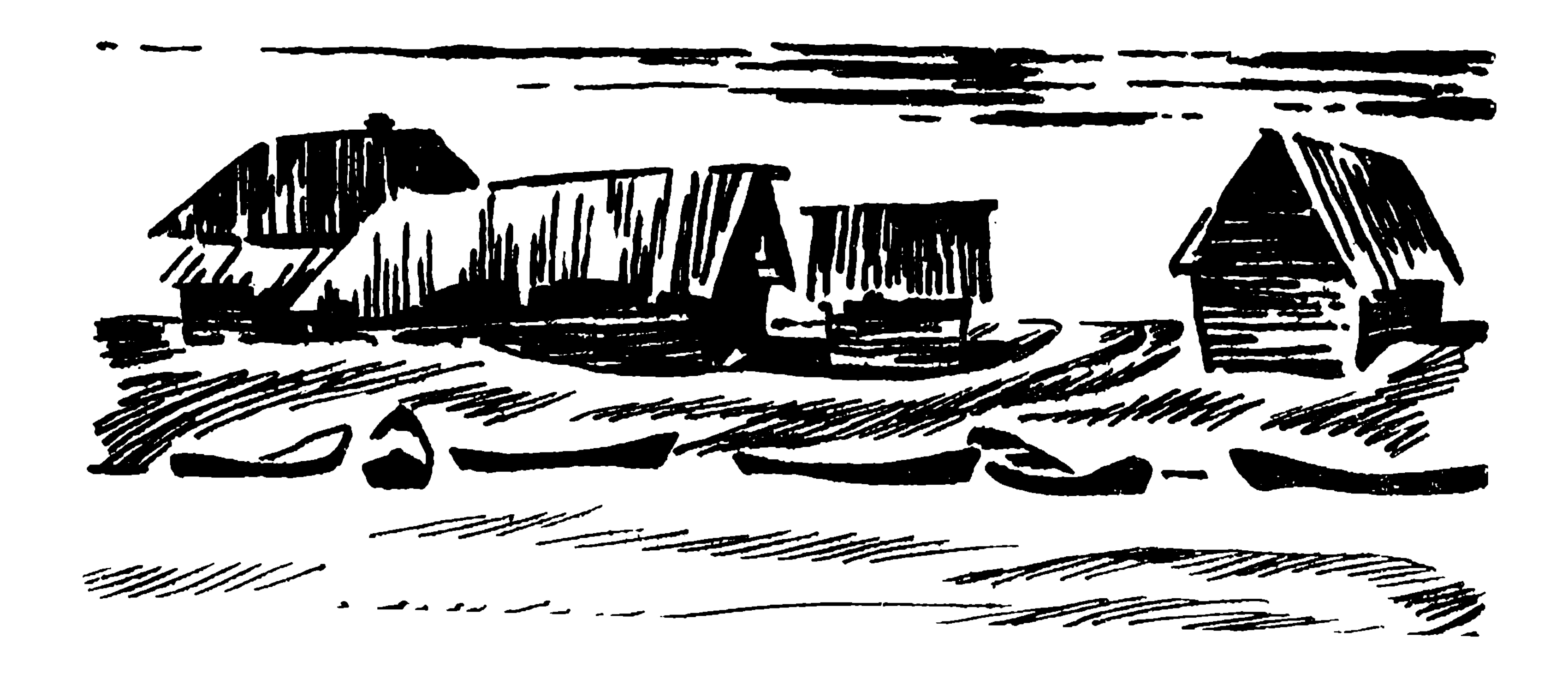
Как от зари до вечерней зари
Длинные песни поют рыбари...
Изредка только качнут берега
Чуткого лося витые рога...

Я понимал, для чего восстает
Мудрого старца былинный полет.
Я замечал, подымаясь слегка,
Как опускалась худая рука.
Как догорал его старческий взор...
Но о Карьяле. О звездах озер.
О ветре. О звере. О вечных дубах.
Качалась былина на жарких губах.

1935 г.







Михаил
АЛЕКСЕЕВ

ИВУШКА НЕПЛАКУЧАЯ

Роман

КНИГА ВТОРАЯ

**Не разлюбит девицу миленький дружок!
Не срубят ивушку под самый корешок,
Красавица девица, не плачь, не тужи!
Ивушка, ивушка, на воле расти.**
(Из русской народной песни)

*...Лишь окончится война,
Тогда-то главное начнется.*
С. Наровчатов

1

Оставив людям великое множество недоделанных дел, недосказанных сказок и недопетых песен, война в придачу ко всему понавязала такое же множество тугих узлов и

Первая книга романа Михаила Алексеева «Ивушка неплакучая» была опубликована в № 1 и 2 нашего журнала за 1970 год.

петель в самих человеческих судьбах. И никто даже не пытался развязать и распутать их в пору войны: все ждали ее окончания. Вот тогда-то, думалось людям, все устроится само собою, узлы и петли распутаются, недосказанные сказки доскажутся, недопетые песни допоются, а человеческие страсти угомонятся, войдут в привычные свои берега, как входят в них разбуянившиеся на время половодья реки.

И как-то никому не приходило в голову, что не все узлы обязательно развяжутся, что иные из них затянутся еще туже, рядом со старыми образуются новые, и в расставленных войною петлях и сетях долго еще будут барахтаться и задыхаться многие людские души, что в тяжкой и горькой работе по разматыванию тех клубков придется участвовать не одному поколению: хватит этой работы и детям и внукам, останется, может быть, еще и для правнуков.

У войны был далекий прицел.

Ни о чем таком, разумеется, не думал и гвардии капитан Сергей Ветлугин, или Серега, как звали его в Завидове, да, пожалуй, и не мог думать о чем-либо подобном, когда сентябрьским вечером 1947 года выходил с двумя чемоданами в руках на берег Волги. Тут он остановился, опустил свою ношу на землю, вытер вспотевшее лицо платком и глубоко вздохнул. Вздох получился трудным, прерывистым и, наверное, не столько от усталости, сколько от нерадостной картины, открывшейся его глазам.

Внизу, у самой воды, против своих лодок, группами и в одиночку расположились их владельцы, промышлявшие на частной переправе, поскольку моста через реку тут не было, а единственное судно перевозочное с звучным именем «Персидский», прошлепавшее по Волге своими плицами без малого сто лет, третий месяц находилось в ремонте. По нестройным голосам лодочников и больше всего по взмаху рук, не подчинявшихся решительно никакому разумному началу, не только Сергей, но любой бы на его месте тотчас же определил, что волжские эти «гондольеры» свой рабочий день окончили и уже успели вознаградить себя за труды праведные. Впрочем, успели не все. Некоторые пока еще собирались это сделать:

на брезентовые плащи, брошенные прямо на песок, ставили бутылки, консервные банки, вытряхивали из узлов и карманов соленые огурцы, вареные яйца, зеленый лук. На лицах этих последних даже отсюда, сверху, Сергей мог различить некое сияние, вызванное, похоже, предвкушением давно ожидаемого приятного «шабаша».

Ясно, что ни первые, ни тем более вторые ни за что на свете не согласятся сейчас сделать еще один рейс через реку, расплеснувшуюся тут вширь на добрых три километра и начавшую вздымать крутую волну от упругого и упрямого низовского ветра, прозванного астраханцами моряной.

Это было ясно для Сергея. Но еще яснее для него было другое: ежели нету такой силы, которая смогла бы поднять перевозчиков на одну «ходку», то нету и такой, которая бы заставила гвардии капитана Ветлугина отказаться от мысли перебраться на тот берег сегодня же, нынешним вечером, но никак не позже.

За его спиной гигантским полукружьем раскинулся полумиллионный город. Сергей мог бы постучаться в одну, другую, третью дверь и где-то отыскать приют до утра, что, кажется, было бы самым логичным его поступком. Но он не постучится, потому что знает: ни за одной из этих дверей его не ждут, а ждут кого-то другого, скорее всего тоже фронтовика. Среди тысяч огней, которые вот-вот загорятся в давно снявшем светомаскировку городе, не будет одного, пускай крошечного, пускай робкого, зажженного не для кого-нибудь, а именно для него, Сергея Ветлугина. Без этого город — пустыня, ибо у человека бывают минуты, когда и в огромном людском скоплении он, человек, может быть бесконечно одиноким.

Сергей рвался за Волгу. Там, в лесном поселке с неожиданным для здешних саратовских краев названием Тяньзин, жили его старший брат и сестра, которых он не видел с полынного тридцать третьего года. Он ждал свидания с ними целых четырнадцать лет, а теперь не может подождать одной-единственной ночи. Сергей не давал им телеграммы, но знал, что там, в этом странном и неведомом ему Тяньзине, его давно ждут, что среди редких скупых огоньков, какие скоро замерцают за рекой, зажелтеет в одном окошке и его, Серегин, огонек. Потому-то он и продолжал — теперь уж более внима-

тельно — всматриваться в лодочников, прикидывая, на ком бы из них остановить свой выбор.

В конце концов решил попытать счастья на одном. Приземистый, багроволицый, однорукий и, как все, небритый, он отличался, однако, от своих товарищей тем, что казался чуток трезвее их. Последнее обстоятельство было для Сергея самым важным. Не теряя более ни минуты, он подхватил чемоданы и сбежал вниз.

— Здорово, фронтовички! — приветствовал перевозчиков как можно дружелюбнее.

Нельзя сказать, что «гондольеры» ответили ему тем же. Поначалу они вообще никак не ответили — невозмутимо продолжали свое веселое занятие. Это удивило Сергея, и он на всякий случай повторил приветствие.

Несколько сейчас же нахмурившихся лиц повернулись к нему. У некоторых на полпути ко рту остановились в нетвердой руке стаканы. Остановились, однако, совсем ненадолго — ровно настолько, чтобы лодочники успели бросить оценивающий взгляд на того, кто так некстати прервал малую эту пирушку. Затем стаканы проследовали дальше по назначению.

Крякнув и обнюхав не спеша кто ржаную корочку, кто ломтик огурца, перевозчики ответили вразнобой и как бы нехотя:

— Здравия желаем, капитан.

По тому, что при виде офицера они не приостановили выпивки, и в особенности по тому, как они поздоровались с ним, Сергей мог убедиться, что вчерашние эти солдаты достаточно попривыкли к новому своему положению, и не только попривыкли, но очень гордились таким положением, ревностно оберегали его и не прочь побравировать им.

И все-таки однорукий, освобождая место рядом с собой, предложил:

— Присаживайся, командир. Пропусти с нами лампадку.

— Не могу, ребята. Тороплюсь.

— Куда так? Не на Берлин, чай?

— За Волгу.

— А-а... Ну, начальник, торопись не торопись, а до утра тебе придется загорать на этом берегу. На-ко вот держи! — Однорукий протянул капитану стакан.

Сперва Сергей хотел отказаться от предложенной чарки, но вовремя сообразил, что делать этого не следует, что этим жестом он не только не перекинул бы моста между собою и незнакомыми людьми, от которых теперь определенно зависим, но и утратил бы последнюю, пусть слабую, самую ничтожную, но все-таки надежду столковаться с перевозчиком. В таком случае его поведение было бы расценено одноруким и его сподвижниками не иначе как неуважение со стороны офицера к их, вчерашних воинов, нынешнему положению, обретенному столь дорогой ценой. И как ни странным и ни неожиданным было для него все это, Сергей принял стакан, кивнул всем слегка, сопроводив этот приветственный знак восклицанием «побудемте!», и под молчаливыми, чуть подобревшими и потеплевшими взглядами лодочников выпил водку. Кто-то — Сергей не успел заметить, кто именно, — всунул в его свободную левую руку большой ядреный огурец. Сергей, как и все, с удовольствием крякнул и звонко закусил огурцом — белые брызги сорвались с его зубов и окропили сидевших поблизости.

— Ну а теперь садись. В ногах правды нету, — вновь пригласил однорукий.

— Не могу, товарищи. Честное слово! Ждут меня там! — горячо проговорил Сергей и посмотрел на однорукого почти с мольбою. — Перевези, друг. Я заплачу.

— Знамо, заплатишь. Задарма нынче никто не работает. Война кончилась.

— Хорошо заплачу, — тихо, но торопливо произнес Сергей и съежился, почти физически ощущая удар, который мог нанести ему за такие слова перевозчик.

Но однорукий не осерчал, только заметил — с еще большим, как показалось Сергею, безразличием:

— Деньжонок, должно, поднакопил, капитан? Оно конечно, офицерский оклад поболе нашего, солдатского, будет...

— Но и ты, поди, теперь не бедняк, — не вытерпел Сергей, — свое судно заимел. Как-никак владелец...

— Н-да, — простодушно ухмыльнулся однорукий. — Владелец... У меня, как у того веселого мужичка... Слышал, может, капитан, присказку? — И, не дожидаясь ответа, пропел простуженным и пропитым голосом:

Слава богу, понемногу
Стал я поправляться:
Продал дом, купил ворота —
Стал я наживаться.

Лодочники захохотали, а потом дружно, уже хором, без всякого, правда, ладу проорали:

Галифе мои худые
Распоролись до колен.
Хотел осенью жениться —
Поросенок околел...

Остановив жестом товарищей, которые собирались было завести какой-то новый куплет, однорукий подытожил:

— Видишь, капитан, какие мы владельцы...

— Вижу. Да вы не сердитесь на меня.

— А мы и не серчаем. Сколько бы ты дал, к примеру сказать, ежели я тебя все-таки перекину на тот берег? — Теперь на багровом челе однорукого отпечаталось подобие любопытства, но не больше того. — Ну?

Остальные ожидающе притихли, отставили стаканы, закуску — все смотрели на офицера.

— Ваша лодка, вам и назначать цену, — рассудительно ответил Сергей.

— Ну а все ж таки? — настаивал на своем перевозчик.

— Не могу я... сам.

— Хитришь, капитан. Ну да ладно. Двести рубликов не пожалеешь для инвалида Великой Отечественной?

— Что за вопрос? Конечно!

— Ишь ты как... скоро. Ну, что ж, пошли. Вижу, капитан, тебе и вправду невтерпеж. Кто там у тебя? — Он указал за Волгу. — Мать, жена? Может, краля?

— Брат и сестра.

— Могли бы и до утра подождать.

— Они, пожалуй, и смогли бы. Да я...

Однорукий не дослушал — под недовольными взглядами товарищей быстро направился к лодке.

Сергей с радостно заколотившимся сердцем последовал за ним, боясь лишь того, как бы перевозчик не передумал.

Но тот уже склонился над мотором, наматывая на заводной маховик обшмыганный до блеска брезентовый ремешок. Не разгибаясь, скомандовал:

— Клади, капитан, свои чемоданы и оттолкни лодку.

Было видно, что недавнему солдату доставляло особое удовольствие обращаться к офицеру на «ты» и хоть теперь, хоть вот таким образом немного покомандовать самому.

— Возьми шест, капитан. Давай, да поживее, не то стемнеет.

Когда все было исполнено Сергеем и лодка оказалась на плаву метрах в десяти от берега, ее хозяин принялся дергать единственной своей рукой за ремень. Причем для каждого рывка приходилось наматывать его сызнова. Старенький мотор кашлял, фырчал, всхлипывал, выстреливал изредка, но не заводился.

Сергей предложил свою помощь: теперь владелец лодки только наматывал ремень, а капитан дергал за него. Пот лил с обоих ручьями. И была минута, когда они готовы были отказаться от своего предприятия, но именно в эту минуту, как это и бывает нередко, после сотой, кажется, попытки завести мотор последний ожил наконец, и бойкое его тарахтенье покатилось над Волгой.

— Ура! — закричал Сергей и едва не свалился в воду, потому что перевозчик вынужден был сделать крутой разворот: пока возились с мотором, не заметили, как суденышко, подгоняемое волной и почти незаметным тут течением, обратилось носом к берегу и, не сделай однорукий своего маневра, могло бы на полном ходу выскочить на сушу.

Но все окончилось пока благополучно. Сергей устоял, а лодка, вырвавшись на простор, взяла курс на тот берег.

Пассажир повеселел и полагал, что, по обстоятельствам, должен был бы повеселеть и перевозчик. Однако тот был по-прежнему сумрачен и управлял лодкой молча. Более того, было заметно, как его хмельные глаза быстро трезвели, обретая тяжкий цвет катившейся встречь волны. Должно быть, однорукого уже тревожили белые барашки, появившиеся на волне. Там, позади, ближе к берегу, они были чуть приметны, а к середине реки уже сливались в грозные буруны, точь-в-точь как на гребне морской волны. Лодка то взлетала вверх, то падала вниз, в во-

дяную яму, винт подвесного мотора то с сердитым урчанием вгрызался в тугой водяной вал, то, подброшенный на самую хребтину, с жалобным визгом и стоном крутился вхолостую.

Однорукий сидел на корме и походил сейчас на нахохлившегося грифа. Но, видать, он был опытный лодочник — стремил свой челнок не вдоль, а поперек волны. Хмурился же, очевидно, потому, что низовский, астраханский, ветер, теперь еще более усилившийся, гнал волну не поперек реки, а прямо вверх, так что кормчему все время приходилось забирать вправо и невольно отклоняться от цели все больше и больше. Перевозчик, правда, временами пытался направить лодку куда нужно, но боковая волна принималась так качать ее из стороны в сторону, что в любой миг могла бы опрокинуть вовсе. Прислушиваясь к неровному, надрывному, на пределе, рокоту мотора, однорукий все больше мрачнел. Чувствовалось, что он пуще всего опасался сейчас того, как бы мотор не заглох среди вздымающихся волн.

Но мотор оказался молодцом — не подвел. А замолчал он позднее и, как выяснилось, не по своей воле, когда до левого берега оставалось каких-нибудь двести метров и когда сидевшим в лодке людям уже ничто не угрожало: осокори, выстроившиеся по ту сторону и за изгибом Волги высокой и плотной стеною, преградили путь ветрам, и волнение на реке здесь было чуть заметным.

— Зачем вы заглушили мотор? — вскрикнул Сергей.

— Дальше не повезу.

Сергею показалось, что он ослышался, — таким диким и неправдоподобным было это заявление.

— Что, что вы сказали?.. Вы, кажется, что-то сказали?

— А вот то, что ты, капитан, слышал. Не повезу дальше.

— Вот те раз! Это почему же? — Сергей улыбнулся: ему все еще думалось, что однорукий шутит.

— Мало даешь.

— Что, что?

— Мало, говорю, положил.

Притихшая лодка легонько покачивалась на присмиревшей волне. Казалось, ей было неловко за своего хозяина, лица которого уже не разглядеть хорошенько в густеющих сумерках.

— Ты же, а не я определял плату. Так чего же?..

— Э, капитан! — в темном овале лица сверкнула белая кость зубов. — Знаешь, поди: когда девку умасливаешь-берешь — города отдаешь, а взямши — и деревеньки жалко. Вот оно какое дело! — И он громко, хрипло, клекотно как-то захохотал, радуясь своей присказке, изреченной им, конечно, более обнаженно и грубо.

Тягостное молчание с минуту давило лодку. Наконец, задыхаясь от ярости, Сергей спросил срывающимся голосом:

— Сколько же вы хотите?.. Только сказывайте сразу!

— Четыре сотенных, капитан. И денежки на лапу.

Сергей достал кошелек, быстро отсчитал и передал требуемую сумму однорукому. После этого почти крикнул:

— Заводи!

Перевозчик заторопился. На этот раз и мотор почему-то завелся необыкновенно быстро.

Вскоре лодка мягко зашуршала днищем по песчаной отмели левого берега.

Сергей выпрыгнул в сапогах прямо в воду, затем вышел на сушу.

— Может, оттолкнешь, капитан? — бесстрастным и оттого еще более ненавистным Сергею голосом спросил однорукий.

— Нет уж, выбирайтесь как-нибудь сами.

— Что так?

— Вы еще спрашиваете? Где это вам руку-то оторвало? — вместо ответа холодно спросил Сергей.

— Под Ельней, капитан. В сорок третьем. Осколком мины.

— Жаль.

— Чего это тебе жаль?

— Жаль, что только одну руку. Надо бы еще и голову.

— Это почему же? — казалось, не столько с обидой, сколько с удивлением осведомился перевозчик, в голосе его едва-едва пробивалась насмешинка, каковую Сергей в своем положении не улавливал. — Чем не показалась тебе моя голова?

— Дрянная она у тебя, — сказав это, Сергей повернулся и зашагал в сторону покрапленного огоньками по-

селка. В сумерках слева смутно бугрились нефтеналивные хранилища, похожие на огромные доты.

Сергей не слышал, чтобы однорукий его обидчик пробовал завести мотор — там, у берега, было тихо.

«Черт с тобой, сиди. Ни за что не вернусь и не помогу тебе!» — с незнакомым ему прежде злым одушевлением подумал Сергей, прибавляя шагу и чувствуя, что в груди у него тупо и грубо погашено, умерщвлено сейчас то, что так светло и радостно жило в нем с той минуты, когда он выправил первый свой послевоенный отпуск и когда, провожаемый фронтовиками, поднялся в вагон, чтобы отправиться из чужой и далекой Австрии домой на побывку. Это светлое и радостное нарастало в нем по мере приближения к родным краям и уж совсем заполнило душу, когда он вышел на высокий берег и перед ним во всю ширь распахнулась Волга с ее непостижимо волнующими и нигде больше не встречающимися запахами, с ее глубоким дыханием, с ее шумами, гудками, умеющими так быстро и властно полонить человеческое сердце.

Насупленный вид и молчаливая угрюмость нефтебаков усилили в Сергее состояние душевной потерянности, и, верно, потому он сильно обрадовался, когда услышал за своей спиной быстро приближающиеся шаги — как раз то, что нужно было ему сейчас более всего на свете.

Человек надобен был Сергею и для того, чтобы побороть, одолеть в себе возникшее вдруг холодновато-щемящее чувство одинокости и неприкаянности в огромном этом мире, и для того, чтобы справиться об улице, на которой находился домик брата и сестры, паче же всего — для того, чтобы убедиться, увериться, что не все тут люди такие, как помеченный войною перевозчик.

Да, да, вот это было самым главным: Сергею надо было как можно скорее встретить хорошего, доброго, улыбчивого человека, который воскресил бы в его душе прежнее ощущение света и радости. И он сейчас же оглянулся с приготовленной в ответ доброй же улыбкой и не успел убрать ее со своего лица, когда увидел перед собой знакомое и ненавистное лицо «гондольера».

Всматриваясь в офицера своими тяжелыми глазами, тот медленно и негромко вымолвил, протягивая пачку бумажек:

— Возьмите, товарищ капитан. Я с фронтовиков деньги не беру. Так что зря вы... — Видя, что офицер не собирается взять у него деньги, сам всунул их в карман его плаща. — Берите, берите и не швыряйтесь ими так. Брат-то, поди, с сестрой с голоду пухнут, а вы...

Замолчал. Тяжелые глаза, придвинувшиеся к Сергею почти вплотную, вроде бы чуток оттаяли. Сказал оправдываясь:

— Не гневайтесь, капитан. Бывает с нами, мужичьем. Шутить любим, но не всегда умеем. Да и скрыть тоже... Сунем телегу в мешок, а оглобли торчат. Так-то вот.

Не дав Сергею сказать что-либо в ответ, быстро пошагал в сторону реки.

Скоро оттуда послышался гул мотора, сперва звонкий, отчетливый, а затем постепенно стихающий, удаляющийся.

Встретившаяся в узком переулке, меж дощатыми заборами, какая-то крупная женщина, увеличенная в размерах сумерками и старым ватником, проводила Сергея до небольшого, тоже будто бы собранного из одних досок домика, в котором, по ее словам, «мыкали горюшко» его сестра и брат с их семьями.

— Вот тут они и живут, милый. На днях коровенку огоревали, купили старую, пятнадцатым, вишь, телком пошла... Отелится, детишкам какая-никакая капля, а будет, — сообщила она, верно, как главную новость не только для Серегиных родственников, но и для всего этого лесного поселения. Сообщила и, не в силах победить в себе охватившего ее любопытства, не отходила от дома, чтобы продолжить прежний свой путь, — ждала, что же будет дальше. А Сергей тоже не спешил, стоял перед окном в нерешительности да все всматривался увлажнившимися вдруг глазами в перемещающиеся за белой ситцевой занавесью человеческие силуэты. В какой уж раз подымал руку, чтобы постучаться, но сейчас же испуганно опускал ее. И, видно, не скоро бы дал о себе знать, если б не выручила все та же крупная в своем рваном, точно побитом осколками мин ватнике женщина. Она забарабанила в окно своей красной, не по-бабьи

большой и сильной рукой. Над поселком загремел требовательный, властный ее голосище:

— Татьяна! Настюха! Что же вы гостя не встречаете?! — обернулась к офицеру, пояснила: — Лександры-то, чай, дома нету. Засиживается до полуночи в своей конторе, окаянный бы ее побрал. Ну а бабы, те небось дома — где ж им еще. У обеих на руках по дитю — не больно-то убежишь от них.

Последние сведения доброхотная баба успела сообщить в ту короткую минуту, пока кто-то суматошно открывал сперва избяную, затем сенную двери и, наконец, калитку и не кинулся на капитана со счастливо-испуганным воплем.

— Дождались брательника. С великой радостью вас, соседушки! — И незнакомая женщина тотчас же отошла, заторопилась по дороге, и, не будь офицер занят радостною канителью встречи с родными, он, наверное, услышал бы глухое, изо всех сил сдерживаемое рыдание случайно повстречавшейся ему солдатки в стареньком солдатском же ватнике.

А радость встретившихся после долгой разлуки братьев и сестры была так велика, что любой бы мог подумать: родные постараются как можно долее удержать друг друга возле себя, потому что на свете уже не оставалось людей, которые были бы им еще ближе по крови: в разное время, но их носила под сердцем одна и та же мать. Первые два дня и две ночи ушли на воспоминания, сбивчивые, как уж водится, перескакивающие с одного на другое, уходящие далеко в сторону, вновь возвращающиеся, — и все это покрывалось смехом, накатившимся вдруг весельем. Времена прошлые, с которых незлая память легко сдернула пелену горечи, которой каждому из них было выдано полною мерой, предстали теперь чуть ли не сплошь счастливыми и забавными. Только и слышалось: «А помнишь?», «А помнишь?» — и опять смех до слез, до кашля. Давно ушедшие из жизни при обстоятельствах трагических мать и отец являлись живыми на этот стихийный праздник воспоминаний, и их, отца с матерью, постоянная ссора, некогда отравлявшая существование семьи, теперь почему-то оборачивалась лишь смешною стороной, и причины душевных неурядиц родителей казались сейчас их детям, пережившим военное лихолетье, столь ничтожны-

ми, что над ними можно лишь снисходительно посмеяться.

Никто не был обойден памятью — ни люди, ни домашние животные, от которых теперь и костей-то не сохранилось. Вперемежку с людьми не раз были помянуты старая кляча (вволюшку посмеялись над ее чудовищной ленью, каковой кобылка была обязана своим необыкновенным долголетием); корова по имени Рыжонка (кто-то вспомнил, что она была «ведерница», да слаба на соски, роняла по пыльной дороге, к великому огорчению хозяев, немалое количество произведенного ею за день молока, когда стадо возвращалось со степей в село); коза Машка (едва вспомнил ее Сергей, раздался сильный взрыв смеха, поскольку лукавое это существо самим господом богом было создано для того, чтобы злить и смешить род людской); небольшая рыжая собачонка, классическая дворняга с незаслуженно грозным именем Тигран (о грустном конце этого пса почему-то не говорилось — его задрали волки прямо во дворе в одну лютую зимнюю ночь); даже курица по кличке Тараканница (тараканы, в которых не ощущалось недостатка в любой крестьянской избе, были ее любимым лакомством), — все они чудодейственным образом воскресли и явились на этот странный парад.

Потом опять переключились на людей, перебрали решительно всех близких и дальних родственников, не обошли и знакомых. Был, однако, человек, о котором все, не сговариваясь, помалкивали до поры до времени, ибо это решительным образом нарушило бы праздничное, освежающее уставшие души представление, — человеком этим был средний их брат, след которого оборвался где-то на Смоленщине осенью сорок третьего года. Имя его еще не было произнесено вслух, но Алексей уже ступил через порог забывшегося в мимолетной радости домика. Братья, сестра, невестка, даже малые дети, до этого радостно гыкавшие только потому, что взрослым отчего-то было весело, — все вдруг приумолкли, закручинились, непроизвольно глянули на стену, отыскивая в большой общей семейной раме его фотографию, а в сердце Сергея больно ворохнулись строчки, каковыми, мучаясь, кусая в беспомощности губы, он пытался четыре года назад, сидя где-то за Днепром в своем блиндаже, выразить боль, вызванную известием о гибели Алексея:

В Смоленщине, близ Ельни,
Простой и честный,
В бою был убит солдат.
Для всех — Неизвестный.
А мне он — брат.

И в эту-то минуту Сергею захотелось немедленно, сейчас же, сию же секунду покинуть чужой и решительно ненужный ему Тяньзин и поскорее оказаться в Завидове. В первое мгновение он, вероятно, и не отыскал бы причины вдруг вспыхнувшего в нем острого желания. Но если бы кто-то со стороны ему подсказал, что Завидова не хватало ему потому, что там все было так или иначе связано с теми, о ком только что вспоминалось, там в число действующих лиц, помимо людей, неизбежно включилось бы все, что окружает завидовца от дня его рождения по день смерти. От одной только мысли, что по пути в родное селение от районного центра лесная дорога проведет его сначала рядом с Лебяжьим озером, всегда таинственным, полным устрашающих легенд, затем по-над речкой с обидным и вовсе не соответствующим ее красивой сути именем Баланда через Салтыковский лес выведет на луга, по которым теперь там и сям раскиданы тихие, по-осеннему загорюнившиеся овины, потом — мимо старого кладбища, где, должно быть, и крестов-то не сохранилось (сожгли, наверное, горемычные солдатки в своих печах в долгие и свирепые военные зимы), а горбятся одни лишь неровные могильные холмики, свежие и те, что давно, точно плесенью, покрылись низкорослым сивым полынком — под какими-то из них отыскали вечный свой предел и его мать, и его отец, и даже те, канувшие в глухую и темную бездну времен, те, до которых никогда не дотягиваются плебейски короткие и непрочные нити нашей памяти, но которые когда-то же являлись на свет, любили и мучились для того, чтобы оставить и в наших жилах беспокойную и неистребимо-живучую каплю своей крови, а с нею — и сладостно-горькую радость короткого, как миг, пребывания на грешной этой земле; за кладбищем сразу же завиднеются соломенные кровли села, дороже которого уж не сыскать во всем белом свете (пройдя почти полсвета, Сергей смог убедиться в этом), — от такой мысли сердце Ветлугина заколотилось так-то уж часто и

нетерпеливо, что он и не заметил, как поднялся за столом. И тут же объявил:

— Завтра уезжаю.

— Куда?! — закричали почти в ужасе глаза сестры.

— Домой. В Завидово! — и сказано это было так сильно, а еще сильнее и значительнее сказалось на лице, что старшие брат и сестра поняли: никакие уговоры не помогут.

— Побыл бы еще с недельку. Ну кто тебя там, в Завидове, сейчас ждет? — неуверенно, как бы по инерции, без малейших надежд переменить Серегино решение, заговорил старший брат, но младший быстро и горячо перебил его:

— Там всё меня ждет! Как же вы...

И, вдруг сообразив, что словами ничего не объяснишь, он смущенно замолчал. Может быть, в последнюю минуту вспомнил, что понять его этим добрым и дорогим для него людям и невозможно — для этого они должны были бы пройти дороги, им пройденные за минувшие шесть с половиной лет, и испытать на этих дорогах то, что испытал он. Тогда, верно, они догадались бы, отчего ему захотелось поскорее увидеть и Завидовский лес, Дальний, Средний и Ближний въезды в этот лес, и Вонючую поляну в нем, и кареокую речку, заблудившуюся в лесу, и само Завидово с его дядями Колями и тетками Авдотьями.

Сергей и не заметил, что слово «Авдотья» было произнесено им вслух и тотчас получило отзвук:

— Не до тебя, Сережа, ей теперь, тетке Авдотье.

Сергей встревожился:

— Что? А?

— Не до тебя, говорю, тетке Авдотье. У ней своих забот хоть отбавляй.

— Что там у них?

— Толком не знаем. Разное болтают... Приедешь — узнаешь сам про все...

2

Всего, конечно, за недолгий свой отпуск Сергей не мог ни увидеть, ни узнать, — слишком много странного, ни-

как не вязавшегося с ожидаемым, встретило его не только в селе, но еще на ближних подступах к нему, когда он вышел из вагона на станции и по обыкновению всех завидовцев не направился прямо домой, а решил заглянуть к тетеньке Анне — на этот раз для того, чтобы получить первую и — он знал — самую обширную и достоверную информацию об односельчанах. Да и время было позднее; вечерние сумерки быстро сгущались, попутного транспорта теперь уже не будет; до Завидова семнадцать верст, не ближний свет, к тому ж на руках офицера были два чемодана, отнюдь не до конца опорожненные у брата и сестры. Тетенькина же информация сгодится для того, чтобы, придя в село, не совершить какого-нибудь необдуманного поступка и не обронить какого-либо слова, способного не поврачевать, а, напротив, раскавелить, растеребить чью-то сильно пораненную душу, — а их на селе окажется немалое число, таких-то душ.

Как и в довоенные годы, ни калитка, впускающая во двор, ни двери, ведущие в сумеречь сеней и в светлую горенку с земляным, всегда свежепобеленным полом, не были заперты, потому что хижина Тетеньки более, чем прежде, в худую военную и тяжкую послевоенную пору, была для людей домом открытых дверей. Сергей подошел к нему в момент, когда хозяйка, ни капельки, с точки зрения офицера, не изменившаяся за эти шесть с половиной лет, вышла на низенькое, о двух ступеньках, подгнившее крылечко, жалобно зароптавшее под ее ногами. Вслед за Тетенькой из сеней выкатилась рыжая лохматая собачонка, взъерошила загривок, но, тут же вспомнив, что так на их подворье гостей не встречают, уложила вздыбившуюся шерсть на место и приветливо замолола хвостом.

Тетенька Анна, замерев, с минуту рассматривала пришельца молча. В первый-то миг она коротким судорожным рывком подалась вперед, да вдруг остановилась, именно замерла, потому как не могла поверить в то, что ей поначалу примнилось, в то, что перед ней стоял ее младшенький, которого она проводила на войну последним и о котором уже на исходе сорок четвертого пришла похоронка, третья по счету, — о двух старших своих сыновьях Тетенька получила черные те бумаги еще в первые годы войны. Но уже в следующее мгновение она увидела, что ошиблась, и лицо ее, вспыхнувшее было

непередаваемой радостью, сейчас же потускнело, покрылось тенью невидимого облака. И Сергей, не понявший истинной причины быстрой этой перемены, остановился в двух шагах от тетеньки Анны в крайнем смущении. Но старуха спохватилась, встряхнулась как-то внутренне, осветилась вся и шагнула к нему. Сперва обняла, затем взяла горячими сухими ладонями его голову и долго всматривалась такими же сухими глазами в его лицо, как бы еще надеясь: а вдруг не угадала, а вдруг это все-таки ее «младшенький», ясный ее соколенок? И опять омрачилась, но уже не столь явственно, как в первую минуту.

— Никак ты, Сережа? — вымолвила наконец и не выдержала — плечи, острые, старческие плечи затряслись под его руками. — Откель же ты, сынок? Жив, родимый. Как же ты... — и попятилась, заторопилась присесть на ступеньку крыльца. — Ноги чтой-то подломились, стара, знать, стала... — и виновато улыбнулась, подвигаясь к краешку и выпрастывая место для него рядом с собой. — Давно ли объявился?

— Прямо с поезда к тебе, тетенька Анна.

— В Завидове нашем, стало быть, не был еще?

— Не успел.

— Ну, ну. Поезжай, поезжай, сынок, да смотри не утопни там...

— О чем ты, тетенька Анна?

— Не утопни, говорю, в бабьих-то слезах. Полою водой хлынут на тебя. Не все выплаканы, осталось на такой вот случай. Хоть и получили на руки ту бумагу, да не хочется верить в нее. Вот и ждут, вот и взглядывают на всякого пришлого, не мой ли, мол, объявился. Видят — нет, не он, ну и в слезы. Вот оно, Сереженька, как все получается. Я вот и сама, старая, тебя попервах за своего последыша приняла... — Тетенька Анна умолкла, попыталась встать, да не смогла поначалу. Лишь опершись на его плечо, приподнялась. — Пойдем в избу, Сережа, чайком побалую тебя, а ты про себя мне расскажешь. Тетка твоя Авдотья, чай, рада-радешенька будет. У нее там, слышь, такое сотворяется... — Старуха спохватилась, что сказала лишнее, и попыталась исправить промашку: — Да у нее разве одной. У всех ныне так — то одно, то другое. Проходи, родимый! Сейчас самовар поставлю. Он у меня быстро — уголька на шестке припасла дубового, чай, уж подсох.

Проводив его в красный угол горенки, она вернулась к печке, принялась выгребать на середину шестка древесный уголь.

Сергей же, по извечной привычке всех гостей, коротая время, начал рассматривать на стене семейные фотографии, развешанные по обе стороны образов. Слева от икон, почти рядом с седобородым и благообразным Николой-Угодником, в маленькой самодельной раме, на желтой карточке, густо засиженной мухами, похоже, в ту еще пору, когда фотография не была семейной реликвией и когда изображенные на ней молодые супруги были счастливо-беспечны, — можно было, хоть и с трудом, распознать в одном юном создании тетеньку Анну, когда она еще не была Тетенькой, а просто Анютой, выданной замуж шестнадцати лет от роду, а в другом — ее суженого Агафона, снятого, видать, в первые дни по возвращении из царской солдатчины, поскольку он стоял по левую сторону молодой своей жены в форме унтер-офицера с залихватски закрученными типично унтер-офицерскими усами. Правее образов, уже в большой, но также самодельной раме хранились карточки всей семьи: в центре тетенька Анна и Агафон с испуганно-удивленными почему-то глазами, по правую и левую руку от них сыновья — пока еще разновозрастные отроки. В отдельной раме, сделанной каким-то местным, но уже более искусным мастером совсем недавно, сыновей этих можно уж было увидеть взрослыми, двоих — в форме военных летчиков, а третьего — в куцеватом, дешевеньком костюмчике восьми- или девятиклассника. Те, что были в военном, очевидно, не раз вынимались из-под стекла и показывались людям, поскольку были сильно захватаны.

Заглядевшись на этих последних, Сергей и не слышал, как подошла к нему сзади их старая мать. Но уже через минуту он почувствовал ее рядом и оглянулся. Тетенька Анна, сложив руки на груди, глядела туда, откуда гость ее только что отвел глаза, и губы ее, сухие, сморщившиеся, беззвучно шевелились, словно силились, хотели и не могли сказать что-то. Так ничего и не сказала, прерывисто вздохнула и вернулась к самовару, который, не в пример хозяйке, не был так гостеприимен и не торопился разгореться.

— Я выйду покурю во дворе, тетенька Анна! — заторопился он к дверям.

— Кури в горнице. Подыми тут. Мои глаза привычные.

— Нет, зачем же. Я выйду. На одну минуту.

— Ну, ну. Ступай посиди на крылечке. Скоро, чай, и они вернутся.

— У тебя кто-то квартирует?

— Да нет...

— Но ты кого-то ждешь?

— Все мы все время кого-то ждем, сынок, — уклонилась старая от прямого ответа, и Сергей внутренне насторожился.

Подождав немного в надежде что-то еще услышать от тетеньки Анны и не дождавшись, он тихонько вышел на крыльцо.

Пес вновь приблизился к нему, обнюхал всего, уловил хорошо знакомые ему запахи их жилья, еще приветливее, чем прежде, завилял хвостом и тут же устроился на приступке, возле ноги Сергея; судя по всему, он ничего не имел бы против, если бы этот человек стал его вторым хозяином: собака-то он собака, да тоже, видать, скучает без мужской грубоватой ласки, даже без мужского сурового окрика.

— Ну, как живем, друг? — обратился к нему Сергей, раскурив австрийскую сигарету и пряча зажигалку в карман. — Зовут-то тебя как? Полкан? Шарик? Ну, конечно же, Шарик, как же еще?! Ишь как ты заволновался! Откуда, мол, этот чужой дядька знает, как меня величают? Просто угадал. Ведь вас, дворняг, на Руси чуть ли не всех зовут Шариками... А где же ты, дружище, репьев-то столько насобирал, а? Да ты и хвост по-собачьи не подымешь? Разве тебя теперь расчешешь?.. И все-таки давай попробуем заняться ими. А вдруг какие-никакие и повыдираем...

Подхватив покорно подчинившуюся ему собачонку на руки, Сергей вышел на середину дворика, примостился на комельке, на котором тетенька Анна рубила хворост, и принялся сосредоточенно выдирать из хвоста Шарика репьи. Пес, хоть ему и было больно, однако, терпел, даже лизал в благодарности руку неожиданного своего благодетеля. Он, разумеется, не ожидал ни от кого таких деяний и готов был хранить колючее и цепкое свое приобретение до весенней линьки, то есть до той поры, когда

репьи сами собой, по доброй своей воле и незаметно покидают и собачий хвост, и лохматый загривок, и подбрюшье вместе с клоками туго свалявшейся шерсти.

Не прекращая своего странного занятия, Сергей чувствовал, как теплая и нежнейшая волна сперва коснулась его глаз, а затем стала быстро заполнять и сердце, и он понял, что это вернулось к нему на короткий миг навсегда укатившее невозвратное детство, когда он вот так же, как теперь, готовя своего верного Тиграна к зиме, освобождал его от репьев, в изобилии нацеплявшихся на него за лето.

Увлеченный своим делом, Сергей не видел, как раскрылась калитка, как в нее вошла молодая женщина, как остановилась на полпути к дому в изумлении, а потом быстро приблизилась к нему.

Услышав наконец за своей спиной ее частое, скомканное волнением дыхание, он стремительно приподнялся с колен, смахнул прилипшие к ним сухие ветки, по привычке военного человека одернул на себе китель, пробежал пальцами по пуговицам, все ли застегнуты, и только потом уж глянул прямо в глаза женщины, лицо которой то покрывалось бледностью, то густым румянцем. И не одни эти перемены бросились офицеру в глаза, — он видел радость, тревогу и даже смятение, которые попеременно возникали на таком знакомом, таком когда-то ясном и, как ему всегда думалось, совершенно спокойном Фенином лице. Ну радость — это понятно. Как-никак она видела живым и невредимым человека, который был самым близким другом ее брата Гриши, который служил в минометной роте лейтенанта Семена Мищенко — короткой и «нечаянной» ее любви. Ну а тревога, ну а смятение — откуда они?

Недосуг было доискиваться ответа. Феня обнимала и целовала его, увлекая в избу. Шарик, забытый, не до конца расчесанный и прибранный, недовольно побрел вслед за ними в сени, в свой угол. Подталкивая Сергея впереди себя, Феня усадила его за стол, где их ожидал, попыхивая и посапывая, пузатенький, с множеством медалей, генеральского вида самовар. Рядом, на блюдце, лежали два крохотных кусочка сахара, только что отщипнутые от большого куска, очевидно уже припрятанного. Было еще несколько сухариков черных. И все.

— Когда же это ты?.. И что же телеграмму-то? — го-



Рисунки Н. УСАЧЕВА

ворила Феня то обычное, что говорят в таких случаях, явно не зная, когда надо и надо ли вообще спросить его о самом важном и самом горьком: из письма, полученного некогда от Сереги теткой Авдотьей, Феня знала, что и ее брат Гриша, и лейтенант Мищенко были убиты на Серегиных глазах осколками одной разорвавшейся неподалеку от них немецкой мины.

— Кому бы это я ее послал, телеграмму? — в свою очередь, спросил он, горько усмехнувшись.

— Как это — кому?! — искренне обиделась Феня. — А мне? А тяте? Он еще в сорок пятом вернулся и опять за председателя у нас. Мог бы и своей тетке Авдотье послать — не чужой, поди, ей.

— О чем это вы тут? — старая хозяйка заняла свое место за столом, и вот только тогда стол этот как бы обрел свои привычные формы и стал наконец таким, каким ему и полагалось быть в этой избушке: добродушно-приветливым, располагающим к неспешной беседе, именно тем столом, за которым чай не пьют, а балуются чайком.

И все-таки, хоть Тетенька и разлила чай по стаканам, и расставила их по блюдцам, и положила перед гостями те два кусочка сахара, ни Сергей, ни Феня не притрагивались к угощенью. Они молча глядели друг на друга, не решаясь первым или первой заговорить о том главном и страшном. Поняв, что он и не заговорит, если его не попросить об этом, Феня, вновь побледнев и потемнев глазами, тихо вымолвила:

— Как же все это случилось, в самом ведь конце войны? Расскажи, Сережа, ничего не скрывай от меня. Сам знаешь, я сильная...

— Знаю. Только чего ж тут сказывать? В Померании это было. Готовились мы к новому наступлению. Стояли за каким-то селом — название трудное, не припомню. Гриша и капитан наш находились поодаль от меня, рассматривали карту — капитан (Мищенко уже был в таком звании) только что вернулся из штаба, уточнял там задание... Ну а мина немецкая, единственная в тот день, пущенная так, наугад — никто и не слышал ее свиста, — трах!.. И не стало обоих. Гриша часа полтора еще был живой, скончался в медсанбате. Ну а Семена Мищенку, того...

В этом месте его рассказа Феня вдруг встрепенулась,

прижала пальцы к своим губам, давая Сергею знак, чтобы немедленно замолчал.

В горницу входил Авдей Белый.

— Вот это встреча! Сергей, ты ли это, в самом деле?!

— Он, он! — сказала Феня елико возможно спокойнее, а краска непонятного еще для Сергея стыда густо покрыла и ее лицо, и шею — даже крупные руки трактористки вмиг обсыпало багровыми пятнами, а меж широко, просторно раскинутых бровей выступили капельки пота — явно не от чая, до которого она так и не прикоснулась.

Сергей вышел из-за стола. Мужчины крепко обнялись. Теперь уже вместе вернулись за стол. Феня мельком взглянула на Авдея, как бы только скользнула по нему своевольным взглядом, но его-то и оказалось достаточно для того, чтобы офицер начал кое-что понимать, кое о чем догадываться.

— Живой, живой! — воскликнул вдруг Сергей в радостном удивлении, словно бы только вот теперь, в эту минуту убедился, что перед ним его старший двоюродный брат, а не кто иной, и что этот брат, который считался без вести пропавшим, сидит сейчас с ним за одним столом и со странною, растерянной улыбкой на лице рассматривает Сергея, будто тоже удивляется тому, что его младший брат вернулся с войны живым и невредимым. — Как же все-таки?.. Где же ты был все эти годы, а? Расскажи, пожалуйста!

— Долгая, Сережа, история и невеселая. Потом как-нибудь. Да и трудно мне. Ты уж извини. В другой раз.

— Ну, хорошо. Не надо. Живой — и отлично. Как же ты теперь? Где?

— В Завидове. Механиком вот у них, у трактористок, — он указал глазами на примолкшую, насторожившуюся Феню и растерянно улыбнулся. — А ты надолго к нам?

— Там видно будет. Недельки две поживу.

— У матери моей, чай, остановишься?

— Ну а где же мне еще?

— Вот и хорошо. На охоту вместе походим. На уток.

— Нет, Авдей, тут я тебе не компания. Наохотился.

— Ну, на рыбалку.

— Это другое дело.

— Да пейте вы чай-то, охотники! — подала наконец свой притворно возмущенный голос Тетенька. — Наговоритесь еще, успеете! Вся ночь впереди, теперь вас не уложишь спать-то.

— На том свете выспимся, тетенька Анна! — улыбнулся Авдей, радуясь тому, что разговор двинулся по более легкому для него руслу.

Обрадовалась тому же самому и Феня, но не настолько, чтобы окончательно погасить в своих потемневших глазах напряженно-тревожные огоньки.

Сергей оглядел стол, увидал вроде бы впервые все Тетенькино богатство на нем и быстро вышел из-за стола. Понял, что приспело время, когда он может наконец раскрыть свой чемодан, где у него лежало несколько банок с мясными консервами, которыми его снабдили на дорогу сослуживцы.

— Что ты там роешься, сынок? Ай мне нечем угостить вас? В печке у меня щи, они еще горячие, картошка в мундире. Сейчас выну. А чай сызнова подогрею... Садись, садись, чего уж там!

Но консервы были уже на столе. Объявилась, но, похоже, уж по Фениному волшебству, и некая посудина, без которой редко обходится русское, даже самое худое, застолье.

— Валушка продала сегодня, — вроде бы оправдывалась Феня, — с выручки не грех, чай, одну-то бутылку. Вишь, как она кстати пришлась.

К водке еще не прикоснулись, а веселое ее действо на человеческие языки уже совершилось. Сидевшие за столом повеселели, сделались вдруг чрезвычайно разговорчивыми, в речах бойки. Ну а пропустивши по малой, — тетенька Анна достала откуда-то действительно очень малые, на один лишь короткий глоток граненые стаканчики, — совсем уж одушевились, и теперь речи людей, как и в лесном поселке у брата и сестры, то и дело перемежались веселым смехом, единственно способным хоть на время снять с души тяжесть накопившихся страданий.

Потом, двумя или тремя часами позже, — кто же за столом замечает, как бежит время! — Авдей по не примеченному Сергеем знаку Фени вышел, будто по какой-то своей надобности, в сени, а Тетенька еще рань-

ше вспомнила, что ей пора подоить козу, — и тоже была где-то во дворе, в хлевушке, — Феня заговорила.

— Вот что, Сережа... Может, ты и сам уж догадался. Ведь мы с Авдеем... Мы живем с ним. Может, и ты осудишь, может, станешь на сторону тетки Авдотьи и тех, кто нас осуждает... Это уж твое дело...

— Что ты, Феня? Как же я могу осуждать! — горячо сказал он. — Кто же может быть судьей в таких делах, кроме вас самих!

— Судей хватает, — легкая судорога пробежала по левой щеке молодой женщины. — Ну да ладно. Справимся как-нибудь. Бог не выдаст... — она прервала вдруг эту мысль, перекинулась на другую, видать, не меньше тревожившую ее. — И еще к тебе просьба. Ты маме о гибели Гриши не сказывай...

— Как же? Она ведь знает. Командир наш писал...

— Не верит она никаким бумагам. Мама и держится-то на земле только потому, что ждет. Так что ты ничего не видел и не слышал. А то убьешь ее своими подробностями.

— Понимаю.

— Ну и хорошо. А об Авдее, как у него все было, ты узнаешь из этого вот письма. — Она вынула откуда-то из-под кофты старый, обсмоленный руками конверт и подала Сергею. — Прочитай, только верни мне потом... Вот видишь, Сереженька, какая я...

— Какая?

— Грешная со всех сторон. Непутевая.

— Неправда! — горячо возразил Сергей.

— Ты хороший, добрый, Сережка. Будь хоть ты один за нас!

— Буду! — сказал он почти клятвенно.

Феня подошла к двери, толкнула ее, позвала:

— Иди к нам, Авдей! Чего ты там торчишь! Я уж исповедалась. И за себя, и за тебя. За обоих сразу.

Он вошел еще более взволнованный, слезы облегчения выступили на его глазах, руки нервно перебирали светлые, увлажнившиеся, прилипавшие ко лбу вихры.

— Так-то вот, братишка, — проговорил глухо, сдавленно.

— Ну что ж, счастья вам, — сказал Сергей.

Феня печально улыбнулась:

— Какое там счастье?

— А что так?
— Надолго к нам?
— Я уже сказал Авдею — недельки на две.
— Ну вот сам все и увидишь. Наглядишься на наше счастье. Ну да ладно. Ты, поди, устал с дороги. Отдохни, а мы у соседей переночуем. Они тоже завидовские. А завтра вместе выйдем на грейдер. Пойдем, Авдей.

Они ушли, и сейчас же вернулась тетенька Анна с малюсеньким ведерком, попахивающим парным козьим молоком, прямо с порога осведомилась, сурово насупившись:

— Ну, что, сынок, узнал теперь все?
— Не все, но кое-что.
— Ну, всего-то многонько накопилось. В один час не узнаешь. На-ко вот, милый, выпей кружечку. Не молоко — сливки от моей Машки. Выпей да ложись. Постель разберу для тебя за занавесью. Сама-то я на печке. Моим старым костям там в самый раз. Зимой и летом грею их на кирпичах. Покойной тебе ноченьки, солдатик родной. Я еще схожу к шабренке *, закваски попрошу, можа, лепешек на дорогу вам успею испечь...

«Покойной ноченьки» у Сергея не получилось. Часть ее ушла на чтение пространного письма Авдея, а часть — на беспокойные, неугомонные думы по поводу туго стягивающихся обручей вокруг их судьбы.

3

«Ты, наверное, удивишься, получивши это письмо. Я и сам не сразу понял, почему именно тебе — не матери, а тебе! — решил рассказать обо всем, что было со мною на войне. Потому, видно, решил, что для матери я непременно стал бы, жалея ее, немножко лгать, смягчать обстоятельства, в которых оказался и оказываюсь еще и теперь. Тебе же могу поведать всю правду — иначе с тобой нельзя, к тому же после матери ты, Феня, единственный человек, с которым как-то еще связываются у меня надежды на завтрашний день. Нет, нет, я не имею в виду того, о чем ты могла подумать сейчас: между нами стоит он — слышал, очень хороший человек,

* Так в здешних местах называют соседку. (**Прим. автора.**)

дай-то вам бог счастья! Но мне довольно и того, что ты есть на свете и что я могу хоть редко, но видеть тебя — пускай и издалека.

Итак, послушай.

В 1941 году, в первый день войны, я был призван в армию в Ленинграде, где из таких же, как я, рабочих парней сформировали роту, погрузили ее на машины и доставили на передовую — Карельский перешеек. Времени было так мало, что даже оружия не успели подвезти нам. На всю роту приходился один автомат и два ручных пулемета. Винтовок не оказалось, вместо них выдали пистолеты и к ним по десять штук патронов, которые приказано было строго беречь.

На Карельском перешейке простояли до третьего июля. Поскольку на этом участке противник больших наступательных операций не проводил, а рвался к Ленинграду с Северо-Западного направления, нашу 70-ю, которой командовал генерал-майор Федюнин (может быть, Федюнинский, прославившийся впоследствии?), — нашу, стало быть, дивизию перебросили в район города Луги, где мы прямо с ходу вступили в бой; я не мог, конечно, знать, какие у нас были силы и какое оружие в других подразделениях, но мы наступали. В результате немец был отброшен на 70 километров, за город Сольцы и военный городок Медведь, где мы заняли оборону. Враг, наверное, понял, что сломить сопротивление нашей дивизии нелегко, и бросил против нас большое количество боевой техники — самолетов, танков — и живой силы. Нам не удалось остановить его. Где-то на фланге, где стояла другая дивизия, наспех сформированная из ополченцев, противник прорвал нашу линию. Начались бои в полном окружении. Как мы ни старались выйти из него, ничего из этого не получилось: кольцо сжималось все туже и туже. При такой ситуации люди стали разбиваться на группы, чтобы легче было просочиться к своим.

Я угодил в небольшой отряд, где, кроме нас, рядовых, были два младших лейтенанта. По их расчетам, на рассвете мы должны были выйти из окружения к Чудскому озеру. Ночью, однако, группа наша рассеялась, к утру я уже не увидел рядом с собой младших лейтенантов: видно, с другими красноармейцами они поднялись еще раньше и стали пробиваться из окружения. Так мы бро-

дили одни — я да еще несколько бойцов — вплоть до 28 августа где-то в районе Старой Руссы и в конце концов нарвались на немецкую засаду. Сперва отбивались как могли. Почти всех моих новых товарищей в первые же минуты поскосили из автоматов, а меня поранили в правую ногу, чуть выше коленной чашечки.

С этого дня, Феня дорогая, и начался для меня плен. Под усиленным конвоем меня привели в какую-то деревню, куда еще раньше было согнано много наших, в том числе, как и я вот, раненых, едва державшихся на ногах. Тут нас построили и объявили: кто попытается выйти, будет расстрелян без предупреждения. И это была правда — немцы слов на ветер не бросают, в этом мне пришлось не один раз убедиться.

Потом погнали дальше. Гнали безостановочно — никаких привалов. Сами конвоиры менялись каждые десять километров. Обессиленные пленные падали прямо на дороге, их расстреливали, закалывали штыками. А мы все шли. Я, конечно, не прошел бы и версты со своей пораненной ногой, да другие пленные выручили. Особенно наш земляк — саратовец, старший сержант Чигирев. Он поддерживал меня под руки да подбадривал: «Держись, друг, не то хана!» Ряды наши постепенно редели. Так прошли 80 километров — ни воды, ни еды — до города Порхова, где уже действовал настоящий лагерь для военнопленных. Тут нас сдали по счету — тех, что остались в живых.

Лагерь был огорожен колючей проволокой с пулеметными вышками вокруг и сторожевыми псами. Помещений на его территории никаких не было. Мы стояли по пояс в грязи, ни сесть, ни лечь, и притом голодные. Пленных было тысяч двенадцать. Помню, в первую же для меня тут ночь пошел сильный дождь. Укрыться от него было негде, так и валялись прямо в грязи.

Поутру доставили «продукты» — хлеб пополам с опилками, одна килограммовая буханка на пятнадцать человек, и по ковшу баланды из просяной трухи. После такой еды пленные не могли оправиться, — прости, Феня, за такую подробность!.. Люди умирали прямо у канавы, вырытой для уборной.

Потом стало еще хуже. Наступили заморозки. Пленные стали гаснуть массами. Меня выручала шинель и плащ-палатка, каким-то чудом уцелевшие на мне. Палат-

ку я расстилал на грязи, в шинели ложился. Час-другой вздремну — сил прибавится. Покойников грузили, как дрова, и пленные же вывозили их на себе к приготовленной загодя яме.

Ясно, что, кроме смерти, тут ждать дальше было нечего. И вот, Феня, у меня созрело решение — бежать. Во что бы то ни стало бежать! Рана моя помаленьку поджила — оказалась поверхностной, повредило только мякоть, кость не задело. Бежать! — другой мысли теперь у меня не было. Бежать, но как? К огораживающей лагерь проволоке не подпускали ближе чем на десять метров, а дальше — запретная зона. Но надо что-то придумать: оставаться долее в лагере нельзя.

Выбрали с Чигиревым самую темную ночь и подкрались к колючей проволоке, в том месте, где, по моим наблюдениям, охранялось не так строго. С помощью плащ-палатки перебрались через проволоку и, поскольку в темноте я ни черта не видел, сейчас же оказался во рву, специально, видать, выкопанном на такой-то вот случай. Как ни старался выкарабкаться из него — не смог. В конце концов меня обнаружили — осветили прожектором — и сразу выслали охрану с собаками. Понятное дело, схватили и грозились уничтожить, что было бы для меня, пожалуй, лучше. Но охрана почему-то не сделала этого — швырнула обратно за проволоку. Старшего сержанта Чигирева я больше не видел: убежал ли он или был пристрелен сразу за оградой — не знаю. Знаю только, что спас мне жизнь он. А через несколько дней слышу у ворот голос переводчика:

— Пленные украинцы и белорусы, выходите сюда и снимайте с себя грязную одежду. Складывайте ее вот тут. Взамен вам выдадут чистое и отправят по домам, так как ваша местность уже освобождена от Советов. Германское командование проявляет к вам свою милость — отпускает...

Я, конечно, не поверил в такую «милость», но все-таки решил: что будет, то и будет — надо же как-то выбираться из лагеря! Словом, тоже направился к воротам. К моему удивлению, конвой пропустил меня в одежде к столу, где производилась регистрация. На вопрос — откуда, назвал Могилевщину, полагая, что мои льняные волосы (не зря же в детстве я носил прозвище Ленок, да и ныне там у вас, в Завидове, все меня называют не иначе как Авдей Белый), — что мои льняные, значит,

волосы вполне могли бы принадлежать белорусу. С присвоенным мне номером 95 встал в строй. Когда закончилась вся эта церемония, нам выдали хлеб — по одной буханке на десять человек — и повели на вокзал. Одежды пленным покамест не выдавали — сказали, что сделают это в вагонах.

На вокзале нас уже поджидали открытые платформы и отряд опять же усиленного конвоя. Отсчитав по пяти человек, грузили. Грузили почти нагих, а ночью ударил мороз. Поезд двинулся — весь состав освещался прожекторами. И шел поезд неведомо куда. Пленные жались друг к другу, старались хоть таким образом немного согреться. Но это мало помогало — люди быстро превращались в окоченевшие трупы. Утром производилась проверка, мертвых сбрасывали на малых станциях, потом состав опять трогался.

К вечеру прибыли в Ригу. Состав разгрузили. Оставшихся в живых построили в колонну — по пять человек в ряд — и повели в неизвестном направлении. Скоро оказались на окраине города, где у немцев тоже был лагерь для советских военнопленных. Все называли его «Большой» — в нем содержалось до сорока тысяч человек. Перед лагерем стояло несколько тополей, еще не окончательно сбросивших листву. Через пять минут тополя стали совершенно голые: листва была съедена пленными.

Нас пересчитали и впустили за ограду. Все лагеря у немцев были сделаны по одному стандарту: та же колючая проволока, такая же охрана, такая же грязь и такое же «питание». Только пленных больше, а значит, и получать «паек» было еще труднее. Бросят на пятнадцать человек буханку — она вмиг исчезнет в человеческой свалке, и спрашивать не с кого.

В Большом лагере я пробыл недолго. Немцы решили немного разгрузить его — стали отбирать более сильных. Их набралось две тысячи шестьсот человек. Опять колонна и опять, как всегда, по пять человек в ряд. Куда? Никто нам об этом ничего не говорил. Шли долго. В Риге было одно трех- или четырехэтажное здание — хорошенько не помню, — но тоже огороженное колючей проволокой и тоже с охраной. Наутро нас разбили по командам, над которыми были поставлены старшие. Думалось, что тут должен был бы быть хоть какой-то порядок и сносное

питание. Но ничего подобного! Все так же, как и во всех гитлеровских лагерях.

Декабрь. Морозы стоят жестокие — до сорока градусов. Одежда на нас износилась вконец, вошь ходом пошла, овладела нашими лохмотьями. В пять часов утра нас поднимали старшие, вели на работы. Имени и фамилии у старших не было, так же, как и у нас, — только номера. Мы уже привыкли к этому и сами себя окликали по номерам: «Эй, сороковой, дай потянуть от твоего окурка!», «Девяностый, отломи корочку!» — ну и тому подобное.

Я попал в группу по разгрузке горючего — выводили нас за город, на станцию. Рабочий день длился дотемна, была установлена норма (как же может немец без нормы!): на каждого человека один вагон, в котором помещалось пятьдесят бочек, пока что порожних. Но их надо было выгрузить, заполнить горючим и вновь закатить в вагон — установить так, чтобы поместились все пятьдесят. Увидя, что один не может справиться с полной бочкой, нас начали ставить по двое. И на каждую такую пару двуногих лошадок-кляч выделялся один погоняльщик. И так-то вот, Фенюшка моя милая, день за днем, день за днем. Тот, кто не выполнял нормы, лишался пайка и в конечном счете погибал: падал замертво тут же, на станции, или по дороге в лагерь, пристреленный конвоирами. Некоторых выручали сами же пленные — несли на себе: кого под руки, кого на носилках, но и, доставленные в лагерь, они все-таки умирали там либо от слабости, либо от расстройства желудка, так как при погрузке пленные набрасывались на дизельное масло и пили его.

На каждом шагу пленного подстерегала смерть. Тех, кто пытался совершить побег, излавливали, потом неделями не давали им есть, а то ставили на улице совершенно нагими. У окна, где выдавалась баланда, их избивали дубинками, колотили до тех пор, пока не кончится очередь всех двух с половиной тысяч человек. Затем полумертвых опять уводили в холодный сарай до следующего утра. В воскресный день строили виселицы и вешали неудачливых беглецов на наших глазах.

Как-то ночью я вышел в уборную. Она находилась внутри лагеря, где вся площадь хорошо освещалась при двух охранниках. По дороге поднял буханку хлеба, решив, что она кем-то оброненная. Охрана сейчас же схва-

тила меня и втолкнула в подвал. Освоившись с темнотой, постепенно стал различать людей, которые, оказалось, попали сюда по той же причине, что и я. Спрашиваю, почему валялся хлеб на дороге, — ответить никто не может. И тогда я понял, что хлеб был специально подброшен — то была приманка, наживка для нашего брата, пленного. Яснее ясного стало для меня и то, что всем нам, угодившим в подвал, грозит смерть. Вопрос был в другом: стоило ли ее ждать вот так, сложа руки, ничего не предпринимая?

Я стал уговаривать пленных совершить побег, но они отказались. Тогда я решил про себя: сделаю это один! Ночью, когда все спали, а скорее всего делали вид, что спали, я вывернул в стене два камня и оказался в другом помещении, которое было с окнами, открывавшимися своими створками внутрь. Выглянув осторожно в окно, сразу же увидал охрану — тех же двух часовых. Надо было улучить момент, когда охранники отойдут, и тогда выпрыгнуть в окно.

На мое счастье, кто-то подъехал к воротам, и охрана ушла туда. Я выскочил в окно и как ни в чем не бывало направился в помещение лагеря. Утром всех, кто сидел в подвале, вывели и начали считать. Одного, конечно, недосчитались. Принялись искать. Выстроили весь лагерь. Номер мой ночью оставался в помещении, на шинели, и это спасло меня. А тех, из подвала, облили водой и на наших глазах заморозили. Тебе, Феня, трудно поверить, чтобы такое сделали одни люди с другими людьми. Самое-то, может быть, ужасное состоит как раз в том, что все, о чем я тебе сейчас рассказываю, сущая правда. И было это в январе тысяча девятьсот сорок второго года.

Бежать, бежать, бежать, так смерть и так смерть. Зачем же погибать по-кроличьи!

Вторую попытку избавиться от плена я сделал 17 января сорок второго года. Была сильная пурга. Два немца — часовые — стояли у ворот, возле бочки с баландой. Я в очередь за едой не встал. Затаился неподалеку от охраны и ждал момента, когда часовые отойдут подальше. Было это на работе, на станции, и потому конвоиры были одеты в теплые шинели с капюшонами, а на сапогах у них большие соломенные лапти, чуть поменьше соломенных гнезд для кур, которые, бывало, пле-

ла моя мать. Когда они отошли, я шмыгнул в сторону так, что часовые не заметили. Рядом находились товарные вагоны. Погрузку здесь производили латыши. Увидав меня, они показали дорогу, куда надо бежать.

Так я оказался за городом и бежал на восток до самого вечера. Со мной, кроме пустой сумки, ничего не было. Мучили меня и голод и холод. На ногах были ботинки без подошв, а на плечах рваная шинель. Рискнул зайти на хутор немного обогреться. Выбрал нарочно самый захудалый домик. В нем были только два человека, наверное, муж и жена. Они готовились к отъезду, упаковывали вещи. Мое появление очень напугало их. Но, приглядевшись, они спросили: «Ты русский?» Я ответил: «Да». Это были евреи. Они попросили меня поскорее покинуть их дом, так как им и без того грозит большая опасность. Я понял все и собрался уходить, но хозяева задержали меня, дали на дорогу немного хлеба, грамм двести колбасы, грамм сто масла, пачку папирос и коробок спичек.

И я отправился в путь. В сумерках заметил на поле стог сена, где и заночевал. С рассветом пошел дальше, хотя нужно было бы делать это ночью. К вечеру все-таки благополучно добрался еще до одного хутора. Обойти его не представлялось возможным — весь почти поселок окружен непроходимыми болотами. Но и хутор я миновал удачно. За хутором, неподалеку, стояли две сосны. Дорогу, по которой я вышел, пересекала другая дорога — как раз в том месте, где были сосны. Из-за деревьев навстречу мне вышли два человека. То были полицейские. Они задержали меня. Я долго упрашивал их, чтобы отпустили, но они не согласились и отвели меня обратно в хутор, в полицию, а оттуда, на подводе, под охраной, отвезли в Ригу и сдали в гестапо. Там меня продержали три дня. Затем направили в тюрьму для политических заключенных, где содержались латыши, служившие в Красной Армии. Большинство из н х были командиры. Я не знал, что тут было мое спасение, и ожидал, конечно, самого худшего.

Поместили в одиночную камеру, пищу подавали в окошечко из коридора. Пища была не гуще той, что выдавалась в других лагерях. Утром чай и девяносто граммов хлеба, в обед — ковшик супу, вечером — опять чай. Вот и все. Но зато не гоняли на работы и вообще никуда не выводили, кроме как один раз в неделю на

прогулку. Вскоре вслед за мной в тюрьму поступило еще пять человек. По их рассказам, попали они сюда за диверсию. Работая где-то в гараже, закопали в землю несколько бочек бензина, но их разоблачили.

Заключенные умирали и тут. Это знали в городе: об этом рассказывали латыши, обслуживавшие тюрьму, — повара, раздатчики пищи. Узнав, что в тюрьме содержатся четыреста человек латышей, которым грозит голодная смерть, жители Риги потребовали от немецкого коменданта разрешения помогать заключенным. Такое разрешение в конце концов было дано. С той поры каждое воскресенье рижане приносили кое-что из еды, сдавали на кухню, где работали надежные люди, которые делили все поровну среди заключенных, не глядя на то, кто ты: латыш или не латыш. Это была большая поддержка.

Не знаю, чего от нас хотели фашисты, но держали очень строго: через каждые три дня снимались допросы и отпечатки пальцев...

Прости, Фенюха, но дальше описывать все у меня нету мочи, не хватает моих сил. Скажу только, что я прошел семнадцать — слышишь, 17 — немецких лагерей. Рассказал же только о трех. Был я и в Эстонии, на сланцевых рудниках, оттуда меня направили в другой лагерь, а затем и в третий, в четвертый, в пятый, в шестой...

Вот все, Феня. А сейчас еще одно испытание — надеюсь, последнее: я нахожусь хоть и на родной земле, но далеко-далеко от Завидова. Люди, специально назначенные, должны убедиться, что и за той чертой, под номером 95, оставался советский человек.

Ну а для этого надобен какой-то еще срок».

Письмо длинное, но Сергей прочел его от начала до конца один раз, потом другой, не в состоянии избавиться от встревожившей его мысли: физические раны, оставленные войной на миллионах бывших фронтовых солдат и на теле их Родины, в малый, большой ли срок, но все-таки исцелятся, зарубцуются. А как исцелишь, заврачуешь раны душевные, полученные от той же войны десятками тысяч людей, подобных Авдею? И еще. Для чего, собственно, Феня Угрюмова держит постоянно при себе это письмо? Не служит ли оно для нее некой охранной грамотой?.. И от кого обороняется она этим страшным доку-

ментом? От матери, отца, от тетки Авдотьи или от всех завидовцев, осуждающих их связь: ведь, помимо всего прочего, Авдей доводится ей двоюродным дядей — Феня укладывается в постельку с «родственничком», допустимо ли этакое?!

Ну а сам Авдей? Выветрятся ли из его памяти кошмары прошлого? Будет ли он когда-нибудь спать бестревожно?

Тетенька Анна все-таки не вытерпела — подала свой голос с печки:

— Да ты никак все не спишь?

— Сплю, сплю, тетенька Анна!

— Как же — не слышу, что ли! Ложись, хоть часик вздремни. Скоро уж вставать.

— Не спится что-то, тетенька Анна. Все о них. Трудно им придется.

— Знамо, нелегко, — живо отозвалась старуха. — Теперя держись. Сладок будешь — расклюют, горек будешь — расплюют... А ты все-таки сосни часок. И мне, старухе, дай вздремнуть маненько, — тяжко, с оханьем вздохнув, хозяйка умолкла.

4

Странно все-таки и горько устроен мир. Событие, от которого человек вправе был ожидать если не полного счастья, то хотя бы какого-то просветления в своей судьбе, неожиданно, вопреки, казалось бы, всякой житейской логике поворачивается к нему самой своей неласковой стороной. Полученное Феней в конце сорок пятого года письмо от Авдея зажгло в ее душе некий светильничек, безотчетную покамест еще надежду на что-то почти праздничное впереди; после извещения о гибели брата Григория и Семена Мищенко впервые выжало на ее вроде бы уж навсегда недвижных, закаменевших губах легкую, едва заметную, на один лишь миг дрожь улыбки, которую, наверное, она и сама-то не почувствовала, — но улыбка все-таки была, и она была вернейшим знаком душевного воскрешения.

Первое, что она сделала тогда, так это помчалась, как потом рассказывала, «сломя голову» к Авдотье Степанов-

не, Авдеевой матери, чтобы принести ей столь неслыханно великую радость; может быть, Феня и не думала в тот час, что такою новостью она растопит лед отчуждения, бывший между ними с весны сорок третьего, то есть с той поры, когда Фенина связь с фронтовым постояльцем стала достоянием всего Завидова, а в сердце Авдотьи поселила чувство беспричинной, казалось бы, ревности и обиды за сына, пропавшего без вести. Не думала Феня, не стремилась расположить Авдотью к себе, но такая надежда жила в ней сама собою, подспудно, и, верно, потому она огорчилась, узнав, что в тот же день почтальон Максим Накл̈ёников принес такой же конверт и Авдеевой матери, принес и не сунул, как делал почти всегда, под сенную дверь, а чуть ли не ворвался в избу и пропадал там более часа, пока не выполз оттуда чуть ли не на карачках полным-полнехонек, как заключила встретившая и освидетельствовавшая его по дороге домой жена Елена, давно не видевшая мужа в этаком состоянии: на радостях Авдотья Степановна поставила на стол всю четверть, хранившуюся у нее в подпечке с бог знает каких времен, может быть, как раз для такого вот редкостного события.

Не дознавшись, с каким делом заявилась к ней Феня, Авдотья упредила гостью горячей просьбой:

— Прочти теперя ты, Фенюшка! Максим, поди, с пято на десято... Пропустил, чай, половину. От Авдеюшки это!.. Живой сынок-то мой! Я знала, сердцем чуяла, что не погибши... Прочитай еще разок, доченька! О господи, за что мне, грешнице, такое счастье!

Феня, бледная от волнения и от накатившейся откуда-то на сердце тревоги, стала читать. Читала медленно, потому что Авдотья Степановна просила не торопиться, читать погромче («Слабеть что-то стала на ухо», — предупредила она гостью). Письмо было недлинное, не такое, какое получила она, без всяких подробностей относительно его скитаний по немецким лагерям, — просто он сообщал, что жив, здоров, надеется скоро вернуться, и тогда заглянет в Завидово, чтобы повидаться с нею, матерью, да сестрами, которым велел кланяться. Далее шли поклоны другим, более дальним «сродничкам» и знакомым — в перечислении многих имен значилось и ее, Фенино, имя; она даже обиделась на него, что помянул ее едва ли не самой последней, позже Саньки Шпича, очень нелюбого ей человека, вернувшегося недавно в Завидово, и попытавшегося было «прихлестнуть» за Фенею, и вызвавшего таким

образом лютую ревность Насти Вольновой, младшей ее подружки, за войну очень привязавшейся к Фене.

Прочитавши, Феня призадумалась. Пока растроганная донельзя хозяйка, исполненная благодарности, обнимала и целовала ее, обмачивала Фенины щеки обильною слезою несказанной радости, Феня решала, сообщать ли Авдотье Степановне о полученном ею, Фенею, письме. Если скажешь о нем, то Авдотья непременно заставит прочесть, а как она прочитает, если сам Авдей не захотел, не стал рассказывать матери того, что рассказал другому человеку?! Может, просто вот встать сейчас и уйти, но и этого Феня не могла сделать: как-никак, а она была женщина, то есть самое ненадежное хранилище каких бы то ни было новостей, ну а хороших — и подавно. И она тихо, хриплым голосом, перехваченным волнением и той неясной, подкатившейся к ней вроде бы украдкой тревогой, сообщила:

— Он и мне прислал весточку.

— Кто, милая? — не поняла сперва Авдотья Степановна, оглушенная нежданно-негаданно свалившейся на нее великой радостью.

— Да Авдей же!

— И тебе?.. Чего же он?.. — слезы счастья стали быстро, прямо на глазах Фени, подсыхать на лице хозяйки, а лицо становилось и суше и холоднее. — Что же он пишет тебе?

— То же самое. Жив и здоров, — сказала Феня елико возможно спокойнее и будничнее.

— Прочла бы.

— Да не захватила с собой.

— Ужо наведаюсь к вам. Чай, прочитаешь.

— Прочитаю, — сказала Феня, не сводя приугасших глаз с озабоченного лица Авдотьи. Про себя подумала: «С чего это она надулась? Разве я худое что сказала? Господи, как же все непонятно!» — Ну я пойду. Хотела тебе добрую весточку принесть, а она к тебе раньше прилетела. Рада за тебя, тетка Авдотья.

— Спаси тебя Христос. Так я ужо к вам...

— Приходи, — сказала Феня теперь тоже холодновато, потому что к этой минуте вспомнила, что приход такой гостьи не сулит ничего хорошего не только самой Фене, но и ее матери, для которой любая чужая радость — лишнее напоминание о собственном горе.

Аграфена Ивановна не знала о том, что Авдей жив; дочь все-таки утаила от нее получение Авдеева письма, и до сих пор, пока он числился в без вести пропавших, горе двух матерей было общим, они словно делили его пополам, при встречах и при воспоминаниях о сгинувших на войне сыновьях обе, конечно, плакали, но слезы приносили на какое-то время пускай малое, но все-таки облегчение. Теперь же доля тяжкого бремени снимается с сердца Авдотьи Степановны и сама собою свалится на несчастную Аграфену Ивановну, — устоит ли она под таким еще ударом? Между тем Феня знала, что не найдется на свете такой силы, которая заставила бы Авдотью Степановну промолчать о своем счастье: оно ведь, как и несчастье, нетерпеливо, рвется из груди и властно требует, чтобы ты поделился им с другими.

Еще до «ужо», то есть до того не определенного никаким конкретным часом времени, где-то за полдень, к вечеру, когда деревенская женщина обычно успевает встретить корову, подоить ее, управиться с другими домашними делами и с чистой совестью и не обремененными особыми заботами думами может пойти погостить у кого ни то на один часик, — так вот еще до этого «ужо», едва проводив Феню Угрюмову, Авдотья Степановна помчалась к шабренке, а та, сделавшись обладательницей такой новости, распрощавшись с Авдотьей, метнулась к своей шабренке — и понеслось. Словом, к возвращению Фени домой Авдотьина новость, околесив по улицам и впадающим в них проулкам все село, замкнулась как раз на угрюмовском подворье.

Однако Фенины опасения были напрасны. Против ожидания новость эта не только не сокрушила Аграфену Ивановну, но дала добавочную пищу для чуть тлеющего где-то в глубине ее души огонька надежды, — теперь этот огонек возгорелся, и отсветы его явственно замерцали в почти омертвелых, насквозь проплаканных глазах матери. На них и сейчас были слезы, но не замутненные, как обычно, неизбывной, непроходящей горечью, а детски чистые, родниковые.

— Слышала, Фенюха, новость-то? — почти закричала она, завидя входившую в избу дочь. — Авдюшка-то Белый отыскался! Живой и здоровый. Можа, и наш Гришенька... — тут она замолчала, двинулась навстречу Фене, распростерши руки для объятья. Не прижалась, а прямо

упала на дочернюю грудь, и Феня, поддерживая, подвела ее к лавке, уселась и сама рядом, с трудом удерживая собственные слезы, вскипающие на сердце и рвущиеся наружу.

Весною нынешнего, сорок седьмого, года Авдей вернулся. Он вернулся с твердым намерением лишь повидаться с матерью и сестрами, ну конечно же, и со всеми другими завидовцами, а через недельку-другую уехать к себе на завод в Ленинград. И уехал бы и занял бы место у своего станка, если бы не Феня, которую увидел в первый же день своего возвращения в родное село. Увидел — и уехать один, без нее, уже не мог.

Авдотья Степановна, материнским, а может быть, просто женским своим чутьем понявшая еще задолго до его приезда в Завидово о возможной их связи, пыталась предотвратить ее всеми доступными для нее средствами. В каждом письме к сыну, куда-то туда, в далекую Сибирь, она как бы мимоходом, без особого нажима, не забывала сообщить про Феню что-нибудь такое, что могло бы охладить его чувства к ней, ежели такие у него имелись (а то, что такие чувства были, Авдотья Степановна не сомневалась). В одном, чуть ли не самом последнем своем письме она не поленилась и во всех подробностях описала то, как Феня Угрюмова, «потеряв стыд и совесть», чуть ли не на глазах у всего Завидова «жила с каким-то заезжим красавцем лейтенантом», «ославилась так, что родная мать боялась на глаза людям попадаться!». Получались подобные послания и от сестер. Те шли еще дальше. Одна даже сообщила, что во время войны в будку «тракторной бригадирши», то есть к Фене, «понырявал лесник Архип Архипович Колымага», что сестра своими глазами видела, как он приносил на стан уток, понастрелянных им в лесных болотах, — «с чего бы это он так расщедрился! — многозначительно восклицала сестрица. — Ты, чай, Авдей, помнишь этого Колымагу, скряга, каких свет не видывал, у него летошнего снегу не выпросишь, не то что уток!» Другая, младшая, и поведала ему о другом, о том, что в товарки себе Феня подобрала Марию Соловьеву, «самую распутную бабу в Завидове». «Идет эта Марея по селу, поставит сиськи, как верблюжьи холки, берите меня, мужики, голыми руками! Стыд и срам! — возмущалась младшая, не лишенная, судя по письму, художественного вооб-

ражения бабенка. — А Фенька дома и не ночует. Спихнула сына на материны руки, а сама, хабалка, у Соловьевой шашни с мужиками разводит. Та, Марея-то Соловьиха, прижила от Тишки Непряхина ребенка, и ей хоть бы что, мочись в глаза — ей божья роса! А муж, Федор-то, слышь, живой, в Германии служит, до Берлина, вишь, дошел, пишет, что вскорости вернется, накрутит ей хвоста, а можа, и голову свернет, как гусенку!»

Авдей читал все это и внутренне ухмылялся, отлично понимая, к чему ведет и чего опасается мать, мобилизовавшая и дочерей для поношения не такой уж близкой, но все-таки родственницы. Не знала Авдотья Степановна, не знали и сестры, что явно переусердствовали, что добились результата, прямо противоположного тому, на коий рассчитывали. Сами того не ожидая и, конечно же, не желая, они возбудили в Авдее острый и нетерпеливый, может быть, даже болезненный немного интерес к молодой и красивой женщине, которая еще с довоенных лет не была для него безразличной.

Он пришел в Завидово в полдень, прошагав от станции до села без малого семнадцать верст. Остановился у крайних изб, что придвинулись к самым заливным лугам, названным почему-то Малыми, хотя они куда обширнее тех, что подступали к селению с противоположной стороны и были наречены Большими. Авдей остановился, снял линялую, отороченную по краям темною от пота и грязи каймой, засаленную пилотку, тщательно вытер ею вспотевшее вдруг лицо, долго еще протирал неожиданно заслезившиеся глаза, зачем-то глянул на часы и удивился, что все семнадцать верст оставил позади себя за каких-то неполных два часа. «Должно быть, старая пехотинская привычка сказалась, — удовлетворенно подумал он. — Настоящий марш-бросок, да еще с полной боевой выкладкой!» — и он встряхнул за спиной пузатый, чем-то туго набитый, такой же, как пилотка, вылинявший вещмешок.

До вечера мать и сестры, забаррикадировавшись на своем подворье, ревниво оберегали его от нашествия других родственников, от знакомых, а в особенности от фронтовиков, вернувшихся в Завидово раньше Авдея и теперь встречавших очередного и, в общем-то, очень редкого счастливца всенепременным трехдневным, а то и недельным загулом.

Прежде всех, как того и ожидала и боялась Авдотья Степановна, припожаловали Тишка и Пишка. Первый

хоть и не был на войне, но теперь все время находился при важной особе Епифана, потерявшего где-то в своей штрафной роте левый глаз и сейчас чувствовавшего себя настоящим героем. Единственный глаз, в качестве компенсации, что ли, за утрату другого, обрел у него орлиную зоркость, позволявшую Пишке первым узрить нового завидовского пришельца; да и вообще теперь ничто, пожалуй, не могло на селе и в его окрестностях ускользнуть от этого цепкого, в постоянном насмешливом прищуре глаза. Завидовцы уже успели приметить, что Пишкино око, помимо остроты, постоянно хранило какую-то загадочную и пугающую веселинку и все время подмигивало, как бы намекая на что-то такое, о чем ведает лишь сам Пишка, а остальным людям надлежит еще догадаться. В одном только случае эта непонятная веселинка исчезала, пряталась — это когда на глаз Пишки попадался Павлик Угрюмов, пятнадцатилетний юноша, беззаботный и беспечный соответственно своему возрасту, однако ж с нынешней весны уже севший за руль трактора. При встрече с ним Пишкина улыбочка вмиг пропадала куда-то, может быть, сгорала в яростной вспышке затаившейся до поры до времени злобы: ведь никому на селе и в голову не могло прийти, что Епифан до сих пор убежден, что по наущению Павлика, «этого щенка», была организована на него лесная облава, что и левого глаза лишился Пишка по милости этого молокососа. «Ну погоди, я с тобой поквитаюсь!» — бушевал затаенно Пишка, и тогда-то в ястребином его глазу вспыхивали молнии. Жажда отмщения жила в нем, но даже самому близкому человеку Пишка не сказал бы о ней, даже «по пьяну делу» ни разу не проговорился, когда люди, хорошо знавшие, как было дело, могли бы без особого труда разубедить его, снять с мальчишки страшные Пишкины подозрения и отвратить грозу, которая при нынешнем положении вещей должна была рано или поздно разразиться. И виною всему опять война — она посеяла и это тайное злое семя, как и множество других, таких же черных и страшных семян, из которых может проклюнуться любая беда...

К дому Авдотьи Степановны Пишка, однако, притопал в самом добром расположении духа: военные передряги не переиначили его характера, а следовательно, и старых привычек, в число которых входила и та, что давала Епифану возможность при малейшем случае угостить себя за счет чужого кармана. Торкнувшись в калитку, затем по-

стучавши в окно и не услыхав в ответ никакого отзвука, Пишка подмигнул своему верному спутнику, и подмигивание это означало: не огорчайся, Тиша, Авдотьина крепость недолго продержится, мы с тобой, друже, не такие укрепления брали, брали штурмом, коли не выходило осадой!

— Авдотья Степановна! Алена! Веруха! — начал он взывать сладчайшим голосом, называя вместе с хозяйкой и ее дочерей, поскольку видел, как они часом раньше нырнули в родительский дом. — Откройте! И не совестно вам скрывать от фронтовика своего служивого? Чай, не съедим мы у вас его. Только глянем, поздравствуемся — и по домам!

В избе молчали. Авдей делал отчаянные знаки сестрам, чтобы открыли калитку, а те так же отчаянно и отрицательно качали головами, не желая хотя бы в первый этот день делиться с кем-либо долгожданным братцем.

Между тем Епифан продолжал ораторствовать:

— Авдотья Степановна, не гневи бога! Не простит он тебе, припомнит на страшном суде, как ты честных своих односельчанов на порог не пустила. Слыхано ли дело, чтобы фронтовик от фронтовика под материным подолом скрывался!

Неизвестно, что больше подействовало на хозяйку — угроза предстать пред божьими очами в судный день или последнее, обидное для ее сына Пишкино замечание относительно материнской юбки, — неизвестно, что именно, но первой сдалась, выбросила белый флаг Авдотья Степановна.

— Ступай, Вера, отомкни калитку. Ведь он, одноглазый черт, силком вломится, нечистый бы его побрал совсем. И энтот антихрист с ним, — закончила она, глянув в окно и приметив укрывшегося за Епифаном и виновато ухмыляющегося Тишку.

Через минуту с торжествующим видом победителей приятели ввалились в избу и, соблюдая очередность, принялись мять в своих объятьях смятенно улыбающегося и отчего-то вдруг покрасневшего Авдея.

— Присаживайтесь, чего уж там, — пригласила Авдотья Степановна, — какой только окаянный вам все доносит, ума не приложу!

— Э, тетка Авдотья! Ты, вижу, не знаешь, что на фронте я был разведчиком! — не моргнув своим единственным и нагловатым глазом, соврал Пишка и выпятил грудь, на

которой были медаль «За боевые заслуги» да желтенькая, захватанная пальцами нашивка, свидетельствующая о тяжелом ранении ее владельца.

В штрафной своей роте Пишка в непостижимо малый срок коротко сошелся со старшиной, по счастью оказавшимся тоже саратовским, тот и оставил его при себе, возложив на Пишку не очень-то обременительные обязанности кашевара. Место, прямо скажем, не такое уж опасное для драгоценной Пишкиной жизни, но и оно не оборонило проштрафившегося солдатика от увечья: при одной из многочисленных бомбежек совсем крохотный, именно такой, о котором говорят, что «только в глаз пустить», вражеский осколок приласкался-таки к хитрющей Пишкиной физиономии и навсегда сделал его кривым. О том, что случилось это так, а никак не иначе, в Завидове мог знать только сам Пишка, других свидетелей нету, ранение же остается ранением, и вокруг него Епифан волен сочинить любую, самую что ни на есть героическую историю. Потому-то он и продолжал, все более возгораясь, подгоняемый волной неудержимой фантазии:

— От меня, если хотите знать, ни один фриц не мог увернуться! Одних «языков» перетаскал для наших командиров видимо-невидимо. А на Одере — есть такая, Авдотья, река у немцев, — так вот на этом самом Одере я германского генерала прихватил и переправил на нашу сторону на бревне, вот тебе крест! — И Пишка незамедлительно перекрестился, не забыв повернуться лицом к образам. Он говорил, еще сильнее распаляясь, а хищный и нетерпеливый глаз его уже давно косил в сторону стола, уставленного закусками, к которым еще не притрагивалась ни одна рука.

— Да садись уж, хватит языком-то молоть! Знаем, какой ты у нас герой, — сказала Авдотья Степановна.

— Это что, намек? — вмиг помрачнел Пишка, сменившись с лица.

— Какой там намек! — вздохнула хозяйка. — Что было на языке, то и сказала. На то я и баба. А ты не сердись. Садись и угощайся. Это я к тому... Чтой-то орденов маловато на твоей геройской груди...

— А твой, мать, сынок, похоже, по карманам их рассовал, что-то не примечаю на его гимнастерке, — не удержался Пишка, чтобы не нанести ответный укол, но, боясь, как бы не нарушить в этом доме праздничного настроения и не пострадать самому от такого нарушения, быстро пе-

рестроился и говорил уже в прежнем своем, чуть насмешливом, но благорасполагающем тоне: — Вот слушаю я тебя, Авдотья Степановна, и удивляюсь: баба ты вроде мудрая, а иной раз скажешь такое, что хоть стой али падай. Орденов, видите ли, мало на Пишкиной груди! Ты, родимая, ничегошеньки в таких серьезных делах не смыслишь. Орден — это не солдатская награда. Она для офицеров да генералов... А для солдата — медаль. Да ты почитай, что написано на моей медали! За что она мне дадена? Читай: «За боевые заслуги». Не за какие-то там еще, а за боевые! Поняла?

— Поняла. Уймись ты, за-ради Христа!

— Теперь молчу, коль поняла. Давай, Тиша, поздравим Авдея с возвращением с того света, а его мать и сестриц с великой радостью! — С этими словами Пишка уселся за стол, да не где-то там с краешку, а поглубже, чуть ли не под иконами, откуда его непросто будет потом выдворить. Тишка, тот поскромничал, ткнулся тощим своим задом в старенький скрипучий стул чуть даже поодаль от стола, показывая таким образом, что он гость неопасный, поскольку собирается быстро покинуть застолье, предназначенное явно не для них с Пишкою.

К двум этим незваным гостям вскоре прибавились еще два: Санька Шпич, вернувшийся в конце войны с покалеченной правой рукой (на ней остались теперь лишь два пальца, средний и указательный, да и те не сгибались, так и торчали, вроде бы в кого-то тыча, похожие на зубья двурогих вил), и пристегнутый за компанию секретарь сельсовета Виктор Лазаревич Присыпкин, о котором, пожалуй, следует сказать подробнее, поскольку человек этот до войны и во время войны не значился в списках завидовцев. Санька Шпич познакомился с Виктором где-то на фронте — был этот солдат в их роте отделенным командиром, а по совместительству еще и писарем, — и они условились, что, демобилизовавшись, Виктор Присыпкин не поедет к себе на Брянщину, где оккупанты изничтожили всех его родных, да и само селение сровняли с землей, а наведается в Завидово, сперва для того, чтобы погостить у фронтового товарища, ну а потом, если село покажется ему, Санька возьмет его к себе в секретари. Так все и произошло. Присыпкин остался. Впрочем, эту подлинную его фамилию знали лишь в районе, куда Виктор Лазаревич чуть ли не каждый день отвозил собранные им у населения денежные налоги, Санька Шпич, вновь избранный

председателем завидовского сельского Совета, да еще тетенька Анна, у которой, как и прочие завидовцы, останавливался секретарь. Все другие называли Виктора Лазаревича Присыпкина одним коротким и категорическим словом — Точка. О таком прозвище позаботился не кто иной, как сам Виктор, поскольку любую фразу, любую, малую или длинную, свою речь секретарь завершал, как бы подытоживая мысль, именно этим словом «точка». В его устах она обретала множество самых разных по значению интонаций, несла самую разнообразную эмоциональную нагрузку, нередко совершенно неожиданную, каковую надлежало бы обозначать каким-то иным знаком препинания, но не точкою.

Итак, усердиями Саньки Шпича Точка была поставлена в Завидове, а через год прибавилась к ней и Запятая, славная и прехорошенькая девчонка по имени Дарья, которую до замужества все называли ласково и любовно — Даша. Выйдя за Виктора, она естественно и тотчас же была окрещена селянами Запятой. Теперь, завидя супругов, отправившихся куда-то вместе, человек не удержится, чтобы не сказать: «Точка с Запятой куда-то наладились. К Шпичу, должно, в гости».

К Шпичу Точка хаживал часто, иногда один, но больше все с Дашей, потому что та была близкой подругой Насти Вольновой, тоже утратившей свою веселую и легкую фамилию. Теперь нет-нет да кто-нибудь кинет ей вслед: «Председательша, Шпичиха пошла!» Настю, однако, любили на селе и даже в слово «Шпичиха» не вкладывали насмешливо-злого смысла, а произносили его с неизменным уважением, может быть, не только потому, что Настя обладала редким по доброте характером, но и потому, что, сделавшись «председательшей», она не оставила трактора, продолжала крутить баранку своего старенького, «зачуханного», как она говорила, «универсальчика». Мягкая по натуре, Настя показала вдруг своему начальствующему супругу характер и решительно отклонила его просьбу, похожую по интонации на приказ, чтобы оставила трактор и занималась только по дому, провожая на службу и встречая со службы своего суженого. «В домработницы, что ли, меня взял? Не бывать этому!» — объявила она, да так, что у Саньки отпала всякая охота сызнова заводить речь об этом. «А ты, оказывается, того... оса, и ужалить можешь!» — только и вымолвил он в крайнем удивлении и долго, в раздумчивости крутил круглой и умной своей

председательской головой. «Могу, могу, дорогой муженек, а ты как думал!» — сказала она, смеясь, и сейчас же обвилась руками вокруг Санькиной шеи, неожиданно даже поцеловала его и в губы, и в двупалую руку.

К счастью для Авдеевых родственников, четырьмя этими людьми и ограничился круг гостей в тот первый день его возвращения. Правда, направлялся к ним было и Апрель, Артем Платонович Григорьев то есть, с полмерным ведерком только что выловленных в пруду карасей, но его упредили Пишка и Тишка, двумя или тремя минутами раньше пожаловавшие к Авдотьиному дому. Не знаем почему, но Апрель остерегался оказаться в одной компании с Пишкой, может быть, боялся подвернуться под злой Пишкин язык. Вот и в тот раз не решился присоединиться к дружкам-приятелям, — прозябнувший до костей от студеной воды, чертыхаясь вполголоса, поминая при этом не самыми ласковыми словами Епифана и Тимофея, побрел наш Апрель в свою Поливановку, дрожа по-щенячьи: как ему, сердешному, пригодилась, пришлась бы впрок добрая чарка Авдотьиного самогону!

Эти четверо гостили недолго: у Шпича и Точки были какие-то срочные, неотложные дела в сельсовете; у Пишки с Тишкою не было таких важных дел, но оставаться после председателя они сочли для себя неудобным, да и хозяйка не очень-то уговаривала их, чтобы задержались.

Авдей решил вдруг проводить всех. Авдотья Степановна, нахмурившись и ревниво поджавши губы, двинулась было вслед за сыном, но тот спокойно, но достаточно настойчиво попросил:

— Мать, ты не ходи со мной. Я скоро вернусь.

Это «скоро» затянулось до поздней ночи. Мать долго терпела, ожидаючи, но в конце концов терпение ее иссякло. Накинув на голову шаль, которая редко покидала ее и зимой и летом, решительно направилась... Она отлично знала, где ей искать сына. Конечно же, он «застрял» в доме Угрюмовых. Авдотья Степановна увидела его сидящим на скамейке возле калитки, да не одного, а с Фенею. То, чего она больше всего опасалась и не хотела, кажется, уже началось. Остановилась в двух шагах от сидящих, дрожа всем телом, срывающимся голосом заговорила:

— Да что же ты, сынок... Сколько годов ждала тебя, все глазыньки проглядела и проплакала. А ты с родной матерью и часа не побыл. Неужто тебе дороже... — Задохнулась от жгучей ненависти и обиды одновременно. От не-

зависти к молодой женщине, обладающей, видно, куда как большей властью над ее сыном; от обиды на Авдея, не вернувшегося к столу, который был накрыт сызнова и за которым Авдотье и ее дочерям хотелось посидеть по-семейному. Не сдержавшись, заплакала, повернулась и пропала в темноте.

— Ступай домой, Авдей, — сказала тихо Феня. — Мать не зря обижается. Любая бы на ее месте... Вон Филипп мой задержится, забегается с мальчишками на какой-нибудь лишний час, а я уж места себе не нахожу, сердцем вся изойду. Ступай, Авдей, и ко мне пореже заглядывай — мать твоя бог знает что может подумать. И вообще... Лучше бы тебе поскорее уехать отсюда в город, — закончила она, и плечи ее зябко передернулись.

— От этого никуда не уедешь, Феня, — сказал он.

— Ты о чем?

— О том самом.

Не воспользовался Фениным советом Авдей, не уехал в город — и не только потому, что чувствовал: говоря так, в действительности-то Феня вовсе не хотела, чтобы он уезжал; не покинет он Завидова главным образом потому, что это просто свыше его сил. С того вечера он стал наведываться в дом Угрюмовых так часто и задерживаться там так долго, что через какую-нибудь неделю по селу сначала пополз робко и неуверенно, а потом уж побежал, набирая силы и стремительность, облачаясь в новые подробности, слушок: «Авдей-то с Фенюхой, слышь, того...» Такое говорила какая-нибудь одна, другая сейчас же подхватывала: «Быстро она забыла и про своего Филиппа Иваныча, и про энтова лейтенантика!» Третья притворно сокрушалась: «И в кого такая беспутная пошла, про мать и отца ее никто слова худого не скажет, а эта!..»

У колодезных журавлей сбивались и подолгу задерживались бабьи станицы. Женщины, как уж водится на селе, то подымали коромысла с полными ведрами на плечи, будто вспоминали, что надо торопиться, что дома их ждут срочные дела; то, удерживаемые другой, более важной причиной, вновь ставили эти ведра на землю. В осуждении Фениного «проступка» больше усердствовали те, у которых мужья или женихи вернулись с войны, — эти просто кипели в ярости, будто не Авдея, ни одной из них в отдельности не принадлежавшего, а их нареченных завлекла Феня Угрюмова в свои любовные сети.

Иную позицию занимали солдатские вдовы и вообще одинокие женщины, которых на селе и без войны было предостаточно. Защищая Феню, они таким образом защищали и себя, потому как со всякой из них мог случиться подобный грех. Роль самого страстного и речистого Фениного адвоката взяла на себя, как и следовало ожидать, Мария Соловьева. Ораторский ее дар словно бы только и ждал такого часа.

— Что вы срамотите бабу, которой вы и в подметки-то не годитесь! — обрушивалась она на Фениных хулительниц, грозно упершись руками в крутые и упругие свои бедра, на коих почему-то нисколько не сказался этот голодный сорок седьмой год. — Вот ты, Антонина! — выхватывала она из толпы горящими глазами Непряхину. — Орешь на все село, как, скажи, оглашенная! Аль она твоего зас...ного Тишку увела?! Да кому он нужен! Я и то, — сама, поди, знаешь, — давно на него начхала. Это в войну он за мужика сходил, а теперя — только плюнуть и растереть! — И Мария сопроводила эти слова выразительным плевком, который столь же выразительно растерла на земле подошвой резиновой галоши. — Так что зря ты, Тонюха, убиваешься!.. Что же, по-вашему, Фенька не человек? Разве она виновата в том, что двух мужиков ее война забрала и позабыла вернуть?! Эх вы, — поворачивалась разъяренным лицом к другим женщинам, — забыли, как в войну-то всех нас она выручала?! Кому дров привезет, кому соломки, кого добрым словом в горе поддержит?! «Феня, милая, помоги! Феня, родненькая, выручи!» — не ваши ли это были речи! И Феня помогала и выручала! А теперя вонзились в нее своими злыми зубищами и терзаете, как собаки голодные. И было бы за что! А то так, за здорово живешь. Он кто вам, энтот Авдей? Муж аль полюбовник? Никто на ваших мужей не зарится. Ухватились за их... прости господи!.. ухватились, говорю, за мужнину ширинку и дрожите, боитесь, как бы кто не отнял!..

В толпе обязательно находилась такая, которая спешила на помощь Соловьевой.

— И не говори, Маша! — подхватывала она сочувственно, указывая глазами на редких счастливиц, дождавшихся наконец своих возлюбленных. — Пригрелись под мужниным бочком и отвернулись от своих же подруг, с какими вместе всю войну горе мыкали, быкам хвосты крутили да возле старых тракторов пупки надрывали! Побывали

бы они на нашем месте, — подушки-то не просыхают под головами, проплаканы наскрозь, всю-то ноченьку глаз не сомкнешь, ворочаешься с боку на бок, все думаешь: где же ты, родимый, почему не возвернулся вместе с другими, где сложил ты свою головушку?.. Вскочишь на ноги ни свет ни заря — корову надо подоить, проводить в стадо, напилить и наколоть дров, чтобы детишкам хоть по одной черной лепешке испечь. Возьмешься за пилу, а она для одной-то руки вдвое длиннее кажется, а топор — тяжельше... — Женщина умолкала на минуту, а потом, решившись, пускала в дело главное свое, сокрушающее оружие: — Вы уж, бабы, помалкивайте! Не все вы были праведницами, когда в сорок третьем годе военные в нашем Завидове стояли...

Разумеется, такая концовка действовала на односельчанок неотразимо-отрезвляюще. Теперь они вспоминали вдруг о совсем было позабытых ими ведрах, поднимали коромысла на плечи и, торопясь, направлялись к своим избам, а победившие их в словесной перепалке Мария Соловьева и ее союзницы — к своим. Завидово на какое-то время погружалось в затишье.

Надо сказать, что бабье судилище Феня переносила, в общем-то, легко (бабы, думала она, на то и бабы, чтобы промывать косточки своим ближним), куда сложнее было с родными. Правда, Леонтий Сидорович, заваленный по самую макушку множеством колхозных дел, пришедших за войну чуть ли не в полное расстройство, будто ничего такого и не слышал про свою дочь; возвращался он домой с первыми петухами, а с третьими уже подымался и уходил в правление, — на разные намеки отмалчивался, будто и не понимал, о чем это толкуют люди. Другое дело мать. Подстегнутая Авдотьей, Аграфена Ивановна сразу же взяла ее сторону, и теперь пожилые эти женщины атаковали Авдея и Феню уже вдвоем, сообща. Очень скоро к ним присоединилась и Матрена Дивеевна Скворцова, прозванная Штопалихой за то, что когда-то была великая мастерица штопать прохудившиеся шерстяные носки (со всего Завидова несли ей таковые для починки и получали их обратно «лучше новых»). Появление на боевой арене Штопалихи немало удивило Феню. Повстречавшись с ней как-то лицом к лицу, Феня спросила, стараясь быть как можно спокойнее:

— Ну тетка Авдотья, ну мама моя, их еще как-то можно понять, а тебе-то, Дивеевна, чего от нас нужно?

— Ничего мне от вас и не нужно. Только мать твою жалко, Аграфену, кума она мне ай нет?! — ответствовала Матрена Дивеевна, пряча от Фени глаза. — И тебе, девка, не грех бы подумать об матери с отцом. — И Штопалиха, обогнув Феню, быстро пошагала своей дорогой.

Матрена Дивеевна, конечно, слукавила, сказав такое Угрюмовой. Была у нее и своя прямая корысть, и притом немалая. Феня, обороняясь, почему-то совсем потеряла из виду Наденку Скворцову, восемнадцатилетнюю и единственную Штопалихину дочь, которую, как и многих ее сверстниц, осиротила война и которая заканчивала теперь в районном центре курсы колхозных бухгалтеров.

Узнав из первого Авдеева письма, что сын ее жив и скоро вернется в Завидово, показывая драгоценную эту бумагу Штопалихе, Авдотья Степановна как бы невзначай обронила:

— Вот, Дивеевна, и жених для твоей Наденки!

— Да что ты, Степановна! — замахала рукой Штопалиха.

— Неужто старый для нее? На каких-нибудь...

— Не о том я, Авдотья! Разве твой Авдей возьмет сироту, бесприданницу мою, да еще и деревенскую? Его, поди, в городе краля ждет не дождется.

— Нету у него, Матрена, никаких краль, не успел заиметь — война помешала. Ежли повести дело по-умному да по-хорошему, глядишь, и столкуемся, породнимся. Конешное дело, мой Авдей не простой колхозник, городским стал, грамотным шибко, да и Наденка твоя будет не чета другим — бухгалтерша, одна на все село!.. Боюсь я только, грешница, Феньку Угрюмову. Пишет и ей он письма — вот навязалась на мою шею, головушка моя горькая!

— Да ведь она вам родня, — вкрадчиво, осторожно напомнила Штопалиха.

— То-то и оно, Дивеевна! Слыхано ли, чтобы на двоюродной племяннице женились! Да за такие-то дела на том свете...

Авдотья Степановна не уточняла, что бывает на том свете за такие дела, но Штопалиха знала про то не хуже своей собеседницы.

Словом, Матрена Дивеевна вместе с Авдотьей Степановной и Аграфеной Ивановной составили некий триумвират по части гонения глубоко затаившейся, с довоенных еще времен и вот теперь вырвавшейся наружу Фе-

винной любви. Они установили за влюбленными что-то вроде негласного надзора, дежурили по ночам в местах, бывших у них на подозрении, а утром где-нибудь за околицей либо на выгоне у пруда, где обычно завидовцы провожают коров в стадо, делились увиденным или услышанным между собою.

— Опять не ночевал дома, — сообщала, горестно вздохнув, Авдотья Степановна. — Господи, вот присушила так присушила!

— Ох, пресвятая богородица! — затягивала Аграфена Ивановна. — И за что нам такое наказание! Всю-то ноченьку напролет, до третьих аж кочетов, пропадала где-то, сукина дочь!

— Известно где, — подхватывалась Штопалиха, — у братца твоего, Степана, в погребице укрывались. Ты бы, кума, постыдила его, чего это Степан не турнет их оттедова! Заодно, знать, с ними. Оно и понятно, Фенька его комбайн на своем тракторе всю войну протаскала, другая бы убегла от него, ведь он, окаянный его возьми, точно ястреб, заклюет любого, а она терпела. Правда, он хоть и ярился на нее, матерился на чем свет стоит, а любил, похоже. Увидал меня ночесь — я за калиткой у него притаилась, пришипилась, — увидал меня, милые, да как гаркнет: «Ты что, — орет, — старая ведьма, тут торчишь, чего ты тут забыла, такая-разэтакая!» — да как схватил вилы!.. Меня, девоньки, точно ураганом подхватило, в один момент дома очутилась! Откель только прыть взялась в старых моих ногах, днем-то с трудом двигаю ими, ревматизм замучил вконец, цельными ночами гудут-гудут...

— Неужели у Степана? — ахала Аграфена Ивановна. —И что с ней, бабы, сотворилось? Пять, почесть, годов держалась. Кто толечко к ней не подмасливался, гнала всех в три шеи. А тут — на тебе! Стыду-то какого!

Ну а что же с Фенею? Наласкавшись вволюшку, хмельная и оттого неоглядно отважная, к утру она, однако, трезвела, хмель сходил с нее, и тогда, встревоженная и задумчивая, говорила необычайно сухо и рассудительно:

— Уезжай, Авдей, завтра же уезжай. Дорого нам обойдется краденая эта любовь!

— У кого же это мы ее воруем?

— Ни у кого. Но все равно уезжай. Не дадут нам покоя!

— Иль ты старух испугалась? Да черт с ними, пускай судачат, чешут свои языки, когда-нибудь да надоест им это и умолкнут, — говорил он, а на душе у самого было тоже неспокойно, муторно. — Если невмоготу тебе, давай уедем в Ленинград, распишемся там.

— А паспорт? Где я его возьму? Ты разве забыл, что мы, колхозники, беспаспортные?

— Выдадут тебе паспорт, когда выйдешь за меня.

— А куда Филиппа дену? На тятину шею повешу?

— И Филиппа заберем в город!

— Нет, Авдей, Филипп тебе не родной сын и никогда им не будет. Ты уж поезжай один.

— Не могу я без тебя, Феня. Разве ты не видишь?

— Вижу, да что поделаешь! Плетью обуха не перешибешь.

— Подумаешь, обух — старухи! Умолкнут, говорю, затихнут. Завтра же пойдем в сельсовет и распишемся. Санька Шпич выдаст свидетельство.

— Нет, Авдей, давай погодим малость. Может, мать твоя и вправду опомнится, затихнет.

Так ничего толком и не решив, они расставались до следующей ночи в надежде на то, что людская молва рано или поздно утихнет, а матери их в конце концов вынуждены будут примириться с положением вещей.

Но в стане ворчуний ничто не предвещало скорого затишья. Авдотья, Аграфена и Матрена вовсе не собирались складывать оружия. Напротив, они преследовали Авдея и Феню теперь уж открыто, шагу шагнуть не давали, неожиданно для влюбленных появлялись в самых, как думалось Авдею и Фене, укромных местах — на глухих лесных полянах, в какой-нибудь заброшенной, заколоченной избушке на окраине Завидова или даже соседней деревни, у тракторной будки на далеком полевом стане, в домике лесника Архипа Архиповича Колымаги, расположенном в пяти верстах от Завидова, на берегу Лебяжьего озера с его недоброй славой... Но и там объявлялись либо Аграфена Ивановна, либо Авдотья Степановна, либо Штопалиха, самая дотошная из них, либо все вместе. Обнаружив скрывавшихся, бабы подыг-

мали такой крик, что слышно их было за целые километры. Довели бедных влюбленных до того, что те готовы были убежать хоть на край света.

5

И они убегали. Но покамест еще не на край света, а в районный поселок и там несколько дней скрывались в тихой и доброй хижине тетеньки Анны, благо что сама Тетенька не осуждала ни Авдея, ни тем более Феню, которую давно знала и к которой особенно привязалась душой за время войны, — на Тетенькину доброту Феня отвечала своей добротой: где открыто, а где и тайно от матери привозила одинокой женщине то ведерко картошки, то немножко ржаной мучицы, то свежего, только что откинутого творога, то кусок стирального мыла, присланного с фронта Леонтием Сидоровичем, того самого мыла, которое было в ту пору на вес золота. За всё за это, а более того за Фенину чуткость и теплоту тетенька Анна, как известно, брала к себе маленького Филиппа иногда на неделю, иной раз на месяц, — в сорок втором мальчишка находился на Тетенькиных руках и харчах всю зиму.

Словом, тетенька Анна не осуждала Авдея и Феню и не могла понять их матерей, употреблявших все силы на то, чтобы положить конец их связи.

— Погодите, я до них доберусь! — говорила Тетенька сердито, имея в виду Аграфену и Авдотью. — С ума, что ли, посходили! И как только им не стыдно! Сами разве не были молодыми! Ну Штопалиха — понятное дело. Энтой надо дочь свою пристроить, женихов-то нынче днем с огнем не сыщешь, а матеря ваши радоваться должны да любоваться на вас. Двоюродная племянница — эка родня! Седьмая вода на киселе. Твой плетень горел, а он, такой-то вот сродственник, заднее место грел. Вы уж простите меня, старую грешницу. В сердцах и не такое с языка сорвется!.. Нет, нет, доберуся я до них, я им языки-то поукорочу, старым дурам!

Между тем время шло, а Тетеньке все было недосуг наведаться в Завидово. Может, так и не собралась бы, если бы не приезд Сергея — теперь решила отправиться в родное село со всеми вместе, то есть с Авдеем, Фе-

нею и Серегой. Перед тем как покинуть дом, не забыла зайти к соседке, у которой переночевали «преступники», сунула ей в руки ржаной сухарик с тем, чтобы та сделала из него тюрю для Шарика и покормила пса пополудни. Прикрыла ставнями окна, пошла было к вышедшим раньше ее и ожидавшим за калиткой гостям, да вспомнила про свою «кормилицу» козу Машку, которую чуть не забыла в хлевушке, всплеснула испуганно руками, быстро вернулась и отвела упирающееся по извечной козьей привычке животное на двор к той же соседке. Напоследок наказала:

— Не забудь подоить ее, Петровна!

— Подою, подою! — послышалось в ответ. — Поезжай и не беспокойся. Не пропадут твои ни Шарик, ни Машка. Ступай с богом!

— Ну, спаси тебя Христос, — удовлетворенно сказала Тетенька и только теперь присоединилась к тем троим.

Они вышли на грейдер, где надеялись перехватить какой-нибудь попутный транспорт. Феня уверяла, что нет такого дня, чтобы кто-нибудь из завидовских да не приехал в район.

— На машину можете не рассчитывать, — предупредила она, адресуясь прежде всего к Сергею. — На весь колхоз осталась одна полуторка, да и та сроду в ремонте. Лошадей тоже раз-два и обчелся. Есть, правда, правленческий жеребец Серый, сын того Серого, — помнишь? — но тятя держит его под семью замками в конюшне, никого к нему не пускает и никому не показывает. В район выезжает, как и все, на быках, боится, как бы Серый не приглянулся Федору Федоровичу Знобину, первому секретарю райкома, — разве такому человеку откажешь!

— Неужели в райкоме ни одной машины не осталось?

— Ни одной. В начале сорок пятого последнюю на фронт отправил Федор Федорович. Теперь на лошадях в села выезжает. Так что, Сереженька, придется тебе вместе с нами на му-два до Завидова прокатиться, — заключила Феня, улыбнувшись.

— Это еще что за машина такая — му-два?

— А вот сейчас увидишь. Вон оно как раз выползает.

Вдалеке на грейдере обозначился возок, влекомый двумя волами. Вглядевшись в него, Феня сказала:

— Наша подвода, завидовская.

— Как это ты определила? — спросил в удивлении Сергей.

— По быкам. Видишь, какой слева от нас — это Веселый, а справа — Рыжий. Всю войну они с нами, бабами, провели, как же бы это нам их не узнавать! Почти всех мы сохранили. И этих вот двух, и Солдата Бесхвостого, и Ваньку, и Гришку, — она помолчала, перевела дух и закончила горестно: — Только Цветка не уберегли, отбился ночью от остальных быков, ушел к Орлову оврагу, там его волки и подстерегли — одни рога да копыта оставили нам на память от Цветка! А какой был вол — не животина, а прямо-таки человек, с полуслова понимал нас и слушался, не в пример Солдату Бесхвостому. Но и Бесхвостый, как и другие, до сих пор выручает колхоз — без них бы пропали совсем. Вот и теперь хлеб вывозим на элеватор все на них же, на быках, с хвостами и бесхвостых...

— Хлеб весь с полей убрали?

Феня с Авдеем переглянулись: давно, мол, оторвался от колхозных дел, иначе бы не задавал такого наивного вопроса.

— Како там весь, — ответила Феня, — до самой зимы хватит нам этой уборки, подсолнухи, похоже, под зиму уйдут. Правда, их и по снегу можно убирать — высокие. А вот ежели с пшеничкой не управимся — беда. Остался у нас один-единственный комбайн, и тот давно бы отдал богу душу, если бы не дядя Степан. Только он как-то еще умудряется поддерживать в дряхлом этом старикашке жизнь...

Феня замолчала, и на этот раз потому, что волы были уже в десяти шагах от ожидающих. Феня и Авдей подивились, что погоняла их не женщина, как обычно, а помахивал кнутиком и покрикивал Тимофей Непряхин. На нижней губе его, как и всегда, держалась искуренная на три четверти самокрутка, а глаза щурились, силясь распознать, что же это за военный был среди его односельчан, которых он узнал еще издали.

— Никак это ты, Серега?! — заорал он что есть моченьки, просияв от столь неожиданной встречи. И не в силах, видать, удержать в груди восторга, разрядился короткой матерщиной, которая с его уст срывалась так часто и так свободно и естественно, что не смущала не только чьего-нибудь мужского, но и женского уха. Однако сейчас Феня строго отчитала его:

— Что же ты материшься, бесстыдник! И какой он тебе Серега? Аль не видишь погон? Может, нализался с утра?

— Нет, Фенюха, это ты зря. Маковой росинки во рту не было. Честно говорю — не осквернял я своих уст вонючей этой гадостью.

— Что-то не верится.

— Иди, дыхну!

— Дыхни на свою Антонину. Зачем в район-то мотался?

— Не видишь — запчасти к тракторам везу. В ногах валялся у этого сквалыги Федченкова. Ему бы не директором МТС — наркомом финансов быть. Ну и скупердяй! Что там Зверев! Дай этому волю, он не то что яблоню, но и крапиву за твоим плетнем налогом бы обложил!

— Зачем же за глаза такое о человеке говорить! — остановила Тишку Феня. — Ты бы прямо ему и выложил все это.

Тишка протяжно свистнул, подмигнув при этом Авдею и Сергею:

— Нашла дурака! Тогда бы не эти вот поршня да коленчатые валы я вез в Завидово, а кругленький шиш с маслом! Я ему такую оду пропел, что любой скряга раскошелится! — Непряхин говорил, а Рыжий и Веселый, воспользовавшись неожиданной передышкой, расслабив члены, пережевывая жвачку, предавались откровенной лени. От доброго расположения духа их вечно грустные воловьи глаза сейчас сладко жмурились.

— Да что же это за ода такая? — допытывалась Феня, взбираясь на фуру и приглашая туда своих спутников. — Подхалимничал, значит?

— За такие слова, Фенюха, мне бы следовало тебя с воза турнуть. Ты, милая, ввалилась ко мне, не спрося разрешения...

— Видал его! Разрешения еще спроси! Аль быки в твою собственность поступили! Погоняй да рассказывай, как тебе удалось эти железки у Федченкова выцарапать. Ведь он и вправду скупой невозможно, — подтвердила она, очевидно, только для Авдея и Сергея. — Расскажи, Тиша, не сердись. Знаешь, поди, как я тебя люблю. Хочешь, обниму?

— Нет уж, голубушка, ты лучше отодвинься от меня подале. Так-то оно будет безопаснее. Мне моя голова

дороже твоей любви, — Тишка покосился на Авдея,— у него вон какие лапищи-то. Подкараулит где за углом, поднесет разок — и нету Тимофея Непряхина.

— Будя уж прибедняться. В войну-то шустрый и храбрый был...

— В войну я и воевал один с вами, бабами. Кого мне было бояться!

— Ладно. Погоняй и рассказывай про Федченкова.

Тишка тронул быков, заменил самокрутку новой цигаркой, пристроил ее на толстой своей нижней губе, затянулся поглубже, не спеша, выпустил кольцо за кольцом дым не через две, а только через одну ноздрю (так мог делать один он на селе) и лишь потом начал, поглядывая украдкой почему-то на Сергея:

— «Андрей, — говорю, — Федорович, душа человек, войди в наше положение. В бригаде три трактора, и все обезножели без запасных частей. Я ведь, — говорю, — знаю, сколько колхозов вы за короткий срок своего директорства выручили из беды, на ноги поставили. Вы ни дня, ни ночи не имеете отдыха, ни себе, ни вашим рабочим не даете спокою, мотаетесь то по району, то в область, до Москвы аж добираетесь, а достаете эти запчасти. Без вас бы мы и посевную, и уборочную — все как есть провалили, оставили бы страну без куска хлеба. И только благодаря вам...» Тут Федченков не утерпел, одернул меня. «Ты — говорит, — товарищ Непряхин, мне зубы не заговаривай, они у меня все здоровые, не пой мне твоих райских песен, не трать попусту красивых слов. Говори лучше, что ты от меня хочешь!..» И что бы вы думали? Унял я себя? — Тишка интригующе примолк, оглядывая попутчиков. Не рассчитывая, конечно, на их ответ, быстро и воодушевленно заговорил снова: — Как бы не так! Ежли уж я что начал, меня не остановишь. А потом я знаю не хуже других: это ведь только на словах начальники уверяют, что не любят, не уважают подхалимов, но не отыскалось еще среди них и одного, которому не нравилось бы слушать хороших речей в свой адрес!

— А ты, Тимофей Егорыч, оказывается, психолог, — сказал Сергей.

— Это что, врач? Куда мне! Приучил меня пастух Тихан Зотыч в войну молодых бычков легчать — это верно, но до ветеринара, до врача то есть, мне далековато. Мозгов не хватает.

— А на подхалимаж, знать, хватило.

— Опять ты за свое, Фенька! Поглядел бы, какие слова ты бы сказывала в мэтээсе, ежели оставалась бы бригадиром. А то свалила все на Тишку. Какое кому дело до того, что я там заливал Федченкову! Важно то, что железки, как ты назвала их неуважительно, лежат в моей фуре, и завтра же, глядишь, две, а то, может, и все три мои машины воскреснут и будут подымать зябь... Ну, хватит об этом, тебя ведь, Федосья, не переговоришь. На то ты Леонтьевна. Вся в батьку угодила, тот любого в бараний рог согнет.

— Это кого же он согнул? — ощетинилась вдруг Феня. — Не тебя ли?

— Я не в том смысле. Ишь взъярилась — из глаз искры аж сыпятся!.. Упрямый твой отец, вот о чем моя речь. Завсегда на своем поставит.

— С такими, Тишенька, как ты да твой приятель Пишка, иначе и нельзя. Вы на шею сядете.

— На шее твоего родителя, Федосья, таких, как я, десяток угнездятся и ничего — не сломают. Она ведь у него как у Солдата Бесхвостова, прямо сказать — бычачья у него шея. И чем вы только с матерью его харчите?

— Он у нас главный работник, как же его не кормить! А шея у него как у всех нормальных людей — обыкновенная. Ты со своей, Тиша, сравниваешь, да разве у тебя шея — хвост бычий, а не шея!

— Это ты правду сказала, — согласился быстро Тишка и обхватил свою шеенку так, что кончики большого и среднего пальцев левой его руки сомкнулись у затылка. — Моя Антонина, знать, на мне экономит еду. Сама, матушка, раздобрела, с похмелья не обойдешь, и с чего ее только так разносит, ума не приложу!

— Это после родов, — пояснила Феня, — у женщин такое бывает. Ты ведь, козел вонючий, и года не даешь ей передохнуть, и куда только плодишь!

— Вижу, Федосья, что ты человек негосударственный, иначе бы так глупо не рассуждала. Правду, знать, говорят люди: у бабы волос длинный, а ум короткий. Ежели б ты умела думать, то вспомнила бы, сколько мужиков мы потеряли на войне. Ты что же, милушка, считаешь, что опосля войны нам солдаты не надобны будут?

— Да вы-то ведь со своей Антониной не солдат, но мужиков на свет производите, а сплошь одних девчат, а в Завидове и без них нами, бабами, хоть пруд пруди. Деремся из-за вас, паршивых, аж клочья от нас летят!

Авдей, Серега и тетенька Анна сидели и не вступали в эту несердитую словесную перестрелку. Только переглядывались между собой и тихо улыбались.

Тишка, сунув кнутовище под мосластый зад, еще раз сменил цигарку, продолжил совершенно серьезно:

— Насчет женской драчки это ты верно говоришь, Фенюха. Одна война окончилась, началась другая — бабья. Бывало, когда ни приду домой, за полночь или даже с третьими кочетами, моя Антонина и слова не скажет. А теперя задержусь где на один час, со свету сживет, такой допрос учинит, что твой районный прокурор, всю душу вымотает! «Сказывай, — кричит, — у какой нынче под бочком лежал?» — «Ты что, — говорю, — сдурела?! В правлении с мужиками дела колхозные обсуживали, обмозговывали, значит, как нам жить дальше, а ты?..» Куда там! «Знаю, — орет, — про твои дела!» — и за ухват... Приходится в чужой бане искать политическое убежище... Так и сражаемся кажный божий день.

— От таких «сраженьев» дети не рождаются, — заметила Феня, смеясь одними глазами.

Тишка по-прежнему был чрезвычайно серьезен.

— Бывает и промеж нас перемирие, — пояснил он.

— Частенько же вы миритесь! Антонина небось опять уж понесла.

— Нету. У нас с ней крутой разговор вышел.

— Из-за чего же? — полюбопытствовал Авдей.

— Ты Федосью свою спроси. Она, поди, слыхала. Да про то все Завидово знает.

— Рассказывай сам, — попросила Феня.

— Родила мне Антонина последнюю дочь на цельный месяц раньше сроку, — повествовал Тишка с редкой для такого случая откровенностью. — Дождался я, когда она оклемалась, отудобила после родов. Спрашиваю: «Как же это, милая, получилось, что ты разрешилась до времени?» Отвечает — и хоть бы что дрогнуло в ее обличье: «Не доносила, недоносок она у нас, Тиша». — «Недоносок, значит? — спрашиваю свою женушку, потом приношу из сеней безмен, взвешиваю дитятю, а в нем — не поверите — без малого пять кило! —

Ну и недоносок! — говорю Антонине. — А сколько же бы он потянул, ежели б ты его доносила?!»

— Да ребенок-то, наверно, подрос, — заметила Феня.

— Ишь нашлась заступница! Когда бы это он успел подрасти, ежели я взвешивал на третий день после родов. Это ведь только у царя Салтана такие богатыри родятся и растут не по дням, а по часам, да и то в сказке. А я на царя вовсе даже непохожий.

Посмеялись, поговорили еще, потом, видать, приустали и до самого села ехали в полном молчании. Только Тишка время от времени покрикивал на волов да причмокивал губами, хотя мог бы этого и не делать: ни это его покрикивание, ни причмокивание, ни даже кнут, коим он частенько жаловал то Рыжего, то Веселого, ни в малой степени не действовали на животных: быки переставляли свои клешнятые ноги не реже и не чаще того, как делали это в начале пути, в его середине и как будут делать у финиша, то есть у самого Завидова, — кто угодно мог при нужде изменить своим привычкам, но только не волы!

При въезде в село из-за палисадника крайней избы метнулся к фуре чернявенький, удивительно похожий на Тишку мальчуган лет пяти. Тишка резко наклонился, ловко подхватил его и усадил на колени.

— Твой? — спросил Сергей.

— Нет... — неуверенно пробормотал Тишка.

Авдей и Феня промолчали.

— Ты чей? — обратился капитан к чернявому.

— Мамкин! — бойко ответил тот и взял из рук «дяди Тимофея» вожжи, закричал грозно: — Цоб-цобе, Веселый! Рыжий, цоб-цобе!

Из-за угла другой избы выскочил еще малец чуть поменьше да посветлее, очевидно, приятель первого. Этого уже подхватил Авдей и посадил к себе на колено.

— А этот чей? — вновь спросил Серега.

— И этот мамкин, — грустно сказала Феня.

— Это наш сталинградец! — гордо выпалил Тишка.

Феня так ворохнула в его сторону своими глазами, что Тишка сейчас же прикусил язык. Потом, оправившись от минутной растерянности, изрек глубокомысленно:

— Все тут, Серега, наши. Чужих нету! Нам их и растить! — Он посмотрел куда-то в сторону, в какой-

то проулок, воскликнул совсем уж весело: — Увидал, увидал, паршивец! Вон как нарезает!

К подводе с ликующим воплем мчался Филипп Филиппович, Фенин сынишка. Ученическая сумка трепыхалась за его спиной, как крыло большой птицы. Счастливые слезинки сами собой выскочили из глаз его матери, вдруг необыкновенно похорошевшей, и шустро покатились по разрумянившимся щекам.

— Ура-а-а! Мамка едет! — кричал Филипп, теперь уже размахивая сумкой перед собой, рискуя заехать ею в ухо дружку, в последнюю минуту выскочившему из какой-то избы и присоединившемуся к чужой радости. Филипп намеревался с ходу вспрыгнуть на фуру, но, увидев в ней Авдея и другого незнакомого ему мужчину в военной форме, застеснялся, остановился как вкопанный и разочарованно приутих.

— Иди скорее, сынок, гостинца тебе Тетенька привезла! — позвала Феня, торопливо развязывая у себя на коленях узелок и указывая глазами на сидевшую рядом и светло улыбающуюся старуху, которая так же, как и Авдей с Сергеем, ни разу не включалась в Тишкину с Феней болтовню, может быть, потому, что прикидывала в уме и взвешивала то, что должна будет сказать своим подругам, Аграфене и Авдотье. Никто из сидевших в возу и не приметил, когда этот узелок оказался в руках Фени, и уж совсем было не понять, какой гостинец могла наскрести в своей избушке давно овдовевшая солдатская мать, — не мог, например, Серега вспомнить сейчас про тот кусочек сахару, который появился на столе хозяйки словно для того только, чтобы сейчас же вновь исчезнуть; а он-то и составлял основу гостинца, скрывавшегося в узелке.

Но и гостинец не превозмог Филипповой застенчивости. Тогда Феня, наскоро попрощавшись со своими спутниками, пригласив Серегу и Тетеньку наведаться к ним «ужо», не включив в число приглашенных лишь Авдея и Тишку, первой спрыгнула с воза и быстро двинулась к сыну. Сунув в его руку узелок, хотела поднять Филиппа, но тот так тряхнул плечом, что мать с недоумением посмотрела ему в глаза и молча пошла дальше; Филипп шагал рядом и не брал руки матери, которая все время подсовывала ему ее. На опечаленный вдруг и удивленный ее взгляд сказал по-мужски грубовато:

— Я, мам, чай, не маленький, чтобы за твой подол держаться или там под ручку...

— Ах да! А я, сыночка, совсем забыла, что ты у меня уже мужик, — сказала она; просторно улыбнувшись, спросила: — У нас все дома?

— Все, окромя Павлика.

— А Павлуша где?

— В поле. Зябь распахивает. На твоем тракторе. Я у него вчерась был за прицепщика, мам! — сообщил под конец главную свою новость Филипп, ту, что собирался поведать в последнюю и самую торжественную минуту, да не вытерпел и выложил сейчас.

Феня испугалась:

— Вы с Павликом с ума сошли! Вот я ему задам!

— А вот и не задашь! Мне дедушка разрешил!

— И дедушка, знать, поглупел с вами. И ему влетит от меня. Уроки-то приготовил?

— А то нет! Я и стихотворение выучил. Хочешь, расскажу?! — И, не дожидаясь согласия матери, начал звонким и вибрирующим, как балалаечная струна, голоском декламировать:

У лесной опушки
Домик небольшой.
В нем давно когда-то
Жил лесник седой...

— Ладно, ладно. Будя уж! Вижу, что знаешь, — молодец! Пойдем скорее. Вон бабушка Груня уже вышла к калитке нас встречать.

Вслед за Феней покинули Тимофея Непряхина и Авдей с Серегой. Эти свернули в проулок, который ближним путем должен был привести их к старенькой избе Авдотьи Степановны. Собралась было с ними и тетенька Анна, но Типка удержал ее, даже обиженно воскликнул:

— Это за кого же ты меня, Тетенька, принимаешь! Аль трудно мне тебя к Авдотьиному двору подкатить?! Моим быкам, как бешеной собаке, семь верст не круг! Не пройдет и минуты, как мы... это самое... домчимся!

Прошло, однако, с полчаса, прежде чем Веселый и Рыжий «домчали» Тишку и единственную теперь его спутницу к Авдотьиному двору. Зная хорошо повадки своего нынешнего погонщика, волы подвернули к плет-

ню, где неосторожно возвышался крохотный стожок заготовленного хозяйкой сенца, и погрузили в него по самые глаза свои морды, со свистом потянув раздувшимися ноздрями острый и душноватый запашок; Тишка же, как того и ожидали волы, увязался за тетенькой Анной в избу. Сергей Ветлугин был не просто племянником Авдотьи, — рано осиротевший, он в предвоенные годы жил у нее и был вроде младшего Авдеева брата, так что, думал — и совершенно справедливо — Тишка, тут не обойдется без угощения.

Авдей и Сергей к тому времени находились уже в доме, а по дороге первый успел сообщить:

— Тот черняевенький мальчишка знаешь чей? Марии Соловьевой. Говорят, от Тишки.

— А-а-а, то-то Непряхин поперхнулся.

Авдей возразил:

— Ну, положим, Тимофея трудно чем-нибудь смутить. А вообще-то, веселого и у него, у Тишки, мало. Ему, как и Соловьевой, предстоят нелегкие объяснения с ее мужем, с Федором, который не сегодня-завтра объявится. Вот, брат, какие тут пироги!

— Да-а-а, круто замесила их война, — сказал тогда Сергей.

— Куда уж круче! — горячо заговорил Авдей, будто только и ожидал момента, когда может выплеснуть наружу давно накипевшее в нем. — И какой это идиот мог сказать, что война все спишет?! Ну, нет! Война — жестокий бухгалтер. Она ни о чем не забывает и никому ничего не списывает и, наверное, долго еще будет хранить строгие свои счета. Так что...

— Это верно, — остановил его Сергей. — Конечно, ты мог бы попытаться обмануть этого «бухгалтера», както запутать или даже уничтожить, сжечь его архивы. Но что поделаешь со своей совестью? Ее ведь не обманешь. Рано или поздно она выдаст тебя и безжалостно отдаст на суд честным людям.

Сергей говорил это, а глаза помимо его воли оглядывали селение, то самое, о каком неотвязно думалось и помнилось и в горчайший час Сталинградского побоища, и у Белгорода, под Верхней Масловкой, в кровавые июльские дни сорок третьего, и на Днепре в утлом суденышке, в той крестьянской долбленке, которая, схваченная цепкими лапами немецких прожекторов, ныряла

в багровых — не то от крови, не то от зарева пылающих по обе стороны хуторов — волнах песенной реки, неся на себе один лишь минометный расчет, вместе с которым переправлялся на правый берег и он, тогда лейтенант Ветлугин. Помнил он о Завидове и в далекой Венгрии, на неведомом ему до той поры Гроне, в общем-то ничтожной речушке, отмеченной далеко не на каждой карте, но унесшей так много солдатских жизней. Завидово было с Сергеем Ветлугиным и там, в Косовой горе, чехословацком селеньице, в котором Сергею Ветлугину и его фронтовым побратимам довелось встретиться с Днем Победы. И удивительное дело: тогда он как бы впервые за четыре почти последних года стал явственно различать звуки, которые до него почему-то не доходили на фронтовых дорогах. Первое, что он услышал, выйдя поутру из своей землянки, это оглашенный и, как ему показалось, ликующий крик петуха, взлетевшего на изгородь у окраинного домика. Замерев, прильнув сердцем к этому звуку, Сергей чуть не заплакал от счастья, от невыразимо острой, пронизавшей его насквозь жажды жизни и нетерпеливого желания поскорее оказаться в родном селе, тихо присесть где-нибудь за калиткой, на скамеечке и, наблюдая, как просыпаются, а потом угасают ночные небесные жители-звезды, прослушать всех завидовских петухов — от первой их, поначалу редкой и нерешительной, разрозненной еще переклички до последней, предзоревой, сочной и отлаженной, хорошо руководимой каким-то опытным и невидимым дирижером побудки. О нехитрая, простейшая кочетиная капелла, кто бы мог подумать, что и ты способна обжечь душу фронтовика, сладко и больно коснуться его сердца, почему-то не окаменевшего от пережитого и увиденного за четыре года самой страшной войны!

Сейчас Сергей шел улицей, по которой мог бы пройти и с закрытыми глазами — так часто он хаживал по ней когда-то! — но он не закрывал своих глаз, они у него были голодны и жадно выхватывали из порядка то одну, то другую избу. Избы эти когда-то казались ему высокими и статными, а сейчас по-старушечьи усохли, пригорюнились, глубоко, по самые окна, погрузились в землю, так что куры без помощи завалинок склевывали замазку на стеклах. Почти у всех домов коньки крыш прохудились, поверху безобразно обнажились ребра стропил

и кривые сучкастые перекладины, обглоданные и облизанные вышними ветрами и временем. Трухлявая, позеленевшая, обомшелая солома кровли сползла вниз, понависла над окнами, сделав дом похожим на дряхлого, подслеповатого, оплешивевшего и насупившегося старичка. Ставни на окошках — до войны их красили каждую весну черной и синей краской — когда-то делали избы молодыми, по-девичьи свежими, черноокими или синеглазыми, всегда радостно приветливыми, теперь либо вовсе сорваны, либо кособоко держались на одной петле, кривя и всю хижину. Стекла за малым все побиты, кое-как склеены дольками газетной бумаги, а то и совсем заменены фанерой.

Сергею хотелось как-то подбодрить эти наполовину порушенные человеческие гнезда, чем-то утешить, сказать: «Потерпите немного и вы, как терпели ваши хозяйки, придет час, и подведут вам новые венцы, подымут поближе к солнцу, сменят крыши, вставят стекла, смастерят наличники и ставни краше прежних, и вы вновь заулыбаетесь свету вольному, а прохожий будет на вас любоваться!» На сердце уже теплело от этих не произнесенных пока слов, но когда они были произнесены — это произошло уже в доме Авдотьи Степановны, — то были грозно и тревожно подавлены другими словами, сказанными будто уже не этой приветливой и ласковой хозяйкой, не знавшей, где посадить и чем угостить столь дорогого и неожиданного гостя.

— Ох, Серега, Серега! — тяжело вздохнула Авдотья Степановна. — Ты уж прости старую, что зову тебя как прежде. Для меня ты, сынок, так и останешься Серегой, а в ваших чинах-званиях я не очень-то разбираюсь... Вот ты про новые дома калякал... Может, Сереженька, другое заговоришь, когда поживешь с нами неделю-другую. Кто же, милый, будет нам подводить те венцы, менять крыши, вставлять стекла да выстругивать наличники и ставни? Много ли мужиков возвернула нам война? Какой-то там десяток, а исправных и того мене. У одного, поглядишь, руки нету, у другого ноги, у кого — правой, у кого — левой... Слезы горючие, а не работники!.. А двое только по одному глазу привезли с собой. Ну, какие же они мужики!

Тишка, закуривая, продолжил:

— Я энтим инвалидам предлагал. «Обобществите, — говорю, — ребята, свои руки, ноги и глаза, как в три-

дцатом годе тягловый скот или, как теперь вот, коров». Ты, Сережа, поди, не знаешь, что сейчас у нас по одной корове на два, а то и на три двора. В войну одной солдатке коровы не продержать, не прокормить, вот бабы и объединились, да так и живут. Это самое я, значит, и предлагаю фронтовикам. «Обобществите, — говорю, — тогда у вас на двоих по две руки, по две ноги и по два глаза получится — как-никак легче будет!»

— И что же, приняли они твое предложение? — полюбопытствовал капитан, грустно улыбнувшись.

— Как бы не так! Даже шутки не приняли — осерчали. А дружок мой, Пишка, так тот сказал: «Прочитал, — говорит, — я, Тиша, в какой-то ученой книге, что в человеческом мозгу двенадцать миллиардов клеток, а одних нервных волокон, ежели их выпрямить, от Земли — нашей, стало быть, планиды — до самой аж Луны хватит. Но ить, — говорит Пишка, — то у нормальных, умных людей. А в твоем, Тиша, мозгу и дюжины не отыщется тех клеток, а волокна, знать, там короче волоса, какие у бабы на известном месте произрастают!» Инвалиды посмеялись — им что?! — и разбрелись по домам, а обидные Пишкины слова занозой торчат у меня вот аж тут! — Тишка драматически коснулся рукой левой части груди. Закончил же так: — Авдотья Степановна правильно говорит: некому покамест поправлять наши домишки да и все протчее хозяйство. Может, ребятишки подрастут, тогда... Да ведь их еще надо понаделать, тех ребятишек! А баба без мужика родить еще не научилась. Они не буренки, чтобы искусственно осеменяться...

— Да перестал бы ты болтать, бесстыдник! — одернула хозяйка Тишку, забывшего о границах, какие все-таки бывают для людских речей. — Ну ж и поганый у тебя язычище, Тимофей, хоть бы кто-нибудь тебе его маненько подрезал. Меня, старухи, постеснялся бы, каково мне слушать такое паскудство!

— Да ведь слова из песни не выкинешь! — возразил Тишка.

— А ты побереги свои песни для себя, — посоветовала Авдотья.

— Поберегу, мать, так уж и быть, не оскоромню твоего нежного уха. Правду сказать, трудненько мне будет удержаться, да что поделаешь: в чужой приход с своим

уставом не ходют даже попы. А ты, может, Степановна, вознаградишь меня за такую выдержку?

— Вознагражу, — и хозяйка кивнула на угол возле печки, где были у нее ухваты, кочерга и еще какие-то штуки из кухонной утвари.

— Понятно, — медленно вымолвил Тишка и покорно вышел из-за стола. Под конец изрек обычное: — Спасибо этому дому, а я пошел к другому! — Уже у порога сказал приличия ради: — Заглядывай ко мне, Сережа. И ты, Авдей.

— Как-нибудь заглянем.

— Ну, тоды до свиданьица. Прощай, мать, и не гневайся. Ты, чай, не барыня, чтобы наших мужицких речей бояться.

— Да ступай ты, ради Христа! — прикрикнула Авдотья, подталкивая Непряхина в сени. — Вот уж истинно говорят: «Не бойся гостя сидячего, а бойся гостя стоячего!» И не прогневайся на угощенье мое. Чем бог послал.

Двумя или тремя минутами позже длинные бычьи рога проплыли мимо окон в угрожающей близости от них.

— Дьявол бы его побрал! Последние стекла выдавит! — встревожилась Авдотья Степановна, а когда увидела, что стекла остались целы, добавила: — Колготной мужичишка этот Тимофей, а в войну цены ему не было, дай-то бог здоровья его грыже, из-за нее и не взяли Тишку на позиции. Выручал он нас, бабенок. По весне украдкой от району вместе с Фенюхой огороды наши трактором распахивал... А плату брал одну: стакан самогону, а коли не было, не обижался — на нет и суда нет! В партию его, вишь, Ермилыч хотел завлечь. А Тишка — нет! «Грехов, — говорит, — у меня по моральной части многонько, куда с такими в партию! Ты, — говорит, — дядя Коля, хоть и старый большевик, но не священник, грехов моих отпустить не могешь. Останусь я, — баит, — беспартейным большевиком!» На том, знать, и порешили.

— Ну а как он, дядя Коля, живой, здоровый? — быстро спросил Сергей, и глаза его заблестели.

Живой. Скрипит пока.

— Вот что значит морская закалка! — сказал Авдей.

— Дядя Коля... Любили мы, завидовские мальчишки, его. Чудной он какой-то, непохожий на других. Вот кого бы мне хотелось поскорее увидеть! — признался

Сергей и даже смутился немного, вспомнив, очевидно, что этим своим признанием мог обидеть тетку.

Но Авдотья Степановна не обиделась — заговорила о Ермилыче с глубоким уважением:

— Увидишь, куда он от тебя денется! Тоже, почесть, всю войну с нами, бабами, провоевал. Как только выдержал — ведь давно сёмой десяток разменял. Глянешь, бывало, на него — в чем душа держится, а все бежит, торопится куда-то, везде поспеет — и на поле, и на огороды, чтобы Апреля и его баб подстегнуть, и на фермы колхозные, и вдове-солдатке слезу иной раз утрет... А по работе не было у него пощады ни себе, ни своей Орине, ни всем протчим. Измотаемся, бывало, моченьки уж нашей нету, просим: «Отпустил бы на час домой, Ермилыч, руки отваливаются!» А он: «Ничего, бабыньки, опосля войны отдохнем, аль на том свете! Видите, просо-то как осотом да молочаем заросло! Оставим солдат без каши. А солдат без каши не солдат. Это говорю вам я, старый матрос Балтийского и Черноморского флоту!.. Да ить и немного осталось прополки! К закату как раз управимся. Глаза страшат, а руки делают! Вы, бабыньки, не вперед смотрите, а вниз, на сорняк, — тогда поскорее дойдете до конца вашей делянки. Я маненько постарше вас, да не хнычу! Так что вперед, бабы, и смерть тому супостату Гитлеру!» Скажет, милые, такое, мы и заулыбаемся, откель только силы возьмутся — так и дергаем тот молочай, покамест весь не прикончим! И он с нами... иной-то раз дотемна протолошится... Да и теперь ему бы на покой — никто бы не упрекнул. Человек сделал на земле свое дело, да и колхоз давно Левонтий у него принял. При всем народе обнял в клубе, сказал: «Отдыхай, Ермилыч, спасибо тебе!» Не стерпел, сердешный, Ермилыч-то, всплакнул, ну а мы, бабы, и того пуще — зашмыгали носами все разом! А он спрятал от нас свое лицо да и кричит: «Перестаньте! Что ревете как над упокойником! Аль на радостях, что избавились наконец от старого ворчуна! Не торопитесь, бабы, дядя Коля еще не все позиции сдал!» И правда, не сдал! Торчит в правлении до́си. Ране председателя туда приходит, по старой привычке женщинам наряды дает... — Авдотья Степановна всплеснула руками, спохватилась: — Что же это я заболталась, дура старая! Обкормила, поди, гостей бабьими своими речами. Ты уж не прогневайся, Анна! — вспомнила наконец и про Тетеньку, не

проронившую ни единого слова в течение всего этого времени и только внимательно слушавшую и наблюдавшую, что говорилось и что делалось в доме давнишней подруги. Тетенька и сейчас промолчала, лишь поощрительно взмахнула рукой: что, мол, ты, Авдотья, продолжай, разве мне не любопытно узнать, что творится в родном Завидове!

А Сергей поспешил успокоить хозяйку откровенным признанием:

— Что вы, тетка Авдотья! Мне, например, это даже очень интересно. Рассказывай.

— Нет уж, на сегодня будя с вас. Накалякаемся еще, успеем. А ты, Серега, и вправду сходи к Ермилычу, проведай старика, рад будет до смерти, его ведь хлебом не корми — дай только с фронтовиком, служивым человеком, вдосталь поговорить.

Авдотья Степановна рассказывала и будто не видела, что ее сын уже несколько раз подмигнул Ветлугину, чтобы тот поскорее закруглялся в беседе с его словоохотливой матерью: сыну не терпелось поскорее отправиться в другой дом, запретный только для него одного, но вполне доступный и ему, ежели они пойдут туда вдвоем. Но когда Авдей подмигнул еще раз, мать сурово нахмурилась:

— Да что ты все подмаргиваешь, Авдей! Аль я не вижу, что тебе не сидится с матерью, ерзаешь на лавке, словно на ежовину тебя усадили. Не бойся, никуда от тебя не убегет энта... — глянув на гостей, оборвала свою речь, воздержалась от какого-то грубого слова, приготовившегося сорваться с ее уст, позаботилась о его замене более пристойным: — Не ускачет энта... вертихвостка.

— Это ты о чем, мать?

— Все о том же.

— Постыдилась бы гостей-то.

— А чего мне их стыдиться? Они свои. Я им еще не то — все как есть расскажу. И тогда не мне, старухе, а тебе, сынок, стыдно будет... Ох, Аннушка, знала бы ты, какое несчастье на мою голову свалилось... — блеклые, сморщенные губы ее задрожали, лицо изломалось гримасой боли, задрожали и первые слезы на глазах, но Авдотья Степановна быстро взяла себя в руки, вытерла углом платка глаза, высморкалась в тот же платок, закончила, через силу улыбаясь. — Чего же это я мелю,

старая кочерга! Все у нас хорошо, Аня, и нечего мне бога гневить.

— Тот-то и оно. Давно бы так-то! — заговорила наконец и тетенька Анна. — Сын вернулся, чего же еще! Не каждая мать могет теперь похвастаться таким счастьем... — замолчала, сдавленная подкатившимся к горлу сухим горячим комком. Вздохнула, строго глянула на Авдея с Серегой: — Ступайте, ребятишки, погуляйте, покажитесь людям, пускай на вас полюбуются. А мы уж с Авдотьей одне посумерничаем. К Аграфене Ивановне не забудьте зайтить. Она, чай, все глаза проглядела, тебя, Сережа, ожидаючи. Можа, про сына ее, Гришу, новое что расскажешь. Ступайте, а ты, Авдотья, самоварчик бы спроворила, что ли? Не могу, грешница, без чаю.

Когда вышли на улицу, Сергей попросил:

— Ты вот что, Авдей. Ты иди прямо к Угрюмовым, а я сперва загляну в правление. Придем оттуда вместе с Леонтием Сидоровичем. Без него боюсь на глаза Аграфене Ивановне показаться. Странно, но я чувствую себя сейчас так, будто провинился перед ней в чем-то.

— Ну это ты зря.

— Может быть, и зря, но чувствую, что...

Сергей не довел своей мысли до конца — замолчал. Хотелось же ему сказать о том, что, готовясь к поездке в Завидово, он ни разу не подумал, да, пожалуй, и не мог подумать о тех мучительных «неловкостях», с которыми должен был неизбежно повстречаться, едва переступив черту, за которой начиналось родное село — свидание с ним связывалось в его представлении с чем-то обязательно радостным, светлым и праздничным как для него самого, так и для тех, кого он там увидит. И более всего это радостное и праздничное увязывалось в его сознании как раз с этими-то двумя домами — домом тетки Авдотьи, заменившей ему на время родную мать, и домом Леонтия Сидоровича Угрюмова, где в компании лучшего своего друга Гриши Сергей провел большую часть босоногой своей поры. Думалось, приедет, вбежит сначала в одну избу, и там все озарится, заулыбается от его появления, потом то же самое произойдет в другой избе, куда он тоже ворвется неожиданно и стремительно, как врывается в отворенную дверь упругий ветерок перед долгожданным, все освежающим и оживляющим дождиком.

В действительности все совершается совсем иначе. В первый дом он не вбежал, а тяжело поднялся по ступенькам, неся немалую часть груза от чужой вроде бы драмы, которая, однако, не могла не коснуться его сердца уже по одному тому, что была хоть и малым, но все-таки эпизодом величайшей человеческой трагедии, действующим лицом которой был и он, гвардии капитан Ветлугин. Во второй дом он не только не ворвался освежающим ветром, как хотел когда-то, а вообще не торопился, поскольку должен еще решить, не прибавит ли этому дому страданий своим появлением, не сорвет ли нечаянно тонкой, как молодой ледок на их речке, непрочной корки с едва зарубцевавшихся или только начавших зарубцовываться душевных ран у его обитателей, и прежде всего у Аграфены Ивановны, о встрече с которой он теперь думал с больно заныишим, затосковавшим сердцем. Когда еще сидели в доме тетеньки Анны, там, в районном поселке, когда выходили вчетвером на грейдер, и когда ехали на волах в Завидово, когда Сергей легонько впускал в одно ухо и еще легче выпускал в другое Тишкину болтовню, он все время помнил о словах Фени, о ее просьбе не рассказывать матери о гибели Гриши, о том, что Сергей своими глазами видел, как это произошло, — помнил и думал об этом, но еще больше о том, что не в силах будет солгать, если только войдет в дом Угрюмовых и встретится с глазу на глаз с Аграфеной Ивановной. Но и не пойти вовсе, уехать, не побывав в угрюмовской семье, он не мог, ибо это сказало бы сердцу Гришиной матери больше всяких слов.

— Ну так я скоро приду, — пообещал он Авдею, когда кончился проулок, по которому они шли, и когда надо было сворачивать на угрюмовское подворье. — Сейчас прихвачу только Леонтия Сидоровича.

Авдей ничего не сказал на это, только посмотрел вслед быстро удаляющемуся капитану. Покачал, отвечая какой-то своей нелегкой мысли, головой, медленно побрел к крыльцу один.

6

Правление колхоза находилось в том же доме, что и до войны. Но дом, некогда конфискованный у завидов-

ского священника, сейчас, как и все дома в селе, был уже не тем, не дразнил своих бедных и — по бедности — скромных соломенноголовых соседок своей ярко-зеленой крышей с петухом на самой ее вершине, вырезанным из белого оцинкованного железа каким-то завидовским искусником, — именно петух придавал дому особенно заносчивый вид; не кичился теперь и высокой, сложенной из небольших, аккуратных, хорошо прокаленных кирпичиков трубой, которую венчала ажурная, похожая на царскую корона; не вызывал испуганно-завидчивых взглядов у прохожих и своим крыльцом, на какое вбежишь не прежде, чем пересчитаешь ногами дюжину широких дубовых ступеней, не издававших ни малейшего скрипа под любой тяжестью, — впрочем, до тридцатого года, то есть в то время, когда дом не был реквизирован и принадлежал одному своему хозяину, не всякий селянин отваживался не только чтобы подняться на это крыльцо, но и подойти к нему близко, да что там селянин — сам батюшка и его домочадцы появлялись на нем лишь по большим праздникам, да и то в летнюю только пору, когда крыльцо сплошь обвивалось длинными и цепкими руками дикого винограда и превращалось в подобие веранды, где можно тихо и покойно в кругу семьи или близких ей людей почаевничать и отвести душу в неторопливой тихой беседушке. В остальное время пользовались другим крыльцом, которое пониже и пускало людей в дом со двора.

Теперь ни того, ни другого крыльца не было. Главное порушили еще до войны, а то, что было со двора, само ушло под землю вместе с нижними бревнами дома; колхозникам не надо было подниматься по ступенькам, достаточно пнуть входную дверь ногой, и она впустит в чадную, прокуренную прихожую, где в ожидании наряда собирались мужики и с наслаждением затягивались крепчайшим самосадом, сдабривая его посоленными не менее крепко деревенскими побасенками. Это зимой. Летом же дверь не закрывалась вовсе, а чтобы она не хлопала попусту, раскачиваемая залетными ветрами, ее снимали с петель и прислонивали где-нибудь к глухой стенке, там и покоилась она до студеной поры.

И серебряный петух куда-то улетел с крыши, и труба не выглядела уже столь монарше; ажурная ее корона приглянулась одному механику из МТС, и дядя Коля, сговорившись с Феней Угрюмовой, махнул рукой и об-

менял эту красоту на обыкновенный, далеко не новый, но все-таки исправный радиатор для давно остановившегося трактора из женской бригады — на исходе войны она оказалась единственной в колхозе, поскольку заключительные боевые операции на фронте подчистую подмели последних механизаторов, бронированных и тех, что имели отсрочку по разным причинам. Через какую-нибудь неделю после выгодной дяди Колиной сделки с эмтээсовским механиком в военкомате уже приготовлялась повестка и для Тимофея Непряхина с его грыжей, да опоздала прилететь в Завидово: война окончилась раньше, чем военком успел ее, эту Тишкину повестку, подписать. В Фениной бригаде ужасно обрадовались и победе в войне, и тому, что Непряхин, один на всю тракторную бригаду мужик, оставался до лучших времен с ними, бабами да девчатами. Горевал, кажется, только один Тишка. Во всяком случае, жаловался он пахарям в юбках совершенно серьезно:

— Не везет мне, бабы! Не успел на войну. Тогда бы не те двое, Егоров и Кантария, — не они, а я водрузил бы победное знамя над Берлином, это уж точно, как пить дать. Я бы на тот рейхстаг быстрее обезьянки вскарабкался, никто бы раньше меня не смог. И геройская Золотая Звезда не у Егорова и Кантария, а на моей груди бы блестела! — И, сказав это, Тишка выпячивал свою грудь, не увенчанную высокой наградой по досадной оплошности райвоенкоматовских писарей, не догадавшихся оформить повестку месяцем раньше.

Женщины подыгрывали:

— Первым, стало быть, вскочил бы на рейхстаг?

— Непременно! — решительно подтверждал Тишка.

— Это со своей-то килой? — сомневалась Мария Соловьева.

— Про болячки в таком разе забываешь, — резонно заметил Тишка и, мстя Соловьевой за обидный вопрос, напомнил: — Да ведь и ты, Мария, что-то не жаловалась на мою грызь, когда мы с тобой, бывалоча...

— Ничего промеж нас такого не было, понял?! — и Соловьева так ошпарила Тишку осатаневшими вдруг глазищами, что тот сейчас же согласился:

— Не было, не было, Марея! Это я пошутил.

— То-то же. Ты больше, Непряхин, не шути. Время для наших с тобой шуток, кажется, кончилось. Понятно?

— Понятно, — поспешно уверил Тишка, остолбенело глядя на Соловьеву, узнавая и не узнавая ее.

Фене почему-то стало жаль Тишку, и она сказала:

— А ты бы, Тимофей, телеграмму товарищу Сталину послал. Так, мол, и так, Иосиф Виссарионович, погоди маненько с окончанием войны-то. Дай и мне, Тимофею Непряхину, повоевать. Как же, мол, без меня...

— Ну и посоветовала! — прогневался Тишка. — Хоть ты, Фенюха, и бригадир у нас, а ум-то у тебя бабий!

На том разговор тогда и кончился, — вопрос о не совершенных Тишкою подвигах в Великой Отечественной войне больше в тракторной бригаде не подымался. Что же касается ажурной короны, то никто вроде бы и не заметил ее исчезновения. Буркнула, правда, что-то Катерина Ступкина, да и то, знать, по привычке. Но и эта первая на селе ворчунья быстро приутихла — может быть, потому, что своими глазами видела: корона была впрок трубе, «личила» ей, когда труба украшала новую железную крышу, теперь же, для полужелезной и полусоломенной, ажурная нашлепка подходила бы ничуть не более, чем Солдату Бесхвостову кавалерийское седло, — только подчеркивала бы неряшливость и бесприютность утратившей былую стать кровли. Местами листы железа сорвались с гвоздей, проржавели, завернулись в рыжие дырявые жгуты и непрерывно грохали, скрежетали или, зажавши замешкавшуюся где-то там струйку ветра, тонко, сиротливо повизгивали, жалуясь на свое бесприютство.

В прихожей правления сидел, укрыв зачем-то в пригоршне дымящуюся сквозь пальцы цигарку, один лишь старик. Сергей поздоровался с ним и хотел пройти мимо к председательской двери, но пожилой колхозник проворно поднялся со скамейки и, выпрямившись, одернув на себе старенькую, явно с чужих плеч, великоватую ему гимнастерку, с которой не были убраны знаки старшего сержанта, преградил путь. Разглядев, однако, на плечах пришедшего офицерские погоны, смутился, сейчас же попытался отыскать оправдание своей промашке:

— Вы уж извините, товарищ командир, старика. Я ить думал... — он запнулся, оглядывая Сергея с ног до головы, — думал, без дела кто... А там правление заседает. Важные дела решают. Первый секретарь райкому попусту не приехал бы. Видал, поди, во дворе жеребца? Так это на нем Федор Федорович прикатил к

нам еще до свету. Цельный день шастал с Левонтием по Завидову — все как есть обнюхал, ну а теперя вон заседают. Чего уж они там высиживают, видит бог, не ведаю, не знаю. А вы, товарищ командир, входите. За вас, чай, мне по шапке не надают.

— Вы что же, Максим Савельич, сторожем при правлении?

— Не то что бы... А ты откель, сынок, меня знаешь? — Старик с еще большим любопытством стал обшупывать глазами Сергея. — Парень ты, кажись, не наш, не завидовский, а меня по имени и по отечеству назвал, а? Как же это?

— Эх, дядя Максим, дядя Максим! Вспомни, кто в тридцать пятом с тобою вместе прицепщиком работал, кого ты тремя годами раньше в своем саду крапивой по голому заду отстегал, кто с твоими сыновьями-близнецами, Ванькой да Петькой, дружил, в легкой кавалерии по охране урожая был, кто по нечаянности чуть было твою хату не подпалил — сам ты виноват, сызмала пристрастил нас к куреву, — неужели и это не помнишь? А кто в твоей бане прятался, когда Колымага по всему селу рыскал, отыскивая порубщика? А кто...

— Погоди! — замигал глазами Максим, озаряясь запоздалой догадкою. — Ну, чего ты зачастил, стрекочешь, как Штопалиха, а еще капитан! Кто, кто? Дай подумать — припомню, кто ты есть и чей будешь. Ведь вас, паршивцев, тьма-тьмущая была на селе до войны-то, разве всех упомнишь... Постой, да ты не Серега ли, Николай Лексеича Ветлугина, царство ему небесное, сынок? Сдается мне...

— Наконец-то! — радостно перебил его Сергей и, взяв старика за худые, угловато выпиравшие из-под гимнастерки плечи, отвел к скамейке, на которой присел и сам.

— Как же, как же, помню! — продолжал Паклёников с нарастающим воодушевлением. — Мы ить с твоим отцом, покойником, были дружки-приятели. Не только тебя, но и нас крапивой угощали в чужих садах — куда от нее денешься! Больше, правду сказать, мне влетало по дурости моей. Твой-то батюшка известный был плут — меня посылал к яблоням, а сам у плетня, в безопасном местечке, притулялся. Я, говорит, буду на карауле, как, мол, завижу хозяина, свистну, дам тебе знак, а ты, Максим, и удирай. А где мне слушать тех сигна-

лов, коль я заберусь на самую вершину и жадничаю там, наполняю пазуху... Может, твой отец и свистнет когда, да только я-то не услышу. А хозяин сада тут как тут. Ну и отдерет, обработает мой зад энтой крапивой по всем правилам. А Колькин и след простыл — шустер был покойник, быстрее его, мотри, никто в Завидове и не бегал. И надсмешник был первый. Увидит на другой день меня, спрашивает: «Может, Максим, еще разок наведаемся в Горохов сад?» Говорит так, а самого, чертенка, всего трясет от смеха. И за что только я к нему привязался? Дня, бывало, не мог провесть без Кольки!

— Он что, действительно был такой хитрый, мой батя? — спросил Сергей, который насмешливый характер отца и на себе не раз испытывал, слышал о нем от многих завидовских мужиков, но про отцову хитрость — впервые.

— По этой части, сынок, равных твоему родителю в нашем Завидове не было. А вот смертушку и он не мог обхитрить — подстерегла и его и Лизавету, матушку твою, подкосила в самом расцвете сил! Да только ли их! Тридцать третий годик прокатился по-над Волгой-матушкой лютее иной войны, сколько народу смахнул с землицы — не счесть! И отца твоего за компанию с другими... А какой был мужик! Мы ить с ним всего-то навсего два класса церковноприходской одолели, из третьего, последнего, нас вытурили за всякие геройства. Колька священнику, отцу Василию, — на божьем законе дело было — гнилую помидорину в галошу подсунул, ну а я не захотел отставать, отмочил штуку еще похлестче — оправился на крыльце вот этого батюшкиного дома. Нас, конечное дело, поперли из школы с кандибобером!.. Твой отец и с энтими двумя классами в люди вышел, шутка сказать — в сельсовете секретарствовал, подчерк у него был наилучший, в район приглашали, чтобы он там переписывал начисто какие-то важные бумаги. А я... что ж я?! Как был, так и остался осел ослом, али, сказать точнее, жуком навозным. Всю жизнь в назьме проковырялся...

— А я слышал, что ты в войну почтальоном был.

— Да я, Сережа, и ныне почтальон, будь оно неладно! Сторожем-то я тут по совместительству.

— Управляешься?

— А куда ж деваться! — продолжал Максим фразою, с которой обычно начинал и которой оканчивал лю-

бую свою речь. — Теперя у нас все что-нибудь да совмещают. Не люди, а какие-то совместители, право слово! Тишка вон Непряхин бригадир и тракторист, а Присыпкин Виктор Лазаревич, или Точка по-нашему, он у нас приезжий, странний, ты его не могешь знать, — так он и секретарь в Совете, и партейный секретарь в колхозе, неосвобожденным прозывается. Раз неосвобожденный, то зарплата тебе за такую должность не полагается. Да только от обязанностей никто человека в таком разе не освобождает. Как чуть что, мы к нему, к Точке... Голова у этого парня, скажу тебе, Сережа, хорошо устроена и крепенько держится на плечах. Неспроста, видать, Федор Федорович Знобин, да и другие из районy, когда приезжают к нам, присматриваются к Точке. Прикидывают что-то там в уме, не иначе заберут к себе. А жалко будет — хорошая бы смена для нашего Левонтия была!.. Может, как раз об этом и подумывает Знобин — у него глаз наметан на стоющих людей... Ну, Точка — это все ж таки мужик, на фронте сержантом был. А возьми Настасью Вольнову! Она, правда, теперь не Вольнова, а Шпичиха, заарканил-таки девку Санька, сосватал чуть ли не в первый день своего возвращения с войны. Заарканил, да не совсем — в доме удержать не сумел. Настя у него и трактористка, и секретарь комсомольской ячейки, или как там ее теперь называют, такую должность? А давно ли я ей сопли утирал — поймаю, бывало, на улице, зажму двумя пальцами носишко и уберу у нее их... энти самые. Да-а-а, вот, Сережа, какие они дела! О чем, бишь, это я? Увело старого пустомелю далеко в сторону... Ах да, вспомнил — это мы с тобой о совместителях толкуем. Я, Сережа, не только почтальон теперь и правленческий сторож, но и добровольный финагент!

Последнее слово выстрелилось у Максима Наклёнкова как-то уж очень значительно и, должно быть, излишне громко, потому что председателева дверь приоткрылась и грозно осведомилась: «А потише нельзя?»

Приняв это замечание к сведению, Максим увернул голос почти до шепота, но повествования своего не прервал — продолжал неторопливо:

— Легко сказать — финансовый агент. А тут, сынок, особенная сноровка нужна и подход к людям...

— Налоги, что ли, собираешь, дядя Максим?

— И налоги, и подписку на заем.

— Ну, это дело хлопотливое.

— Не только хлопотливое, Сережа, но и щекотливое. А куда денешься! Уговорил Виктор Лазаревич. Берись, говорит, за это дело — и точка. Ты вот, сынок, на гимнастерку мою косишься, откуда, мол, она у старика? А ведь это его, Виктора, подарок. Сам принес прямо на дом ко мне. Одевай, говорит, товарищ фининспектор, казенная эта справа тебе сейчас надобна для большего авторитету. В солдатской форме, говорит, тебе будет сподручнее вести сраженье с бабами да стариками, какие не хотят платить налогов. И, говорит, погонов не сымай, Савельич, — с ними ты солидней выглядишь, не финагент, а прямо-таки маршал! Действуй!.. Ну и действую, от зари до зари хожу по дворам и все воюю, уговариваю, увещеваю, стыжу, умоляю — видишь, охрип, как старый барбос, от таких уговариваний. В войну, скажу тебе, Сережа, легче было. Зайдешь, к примеру, к Катерине Ступкиной аль там к Штопалихе, на что уж скандальные бабы, а и тем молвишь, бывало: война, бабы, Красной Армии надо помочь. Вздохнут, всплакнут когда — не без того, — но достают узелок из своих сундуков, выгребают последние деньжонки. Куда ж деваться — война! А теперь не то. Теперь из них так просто не выцарапаешь те рублишки. Моих правов не хватает, и командирские погоны на ту клятую Штопалиху не действуют, она сама себе командир, как откроет пасть и такими словами зачнет тебя поливать, что не приведи господи! Откель только они у нее и берутся! Шпарит как из пулемета, и конца этой словесной ее ленты не видать. А через плетень ее шабренка, Катерина, открывает пальбу. И стоит Максим Паклёников под перекрестным огнем, как, скажи, на боевых позициях. Вспомянешь ненароком наркома нашего, товарища Зверева: «Вот бы тебя сюда, попарился бы часок в такой баньке, небось прибавил бы к зарплате сотрудников райфо какую ни то десятку...» Отбрехиваюсь я от Штопалихи да Катерины, как могу, обороняюсь вместо того, чтобы идти на них, горластых, штурмом. Слов моих не хватает — приходится частенько брать взаймы у Точки, то есть звать на помощь Виктора Лазаревича. Иначе их не сокрушишь. «Война, — говорят, — окончилась, дай ты нам, Максим, немного вздохнуть! Все кишки ты из нас вымотал». А я что? Для себя нешто собираю тот налог да займы? Надо же, втолковываем им уж вместе с Точ-

кой, надо же, товарищи женщины, возрождать, подымать порушенное, кто ж, окромя нас, поможет Советской власти! Покричат еще, поворчат, обматерят и его и меня иногда по-мужски — за войну хорошо научились этому ремеслу! — а все-таки платят. В последние дни сделались не шибко прижимистыми...

— Ну, вот видишь, дядя Максим, значит, люди немного стали справнее.

— О нет, сынок, рано ты о справности нашей заговорил. Тут другое. Про денежную реформу слушок прошел. Сказывают, за десятку только один рубль будут давать. Вот и торопятся умные люди вложить свои сбережения в облигации. Только, по-моему, ничего у них не выйдет: они хитры, да и Зверев не дурак — облигации-то разве нельзя обменять одновременно с деньгами? Завидовцы, какие пособразительнее, те стараются поскорее погасить задолженность по налогам...

— Ничего, Максим Савельич, пройдет годок-другой, люди станут побогаче, и финансовым агентам будет все-таки легче, — пытался как-то подбодрить добровольного инспектора Ветлугин.

— Э, сынок! Год от году нашему брату, финагенту, да и руководителям будет все труднее. На войну и на разруху уж не сошлешься, а люди захотят немного и для себя пожить. Понял?

— Понял, Савельич, тут кто не поймет. Рассказал бы, как сам-то живешь.

— Живу. Куда денешься, ежли бог смерти не дает.

— Ну, зачем так! Сразу о смерти? Я на нее, дядя Максим, вот как нагляделся!

— Это верно. На войне она, проклятая, ни на шаг от солдатика. Но ты, вижу, сынок, все ж таки обманул ее, перехитрил, обвел вокруг пальца косую, а мои Ванька и Петька...

Максим замолчал, вмиг потемнел лицом, словно бы окунулся в сажу. Затих и Сергей. Улыбка, которая поселилась на его лице, как только он увидел Паклёникова, и стойко удерживалась в продолжение всего их разговора, теперь сконфуженно убралась, спряталась куда-то. Вызвана же она была, улыбка, разными воспоминаниями, связанными с этим удивительным мужиком.

У Максима Паклёникова было много странностей, давно ставших достоянием всего Завидова, при случае любившего, впрочем, как и все российские селения, поте-

шиться над чудачествами того или иного своего жителя. Завидовцы удивлялись, например, тому, что своих сыновей, Ваньку и Петьку, вместо того чтобы пороть за раннее приобщение к табаку, как это делали все разумные отцы на всем белом свете, — своих детей Максим сам приучал к курению с двухлетнего возраста, то есть еще тогда, когда на их губах не просыхало материнское молоко — и не в переносном, а в буквальном смысле. На совершенно, казалось бы, логичные и справедливые замечания соседей, попрекавших Максима тем, что тот губит здоровье младенцев, Паклёников отвечал загадочно:

— Я не гублю, а закаляю их.

— Куреньем? Табачищем? Самосадом своим вонючим?!

— Именно.

— А чахоточными ты их не сделаешь?

— Ни в жисть!

— А ты, Максим, того... не спятил, случаем? Не рехнулся?

— Нисколько! — заявлял Максим еще решительнее. — Пока еще при своем разуме.

— Немного, знать, осталось у тебя этого разуму.

— С меня хватит.

— Что-то мы не понимаем...

— Глупые, потому и не понимаете, — спокойно говорил Паклёников и, значительно поиграв глазами, в свою очередь, спрашивал: — Как вы думаете, доведется Ваньке и Петьке сидеть в остроге? Знамо дело, доведется, куда от него денешься! — продолжал, не дожидаясь ответа. — Угодят в общую камеру, а там все курящие, надымят столько, что некурящему человеку — конец, задохнется в момент. Покашляет, поматерится да и затихнет, поскольку в тюрьме ни до кого делов нету. Теперь вы поняли?

— Понять-то поняли, — отвечал обычно от лица «общества» Апрель, — только не можем в толк взять, зачем ты, Максим, такую несладкую долю своим мальчишкам прочишь? К чему бы это им непременно попадать в каталажку? Не все ж туда...

— Ну и что с того! — перебивал Максим и в помощь себе привлекал известную пословицу насчет сумы и тюрьмы, от которых никто не должен зарекаться.

Апрель пытался возражать:

— Поговорка-то твоя, Максим, сложена еще при старом режиме, вон когда!

— Знаю, что при старом. Но и при новом что-то не торопятся убирать решетки с иных домов.

— Дай срок — сымут.

— Не скоро это будет, Артем.

— А тебе-то что они? Человек вроде ты честный, а решетки для преступников существуют.

— За них и по ошибке, по чьему-либо недогляду аль по собственной дурости можно угодить. Опять же какую-никакую напраслину на тебя по злобе могут возвесть, доказывай потом, что ты...

Какие бы доводы ни приводил Апрель или даже дядя Коля, умеющий лучше других подойти к человеку, убедивший не одного завидовского упрямца, гнувшего не ту линию, — Максим стоял на своем, и, наверное, потому, что сам побывал под казенной крышей серьезного заведения и собственными глазами видел страдания людей, в свое время не пристрастившихся к куреву.

Первый раз Максим попал в тюрьму в конце шестнадцатого года, когда, не согласовав своего решения с ротным начальством, темной ноченькой добровольно покинул окопы и по пути домой, уже на узловой станции Ртищево, был схвачен отрядом военной полиции, которая охотилась по всей России за такими вот «верными» слугами царя и отечества. Во второй раз оказался за решеткой уже гораздо позднее, в голодном тридцать третьем, когда пытался принести домой с полей немного ржи; и спрятал ее как будто искусно, в бабьем шерстяном чулке, подвешенном между ног; номер, однако, не прошел, разоблачили Максима: подвела, видно, походка, которая в таких случаях не бывает нормальной, шагал враскорячку, а участковый словно из-под земли...

В первом разе Максима вызволила из заключения февральская революция, правда, для того лишь, чтобы вновь, уже только с новыми лозунгами, бросить в те же окопы, где наш солдатик и досидел до революции другой, Октябрьской, — тогда-то ненадолго вернулся домой, а потом отправился сражаться с белоказаками, кавалерийские лавы которых, вступив в пределы Саратовщины, катились уже от Елани через степи прямо на Завидово.

Наскоро сформированным из местных добровольцев и брошенным навстречу казачьим сотням красным полком командовал тогда Федор Знобин, нынешний секретарь райкома. Он-то и вытащил в начале тридцать четвертого года бывшего своего бойца Максима Паклёникова из саратовской тюрьмы, охарактеризовав его весьма скромные боевые дела в гражданскую как исключительно геройские; не забыл Федор Федорович сообщить в той бумаге и о том, что сразу же после гражданской войны, в 1921 году, Паклёников отличился и при разгроме банды Попова, одного из самых свирепых антоновских сподвижников, — Попов ворвался в рабочий поселок ночью, переловил поодиночке чуть ли не всех его коммунистов, в том числе и первых районных руководителей, и той же ночью расстрелял всех захваченных во дворе райкома. Лежать бы в братской могиле и Федору Знобину, но, по счастью, он оказался проворнее других, убежал из своего дома буквально за минуту до того, как туда ворвались бандиты, и с тремя коммунистами поднялся на гору, которая возвышалась над поселком и по чистой случайности называлась Поповой, придушил там пьяного вражеского пулеметчика, который, ничего не видя и не слыша до роковой для себя минуты, поливал крыши домов и окна взбулгаченного поселка слепыми, пьяными же очередями; оттолкнув с величайшим омерзением труп бандита в сторону, Федор сам лег за пулемет и дал антоновцам первый бой. К рассвету подоспела подмога — это прибежали поднятые по тревоге мужики, парни и даже ребятишки из окрестных сел и деревень, вооруженные чем попало, с ними оказался и Максим Паклёников со своей старенькой берданкой.

Теперь он и сам не помнил, сделал ли хотя бы один выстрел из своей шомпольной, но Знобин, решивший во что бы то ни стало выручить мужика из беды, категорически свидетельствовал, что «гражданин села Завидова Максим Савельевич Паклёников у подножия Поповой горы бесстрашно вступил в бой с превосходящими силами противника и из своей винтовки наповал уложил четырех антоновцев».

Под вдохновенным пером Федора Федоровича древняя Максимова берданка обернулась боевой винтовкой, а скошенные из пулемета самим Знобиным бандиты оказались пораженными меткими выстрелами Паклёникова.

Ясно, что при такой характеристике и при столь авторитетном ходатайстве Президиуму Верховного Совета республики ничего не оставалось, как вынести постановление о помиловании Максима. И все-таки должностное лицо из тюремной администрации сочло необходимым посоветовать освобождаемому до срока, чтобы впредь он прятал чулок с уворованной колхозной ржицей куда-нибудь подальше и транспортировал его домой не среди бела дня, а чуток попозже.

Максим улыбнулся. Ответил, однако, совершенно серьезно:

— Взял бы ты, гражданин начальник, тот чулок себе на память, потому как он больше для такого дела мне не спонадобится. А для ног жена новые свяжет, она у меня по этой части бо-ольшая мастерица!

— Вон ты как! — подивился такому решительному заявлению гражданин начальник, но закончил все ж с профессиональной осторожностью, сдобренной определенной толикой скепсиса, тоже, впрочем, профессионального: — Ну-ну, поглядим.

— Глядите на здоровье, — сказал Максим смиренно и с тем вышел за ворота.

Позже, наезжая время от времени в город по разным колхозным надобностям, Максим непременно заворачивал на улицу, на которой возвышалось хорошо знакомое ему здание, в более поздние годы прозванное саратовскими шутниками Белым домом, — заворачивал и, попридержав кобылу, вывернув как-то по-птичьи голову, лукаво подмигивал зарешеченным стрекозьим тюремным очам. Максим подмигивал, а свободные от вожжей пальцы правой руки, следуя его мыслям, сами собой складывались в великолепный кукиш, выразительнее всяких слов говоривший: «А вот этого не хочешь?! Накось выкуси! Хрен ты теперь меня возьмешь!»

Нельзя сказать, однако, что, ведя безмолвную беседу с тюрьмой, уверяя и себя и ее, что уж никогда больше не доведется ей видеть Максима Паклёникова под своей крышей, этот последний уповал лишь на опыт, полученный им тут за неполных восемь месяцев. Просто Максим был убежден в том, что год тридцать третий, непонятный для него, нелепый и страшный, не повторится, а значит, и не будет той крайней нужды, какая только и смогла толкнуть его, мужика честного и даже совестливого, на позорный поступок.

Что же касается Петьки и Ваньки, то Паклёников-старший мог бы и не приваживать их к сверхраннему курению, руководствуясь таким странным и неожиданным для односельчан соображением, поскольку тюрьма, как и все прочие средства вразумления непутевых, по ним, его сыновьям, не скучала. Выросли они парнями толковыми, окончили семилетку, вступили в комсомол, выучились на трактористов, в первый год войны пахали, сеяли, убирали хлеб вместе со стариками, женщинами да немногими «бронированными» мужиками, а в сорок третьем упросили командира стоявшей в Завидове воинской части взять их в экипаж «Красного завидовца», танка, купленного на сбережения колхозников. Приняв все меры предосторожности, с тем чтобы его не услышала жена, Максим и сам подключился к этой просьбе. А в начале сорок пятого в далекой Венгрии, под городом Секешфехерваром, назвать который без запинок, без многократного спотыкания Максим так и не научился, Петька и Ванька сгорели вместе со своим танком и теперь смотрели на отца с увеличенной фотографии, смотрели и, ясноокие, решительные, словно разговаривали с ним, спрашивали этими отчаянными соколиными глазами: «Ну как, батя, хороши? Ну вот, а ты говорил!»

Извещение об их гибели задержалось в долгом пути и пришло в Завидово уже после победного дня, в середине мая, а Максимова жена Елена, которая каждое утро выходила на дорогу и зорко вглядывалась, не появятся ли на той дороге ее близнецы, узнала о похоронке гораздо позже. Оберегая старуху, с каких уж пор жалующуюся на свое сердце, Максим все тянул, выжидал какого-то особого случая, когда бы такой удар мог быть хоть капельку смягчен и не оказался смертельным для жены. Конверт с извещением находился у него в небольшом кармашке-тайничке, спрятавшемся в многочисленных складках сумки, — в него почтальон обычно помещает извещения о посылках, денежных переводах и другие ценные, малые по размеру бумаги. Не всякий отыщет этот карманчик, но Максим не был уверен, что его тайничок является таковым и для Елены, а потому и оставлял на ночь разносную сумку в сельсовете: в таком случае Елена не могла заглянуть в нее, как заглядывала в карманы его брюк, когда Максим спал. При этом надобно сказать, что, обнаружив на другой день

следы сыскных ее «мероприятий», Паклёников не подымал шума, не возмущался, ибо знал, что привычку производить ревизию его карманов Елена обрела не от хорошей жизни и по мужниной же вине, обрела еще в довоенное время, когда Максим стал прикладываться к чарке гораздо чаще, чем дозволялось снисходительною к такому греху деревенской нормой, и когда, уложив его, «тепленького и полнехонького», в кровать, она принималась за дело, обшаривала карманы, выворачивала их, проверяла все другие складки на штанах, при редкой удаче выгребая из них либо уцелевшие каким-то чудом, либо специально припрятанные деньжата. Дома Максим не бунтовал, но, придя в «потребиловку», начинал всенародно обыскивать себя, тщательно, как старатель, исследуя те же места, по которым раньше него пробежали проворные и зоркие пальцы жены. Отчаявшись, горько жаловался: «Словно Колчак, прошлась по штанам, все очистила. Хорошо помню, что рупь под ошкур засунул, утречком, думаю, на похмелку как раз будет, — так нет же, вымела, языком вылизала, проклятущая! Ей бы только сыщиком при угрозыске быть!»

«Ищи, ищи хорошенько, Максим!» — вдохновляли его мужики, с молчаливой усмешкой наблюдавшие за возней своего старшего компаньона, наперед зная, как знал об этом не хуже ихнего и сам Максим, что его поиски не увенчаются успехом и что вдохновителям придется снова поправлять голову страдальца на свои гроши, в наличии которых никому до поры до времени не хотелось бы сознаваться. Первым не выдерживал, как правило, Апрель. Сокрушенно вздохнув, он погружал руку по самый локоть в глубочайший свой карман и вычерпывал оттуда истертую бумажку. «Видно, уж мне придется нынче вас угощать!» — говорил он медленно и важно. Радостно оживившись, кто-нибудь обязательно замечал: «Давай, Апрель, угощай, тут у тебя конкурентов не будет!»

Ну, все сказанное выше — это сказано лишь к слову. Для Максима же в конце концов надо было сообщить жене о полученной им и схороненной в почтальонской сумке страшной бумаге. Он, как известно, и прежде страдал, сильно маялся душой, когда нес ее, черную, в чужой дом. Теперь же его муки оказались во сто крат большими, день ото дня сумка его становилась все тяжелей, давила будто не на плечи, а на сердце, и в ка-

кой-то час сделалась совсем неподъемной. Подходящего, однако, случая, который мог бы немного ослабить удар, — Максим понимал, что рано или поздно, но вынужден будет обрушить его на жену, — такого случая что-то не оказывалось. И вот однажды, черный весь, похожий на большую головешку со свежего пожара, с провалившимися глазами и щеками, пришел к обеду домой, присел к столу, на котором дымилось большое блюдо со щами, зачерпнул деревянной ложкой тех щей, понес ко рту, на полпути раздумал, выплеснул хлебово обратно, после чего ложка сама выскользнула из его ослабевших, задрожавших безвольно пальцев, — тяжело поднялся, ватными ногами сделал несколько шагов к стене, где только что повесил сумку, снял ее и, пряча налившиеся влагою глаза от жены, заговорил: «Мать, слышь-ка... Ты только...» Не дала договорить, закричала жутким голосом. Крик ее выметнулся на улицу, вихрем подхватил каких-то баб, кинул их на Максимово подворье...

— Да, мои Ванюшка и Петяшка лежат теперя гдей-то на чужой сторонке, — вздохнул Паклёников, — и могилку их не проведать, да сохранилась ли она, та могилка? Сам воевал в первую германскую, знаю, как хоронят нашего брата на позициях — где упал, там и прикопают, попробуй потом найти... А Елена до сих пор житья не дает, пиши, говорит, самому Сталину, чтобы пропуск дали в Венгрию. Грозится пешком пойти в энтот Шехер... мехер... Язык, говорит, до Киева доведет. Пробовал образумить старую. Куда ты собралась, Елена?! Ты ить дале нашего районного поселку отродясь не ездила, а тут — заграница! Язык у тебя, говорю, в полной исправности, это правда, а в ногах-то нету прежней резвости. Вон в Салтыково, за три версты, к своей сестре дойтить не могешь, куда ж тебе... — Максим опять тяжко, с прихлипом, вздохнул. — Ведь я, Сережка, чуть отходил ее тогда. Цельну неделю пролежала ни жива ни мертва, кормил ее с чайной ложечки, хлебушка в соску нажевывал, как малому дитю, чтобы как-то удержать ее на белом свете, — без нее, Елены моей, признаюсь тебе, Серега, и мне бы не жить, не топтать травы-муравы на наших завидовских тропках. Слава богу, выходил, вернулась баба к жизни, спасибо Степаниде Лукьяновне, целыми ночами просиживала возле моей старухи добро-

вольной сиделкой... Поднялась Елена, все бы ничего, а вот на ноги совсем слабой стала...

Максим рассказывал, а слушавший его Сергей Ветлугин искал и не мог пока найти ответа на вопрос, вдруг вставший перед ним. Он помнил, что до войны Максим Паклёников слыл в Завидове выпивохой и по этой причине не занимал в отличие от большинства завидовских мужиков даже самой малой руководящей должности в колхозе. В то время никому бы и в голову не пришло, чтобы доверить такому человеку денежные дела, а теперь вот доверили. Что же случилось с Паклёниковым? Может, остепенился? Может, война не только убивает и калечит, но и кого-то исцеляет? Что-то мало похожа она на исцелителя...

Заглянув глубоко, как, бывало, заглядывал в деревенский колодец, в совершенно трезвые, родниковой чистоты, ясно мерцающие из-под паволочи густых, сомкнувшихся над переносьем бровей глаза старика, спросил напрямик:

— А водочку-то пьете, дядя Максим?

— А куды от нее денешься, — быстро и спокойно сказал Паклёников.

— И что же, много ты ее...

— Вижу, Серега, ты про прежние годы вспомнил, когда мы с твоим отцом... Теперя не то. Годы бегут, а с ними и силенки убывают. Спрашиваю днями Николая Ермилыча, дядю Колю то есть, спрашиваю, значит: «Тебе, Ермилыч, когда бывает тяжельше — в гору аль под гору?» А он мне: «Знаешь, Максим, теперь все едино — что в гору, что под гору: так тяжало и так тяжало». — «Ну, — говорю, — в войну-то ты вроде прямее был». А он мне: «Война ково хошь выпрямит. А сейчас с какой стати мне выгинаться — старик должен быть стариком. Годы, они что тебе пудовые гири, любого к земле прижмут. И ты, Максим, растешь в обратную сторону...» Ермилыч прав: тут, Сережа, не до жиру, быть бы... Да и должности мои не дозволяют: все время при финансах. Пропустишь иной раз лампадку — не без того, принесешь в какой дом радость в конверте, в ответ тебе стакан самогону — попробуй откажись, обидишь хороших людей до смерти... А так — ни-ни, ни боже мой! — Максим вдруг замолчал на минуту, глянул на Ветлугина, спохватился: — Я, кажись, совсем заговорил тебя,

Сережа, ты уж прости старого брехуна — ни речи, ни мочи уж не могу удержать, такие теперь мои лета. А ты так и не попал на заседание. Кончилось, видать. Слышь, все поднялись? Сейчас выходить начнут... Ты бы, сынок, заглянул к нам на часик. Я еще не накалякался. Мы ить с твоим отцом, бывало...

7

За председателевой дверью зашумели, задвигали стульями и скамейками, заговорили почти все разом, не успев разрядиться до конца во время заседания. Сперва Сергей отчетливо различил характерный, постоянно сдерживаемый, как бы виноватый кашелек Знобина, затем послышался давно знакомый густой бас Леонтия Сидоровича Угрюмова, вокруг которого закручивались повиликой женские, требующие чего-то голоса, натыкаясь по пути — и оттого еще более воспламеняясь, — на беззаботный Тишкин хохоток, и совсем умолкали, когда наперерез им подымался старческий, с присвистом на конце фразы баритон дяди Коли, и вновь протестующе звенели, когда высовывался со своими замечаниями Санька Шпич, по несчастью для себя обладающий тем редким голосом, когда один его звук сообщает собеседнику мгновенное и острое желание возражать, перечить, протестовать, не соглашаться ни с чем из того, что бы тот ни говорил, отвергать, оспаривать даже очевидно бесспорные, вполне логичные его доводы. Беда владельца такого голоса состоит в том, что сам он не в силах понять, почему с ним не соглашаются, когда он говорит безусловно разумные вещи, и, горячась, пытается подойти к своим мыслям с иного конца в надежде примирить с ними спорщика, но вызывает лишь еще большую ярость последнего, который, не выдержав, закончит тем, что попросит почти с мольбою: «Да замолчи ты, ради бога, не то ударю!» И Санька Шпич, ежели речь идет о нем, остановится на полуслове в крайнем недоумении, беспомощно мигая своими длинными, как у теленка, белесыми ресницами. Сейчас он, судя по всему, и пребывал как раз в таком положении, потому что, выйдя в коридор вслед за Апрелем, явно удиравшим от него, хватал старика за пиджак, старался таким образом задержать и все-таки убе-

дить. Сопротивляясь, Апрель встряхивался весь, точь-в-точь как встряхивается всей кожей лошадь, когда ее одолевают слепни, и, свирепо вращая окровенившимися белками своих вообще-то добрых глаз, шипел сквозь редкие зубы:

— Сань, милай, отвяжись!

— А вот и не отвяжусь! — кричал Шпич. — Ты, Артем Платонович, должен в конце концов понять, что сейчас нам не до твоей картошки, хлеб еще на поле, кто же тебе даст быков. Картошке в земле ничего не сделается. Полежит еще с месяц, а хлеб...

— А картошка, по-вашему, не хлеб?! — злился Апрель и опять настойчиво просил своего преследователя: — Отстань от меня, нет моей моченьки слушать тебя!

— Я замолчу, но прежде хотел бы услышать от тебя: прав я или нет?

— Умру, а не соглашусь с тобой, Санька!

— Это почему же?

— А черт ее душу знает, — чистосердечно признался Апрель, впервые натолкнувшись на такой вопрос, но, подумав, попытался объяснить: — Как те сказать, Саня... Вот когда ты помалкиваешь, ты мне больше по душе. А как только отверзнешь уста, заговоришь, у меня мороз по коже, точно кто серпом по энтому месту... Да ты не серчай, я ить правду говорю, другой тебе ее не скажет, потому как ты, Саня, большая шишка на селе. Слушал я тебя сейчас на правлении, а самого так и подмывало подойтить и заткнуть тебе рот. Так что отстань, ради господа бога, от меня со своими речами. Сыт я ими по горло!

— Но я же прав...

— Ты завсегда прав, Шпич, и все-таки отвяжись!

Однако спорщики унялись только тогда, когда увидали рядом с Максимом Паклёниковым офицера, который смотрел на них и, улыбаясь, терпеливо ожидал окончания дуэли. Минутой позже, узнав Сергея, не соизмеряя своих сил, они трясли за плечи, толкали с обеих сторон в бока, словно испытывали на прочность его ребра, — особенно доставалось одному правому ребру, под который поддевали два негнущихся Санькиных пальца. Свои действия Шпич и Апрель сопровождали обычными в таких случаях междометиями:

— Ну и ну!
— Эх, паря!
— Скажи на милость!
— Вот это да!

К спокойным расспросам так и не подошли, поскольку из кабинета председателя вышел Знобин, а за ним и все остальные: Леонтий Сидорович, не успевший убрать со своего лица строгую озабоченность; почти впритык к нему — дядя Коля, комкавший в руках старенькую, полувоенного образца фуражку — любимый и чуть ли не обязательный головной убор председателей колхозов, сельсоветов, директоров предприятий и прочего начальствующего люда в границах района; к дяде Коле фуражка эта перешла вместе с казенной печатью и всеми прочими правленческими и колхозными делами от Леонтия Сидоровича, когда тот уходил на фронт, а по возвращении не потребовал ее обратно, видел, как приладилась она к дяди Колиной голове и как необходима его рукам, когда хозяин не знает, чем их занять. Последними кабинет покинули Настя Вольнова — теперь Шпичиха — и Феня Угрюмова, которую позвали в правление, едва она вернулась домой; впереди себя они подталкивали упиравшегося малость Тимофея Непряхина, награждая его легкими тычками в спину, из чего можно заключить, что между Непряхиным и этими молодыми женщинами не до конца разрешен какой-то вопрос. С круглого лица Насти еще не сошла краска смущения: десятью минутами раньше она заговорила о ремонте клубного помещения, но наткнулась на тяжелый и холодный взгляд председателя, который, не ограничившись одним этим взглядом, присовокупил к нему слова, каковые и придавили Настю, как глупого котенка: «Клуб? Может, дворец тебе выстроить, а колхозная скотинешка пускай так и стоит по брюхо в грязи, а избы солдатских вдов так и остаются раскрытыми? Видел, чего ты захотела! Ай-ай-ай-ай! Ну и комсомол!» На вмиг сваренном Настином лице выступили бисеринки пота, готовы были выскочить и слезы, но их остановил Федор Федорович Знобин, заметивший строгому председателю: «Зачем же так, Угрюмов! Ну, поторопилась девчонка — эка беда. Пройдет год-другой, мы сами от тебя потребуем того же, а попозже и дворец станет на повестку дня... Кто это хмыкнул? Вы, Непряхин? Не верите, значит? Зря! Может, поспорим? Ну, по рукам?!» Тишка спорить

не стал, сославшись на то, что ни в какой еще игре его ни разу не посещала удача, добавив к случаю, что и ни на одну из его облигаций не выпадал хотя бы самый пустяшный выигрыш. «Подписываемся с моей Антониной на все займы аккуратно, нас даже Максим Паклёников в пример другим ставит, а как начнем проверять таблицу — одни нули, — пожаловался он, торопясь соорудить цигарку, — так что вы уж меня, товарищ секретарь райкому, увольте от ваших споров. Вон Епифана, дружка моего, пригласите, он любит поспорить. А я невезучий, хотя в разные там дворцы, извините меня, темного человека, не верю. Может, лет через сто...» Все, кто был в правлении, невесело засмеялись. Засмеялся, откашливаясь, и сам Знобин, подумав: «А не хватил ли я лишку насчет того дворца?» Насте же эта поддержка главного районного начальника была как нельзя кстати, молодая Шпичиха успокоилась, а вот теперь ей захотелось немного побаловаться — она подталкивала вместе с Феней в спину этого Фому неверного, Тишку. В прихожей Настя немедленно присоединилась к тем, кто окружил Сергея Ветлугина, и ушла из правления лишь тогда, когда Леонтий Сидорович увел капитана на правленческий двор, чтобы попрощаться с Федором Федоровичем.

Тогда Ветлугин хотел и не мог отвести своих глаз от лица Знобина, не мог при этом отделаться от мысли, что кто-то долго и тщательно натирал это лицо золою — ни кровинки не чуялось под сухой и серой кожей, и было странно и горько видеть, что, мертвое, оно еще улыбалось, что в больных, бесконечно усталых глазах временами вспыхивали живые золотистые огоньки, а меж почерневших, сморщенных тонких губ влажно блестели ровные крепкие зубы. Но когда Знобин заговорил с ним, Сергей сейчас же забыл о том, что перед ним человек, давно приговоренный к смерти страшным своим недугом.

— Победили, значит? — Федор Федорович глянул на Сергея, улыбнулся, помолчал, затем вновь стал хмурым и серьезным. — Да, победили! Но, товарищ Ветлугин, девятого мая — это победа для всей страны. Теперь от нас зависит, чтобы она стала победой для каждого советского человека. Только в этом случае мы сможем сказать: да, мы победили, победили стратегически и политически во второй мировой войне! Пока что мы одержали лишь военную победу. Понял?

— Что-то не очень, — признался Сергей, чувствуя, однако, что в словах секретаря кроется нечто очень важное и тревожное.

— Не понял? Ну что ж. Значит, не мог сказать яснее. Под старость что-то философствовать частенько стал. Поживешь немного тут с нами, сам сообразишь, что к чему. Будешь в районе — заглядывай.

Знобин уехал.

Леонтий Сидорович пригласил к себе дядю Колю, Апреля, Шпича и Точку, весьма кстати выглянувшего из своего сельсоветского кабинета в самую последнюю минуту. Максим Паклёников примкнул к компании без всякого приглашения, полагая, очевидно, что он имеет на это полное право, поскольку первым встретил офицера и в течение целого часа занимал его своими рассказами. Потопал было вслед за всеми и Тишка, да остановился на полпути: ему явно не хватало вдохновителя, а именно Пишки, который в таком разе повел бы себя куда решительнее, но Епифан еще вчера уехал в Саратов заказывать протез для своего глаза. Постоял на одном месте Непряхин, потоптался, как всегда, в затруднительную минуту, поскреб у себя в затылке, вздохнул неприкаянно, повернулся и медленно поплелся в сторону своего дома, где его, как всегда, ожидало множество разных мелких дел: надо было наколоть дров, да посуше (жена затеяла полную квашню хлебов, поутру станет выпекать), вычистить хлев, застелить его соломой, поднять плетень, сваленный ночью мирским бугаем, припожаловавшим на свидание с Тишкиной коровой, которая, к великому огорчению хозяина, вспоминала о женихе почему-то с большим опозданием; ждали в чуланчике и два тракторных карбюратора, в которых Тишка собирался поковыряться со слабою надеждой вернуть их к жизни; ждали его и малые дети, которым привез из района по одной конфете, да не успел передать — теперь сладкие эти штуки медленно плавились в глубоком и теплом Тишкином кармане, постепенно утрачивая не только форму, но и свойственные им благовония и взамен обретая ни с чем не сравнимый и никакими иными запахами не сокрушаемый дух самодельной махры, давно и безраздельно господствовавший во всех складках Тишкиных штанов.

Гася неприятно шевелившуюся на сердце зависть к тем, кто скрылся в председателевом доме и теперь рас-

саживается за гостеприимным угрюмовским столом, Тишка мысленно начал уж похваливать себя за то, что повернул к дому, что сейчас вручит детям гостинцы и займется домашними делами под молчаливым (чтоб не спугнуть его!) и радостно удивленным взглядом Антонины; он уже прикидывал, за какие дела примется в первую очередь, и прибавил было шагу, когда путь ему преградил лесник Колымага.

— Здорово, Тимофей! — приветствовал он Тишку както очень поспешно.

— Здорово, коль не шутишь, — хмуровато отозвался Непряхин, вспомнив, очевидно, про то, что топор и пила, отобранные у него Колымагой месяц назад, до сих пор еще не возвращены.

— Ты никак из правления?

— Из него. А что? — спросил теперь уже Тимофей, впервые приметив на лике грозного стража местных лесов что-то вроде испуга или тщательно скрываемой растерянности.

— Ну что там? — маленькие глазки Архипа Архиповича беспокойно сверлили Тишку, ожидая чего-то.

— Аль не знаешь! Все то же. Хлеб. Мясо. Шерсть. Яйца.

— Никак Знобин наведывался?

— Был. Только что проводили.

— Ну и что он... О чем?

— Да обо всем. Тебя-то, Архип, что тревожит? Лес твой как стоял, так и будет стоять.

— Да не о том.

— О чем же?

— Ну те к лешему! — рассердился почему-то Колымага. — Ты ему про Фому, а он тебе про Ерему. Бывай, Тимофей!

— Бывай, Архип Колымажевич, Архипыч то есть. А топоришко-то пора вернуть бы мне. И пилу тоже.

— Приходи ужо. Потолкуем. Теперь мне неколи с тобой. Будь здоров! — И лесник, поправив на большой своей, наполовину оплешивевшей голове форменную, с кокардой фуражку, прямиком подался к дому Угрюмовых, обстреливаемый с тылу недобрым взглядом Непряхина.

Сказать правду, не так уж и печалился Тишка по поводу утраченных им топора и пилы, он бы плюнул и махнул на них рукой, как не раз делал и при более серьезных утратах; обидно было то, что Колымага числил-

ся у него, Непряхина, в друзьях, во всяком случае, частенько уверял Тимофея в этом, не озаботясь, однако, подкрепить свои устные заверения какими-либо практическими делами. Тем не менее Тишка даже гордился, что находится на короткую ногу с таким важным и значительным человеком, в подходящий момент не прочь был похвастать этим, а однажды чуть было не поскандалил с Апрелем, когда тот обронил: «У иных, Тиша, черти лучше, чем у тебя друзья». Выходит, Апрель прав, дружки-приятели Тишкины действительно того, с изъянцем — взять хоть Пипику аль этого лешего, Колымагу, ну, что ему стоило сделать вид, что не приметил у Дальнего переезда Тишку с возком хвороста, под которым укрывались всего-навсего два дубовых кругляша, заготовленных Непряхиным для починки колодезного сруба, для ремонта того самого колодца, из коего черпает воду чуть ли не полсела, в том числе и он, Колымага?!

«Пусть подавится моим струментом, а на поклон к нему не пойду. Не на такого напал. Знаю, чего он дожидается. Но я ему не Машуха Соловьева — пол-литра не поставлю. На мне где сядешь, там и слезешь. Ишь ты — «ужо приходи, потолкуем»! А вот этого не хошь? — промасленные на веки вечные Тишкины пальцы с удовольствием переплелись и ловко изобразили известную фигуру. — Непряхин Тимофей ни у кого еще в ногах не валялся. Так что не жди — не дождешься!» — решил про себя Тишка и, еще более зауважавший себя за столь непреклонное и принципиальное решение, быстрехонько направился домой. Знай он, что происходило сейчас в председателевой избе, то еще выше оценил бы несомненную мудрость своего поступка.

Большой, семейный, хорошо выскобленный кухонным ножом и старательно вымытый стол был загодя накрыт, уставлен погребными припасами, а на шестке, в огромной, как поднос, сковороде что-то пошипливало, должно, картошка, сдобренная двумя, а может, и тремя яйцами, схороненными Аграфеной Ивановной от зоркоокой Катеньки и не менее шустроглазого Филиппа. Сковорода покинула шесток и оказалась посреди стола, дорисовав окончательно его великолепие, когда торчавший у окна внук провозгласил: «Бабаня, они идут!» У старой хозяй-

ки хватило еще сил на то, чтобы отнести поджаренную картошку и водворить ее на положенное место, но затем руки ее безжизненно обвисли, а ноги подогнулись, — поддерживаемая младшей дочерью и внуком, она с трудом добралась до широкой лавки и рухнула на нее всем своим тяжелым, обмякшим телом. Живыми остались лишь одни ее глаза — сухие, воспаленные, немо и исступленно вопрошающие. Они-то, эти глаза, и остановились на одном только человеке из всех вошедших в избу — на Сергее. В них он прочел и вопрос, и горячую материнскую мольбу одновременно: «А где же Гришенька? Где же сын мой? Ведь он живой, живой! Скажи же скорее — живой?»

Сергей быстро подошел к ней, присел рядом, привлек седую ее голову к своему плечу и, ничего не говоря, поцеловал. Все, кто был в доме, — Леонтий Сидорович, Феня, Авдей, дядя Коля, Апрель, Санька Шпич, Точка, Максим Паклёников, пришедший чуток позже Архип Колымага — все теперь стояли посреди избы, не зная, куда себя деть и что надо делать в таком случае; никто не мог в эту минуту не то чтобы сесть за стол, но и глянуть на него. А покрытые густою сеткой красных прожилок глаза хозяйки уже начали наполняться влагою, две крупные капли уже медленно ползли по щекам.

— Ты вот что, Сережа, — первым, как и следовало ожидать, заговорил дядя Коля, — ты скажи ей всю правду. Так-то будет легче, чем всю жизнь понапрасну ждать. Убит ежели, так и скажи...

Теперь глаза Аграфены Ивановны обратились на старика, и была в них такая ярость, такая лютая ненависть, что тот сейчас же замолчал и в замешательстве начал оглядывать всех, как бы ища поддержки. Но его выручила сама же хозяйка, вновь повернувшая лицо к Сергею:

— Правду ли нам писали... правду ли? — умолкла, тяжело задышала.

— Правду, Аграфена Ивановна, — сказал Сергей тихо, но слова эти были услышаны всеми, и на какое-то время звенящая тишина воцарилась в избе. Неожиданно для всех Аграфена Ивановна поднялась над этой тишиной, над всем этим невыносимым напряжением, повернулась к образам, встала на колени и долго, под молчаливыми, встревоженно недоумевающими взглядами

гостей молилась. Затем медленно встала, суровым, отвердевшим взглядом обвела всех, сказала громко и как-то даже торжественно:

— Ну, что ж вы, мужики, стоите? Садитесь за стол. Помянем сыночка нашего по-христиански. Левонтий, приглашай!

— Садитесь, мужики. Николай Ермилыч, Санька, Артем Платоныч, Виктор Лазаревич, Максим, Архип Архипыч... ну, чего же вы стоите? В ногах правды нету. Прошу, прошу вас... — Леонтий Сидорович приглашал, а глаза его тоже были красны, и он все время вытирал их, по возможности так, чтобы не видели гости. — Мать, веди Серегу. Садитесь, а ты, Фенюха, угощай нас... Мать, ты куда же?

— Я в горенке побуду. Мне одной надоть. — И Аграфена Ивановна ушла в передпюю. Под взглядом отца туда юркнула и догадливая Катенька, а потом и Филипп.

Все уже сидели за столом, Феня и помогавший ей Авдей разлили по стаканам самогон, а хозяин все чего-то ждал, не садился, топтался неловко на месте и, наконец решившись, подошел к Ветлугину.

— Ты вот что, Серега... ты мое место занял, пересядька сюда, к Николай Ермилычу.

Сергей исполнил эту просьбу быстро, но все-таки покраснел от столь неожиданной выходки хозяина. Феня поспешила пояснить:

— Ты не сердись на него, Сережа. Отец этого места никому не уступит. Один раз он оттуда турнул самого Знобина. Ну-ка, друг, говорит, освободи — тут я завсегда сижу.

Апрель, дядя Коля и Максим Паклёников подтвердили: оказывается, и они не раз были изгоняемы старшим Угрюмовым с этого места. С незапамятных времен Леонтий Сидорович облюбовал его для себя, садился у левого края стола, спиною к стене, разделяющей избу на две половинки, и никто из домашних не смел нарушить этого правила даже тогда, когда хозяин был в отъезде; неукоснительно соблюдалось оно и в годы войны, когда неизвестно было, вернется ли Угрюмов-старший вообще домой. Постепенно спина и голова хозяина четко нарисовали на стене два разных по величине пятна. Хозяин не велел их закрашивать во время весенней и осенней побелки избы, чтобы не пачкать рубахи.

Первые стаканы выпили не чокаясь — это уж как водится, когда хотят кого-то помянуть. Перед тем как выпить, каждый сказал что-то из того, что говорят на Руси по такому горькому поводу. Один пожелал, чтобы земля, упокоившая героя, обернулась для него пухом, другой — вечную память, третий — того, чтобы вообще могилы павших были священны для всех людей земли. Следующие стаканы были также посвящаемы памяти Григория Угрюмова. Оказалось, что тут каждому было что вспомнить. Дядя Коля, например, рассказал о временах, когда он, страдая известным недугом, наведывался в школу и читал свои проповеди о Риме, когда, спроваженный директором, он становился под покровительство Гриши и Сереги вот — ребятишки отводили его домой и укладывали спать. Апрель не без умиления поведал о том, как эти же ребята во время студенческих своих каникул вели с ним долгую беседу там, у Ерика, и как потом поправили его «дурную голову». Максим Паклёников прослезился, вспомнив, как Гриша и Сергей дружили с его сыновьями-близнецами, и из слов его, Паклёникова, выходило, что лучших друзей у его Ваньки и Петьки, царство им небесное, вообще не было. Санька Шпич жил на хуторе, совсем в другом конце Завидова, и в течение многих лет находился в состоянии непрерывной мальчишеской вражды с ребятами, проживающими на одной улице с Угрюмовыми, а значит, и с Гришей Угрюмовым, но и он, Санька, во всех подробностях рассказал о том, как произошло их примирение с Григорием. Он теперь не мог сказать точно, кто их впервые поссорил (сдается, что это был Пипка, любивший стравливать ребятишек, как молодых кочетов), но отлично помнил, что лупцевали они друг дружку в течение пяти лет. Стоило, скажем, Грише оказаться на хуторе, Шпич встречал его там со своими сподвижниками-сверстниками и колотил; и, напротив, то же самое незамедлительно получал Санька Шпич, забредши на угрюмовскую улицу. Неизвестно, как долго продолжалось бы такое положение вещей, если бы однажды на какой-то нейтральной улице Гриша и Санька не столкнулись носом к носу и один из них, озаренный какой-то внезапной и вместе с тем очень трезвой мыслью, не спросил: «Сань, а чего это мы лупим друг дружку? За что?» Вопрос был поставлен так прямо и так неожиданно, что Санька в растерянности замигал рыженькими своими ресничка-

ми, утопил в краске смущения веснушки на носу и на щеках, тут же признался: «А я не знаю». — «И я не знаю,— сказал Гриша и вдруг предложил: — Давай, Санька, дружиться!» — «Давай!» — немедленно согласился Шпич, и с того дня действительно стали хорошими товарищами, при случае даже оборонялись совместно от наскоков других ребятишек.

— Вот ведь как бывает! — заключил свой рассказ Шпич.

— Бывает... — начал дядя Коля раздумчиво, — бывает — и не только с малыми и глупыми детьми, но и с вполне взрослыми дядями. Вместо того чтобы научиться жить в мире и согласии, они дубасят себя чем попадя. От таких-то вот драчунов беды поболе бывают, иной раз целые народы кровью умываются из-за них...

Все примолкли. И молчали бы, верно, долго, если бы Архип Колымага не вспомнил, что тоже должен что-то сказать о Григории Угрюмове. Видать, он отчаянно ворошил свою память, но выудить в ней что-либо подходящее к такому случаю не мог, поскольку в лес Гриша Угрюмов ходил отнюдь не за дровами, а за птичьими яйцами да разными съедобными растениями — растом, слезками, дягилем, борчовкой, а потом — ягодами: земляникой, дикой малиной, а поближе к осени — ежевикой и костяникой, то есть за тем, что уж никак не подлежало высокому попечительству Архипа Архиповича Колымаги. Потому-то он и счел необходимым лишь заметить:

— Славный был парень твой, Левонтий, сынок! Не бедокурил в лесу, не сдирал лыка с дерев, как иные протчие...

В еще более неловком положении находился Виктор Лазаревич Присыпкин, или Точка, о котором подробно рассказал Ветлугину еще в правлении Максим Паклёников, — Точка вообще не знал старшего сына председателя, а потому и прибавить к тому, что говорили о нем другие, ничего не мог. Архип же Архипыч, поменявшись за столом местами с Апрелем, подсел к Точке и, судя по суетности своих движений и по беспокойному поблескиванию крохотных, почти совершенно заплывших глаз, собирался о чем-то спросить секретаря сельского Совета. Он и спросил, улучив момент, сунувшись

для такой цели толстым и влажным носом в Точкино ухо:

— Что там, Лазарич, слышно... про энту саму?

— О чем вы, Архип Архипыч?

— Про реформу денежну... слухи разные.

— А не верьте слухам.

— Как же им не верить, ежели все как сговорились... После третьего-то стакана Колымага, видать, не мог соразмерить своего голоса и потому был услышан всеми, кто сидел за угрюмовским столом. Бесцеремонный и имеющий касательство к делам финансовым Максим Паклёников тотчас же отозвался:

— У нашего Колымаги деньжищ как у дурака махорки, вот он и дрожит за них. То ли дело у меня: ни копеечки лишней за душой, никакая реформа не страшна!

— А ты что, Максим, в карманы мои заглядывал? — осерчал, бурея лицом, Архип Архипович.

— Не заглядывал, а знаю. На то я и финагент! — выпалил Паклёников опять со всей возможной многозначительностью.

— Знаешь, ну и помалкивай, — посоветовал лесник.

— Ну, Архип, тут ты мне не указывай. Это не в лесу, на какой-нибудь просеке, где ты всем властям власть, а тут... Давай-ка лучше хлобыстнем еще по одной!

— Хлобыстни без меня.

— Эка беда! Могём и без тебя... — Максим понес было очередной стакан ко рту, но на полпути остановился, потому что на пороге стояла Мария Соловьева и испуганными глазами кликала к себе Феню.

— Иди за стол, Маша, — позвала Феня.

Мария отчаянно затрясла головой:

— Выйдь же на минуту!

Они вышли на улицу, а пятью минутами позже Феня вернулась с лицом, побеленным какою-то великой тревогой.

— Что там еще? — спросил Леонтий Сидорович.

— У Марии муж вернулся. Федор.

Звук Фениного голоса долго еще держался в плотной, спрессованной тишине и затем сомкнулся с другим, тоже надолго повисшим в воздухе:

— Ну и ну! Доигралась, бабонька! — это обронил Апрель и почему-то первым засобирался домой: никто в ту

минуту не вспомнил, что Мария Соловьева доводилась ему по жениной линии племянницей.

Вслед за Апрелем вышли из дома и Феня с Авдеем. В сенях они едва не столкнулись с Авдотьей Степановной и Тетенькой, которые к этому времени успели вдосталь «накалякаться» и теперь торопились заполучить в качестве третьей собеседницы Аграфену Ивановну, давнишнюю свою подругу. Пришли старухи вместе, но решительно с разными целями. Авдотья Степановна очень опасалась, как бы Серегин приезд и его появление в доме Угрюмовых не перетянули на сторону влюбленных Фенину мать, — отец ее давно склонялся к этому, — и спешила по возможности воспрепятствовать такому направлению дел; а ее подруга, тетенька Анна, надеялась «уломать» Аграфену, примирить ее и с дочерью и с Авдеем — переломить настроение Авдотьи ей не удалось, Авдеева мать оказалась непримиримой. При короткой встрече в сенях каждая из них и проявилась по-иному: Авдотья Степановна плесканула на обоих гневным взглядом, а Тетенька, напротив, обласкала доброй, все понимающей и как бы благословляющей улыбкой: держитесь, мол, и никого не бойтесь, все уладится, я на вашей стороне. Благодарные, они улыбнулись ей, но на одно лишь мгновение, поскольку были заняты чем-то иным, очень серьезным и срочным. Но эта их улыбка не пропала — слилась с ее собственной, и теперь Тетенька внесла ее на своем лице в избу и будто осветила ее всю изнутри и всех, кто оставался еще за столом.

Леонтий Сидорович поспешно поднялся, вышел к желанной гостье навстречу и, поддерживая за плечи и смеясь одними глазами, под довольный шум других гостей подвел к столу и торжественно усадил рядом с Точкой. Виктор Лазаревич, донельзя довольный таким обстоятельством, отодвинул в широчайшей улыбке уголки своего великолепного рта к самым ушам, которые на радостях багряно вспыхнули, как два мудреной поделки фонаря; синие, васильковые, его глаза радостно заблестели.

Авдотья же Степановна подойти к столу отказалась, вяло поздоровалась со всеми разом прямо от порога и демонстративно присела на приступок печки. По строгим ее глазам, по губам, сурово поджатым и образовавшим тонкую сухую ниточку, по рукам, глубоко упрятанным в рукава плисовой поддевки, по частым и прерыви-

стым вздохам — по всему угадывалось, что она пришла сюда вовсе не для того, чтобы ублажать себя и других за праздничным столом, что явилась она с решительными намерениями — приготовилась дать бой и теперь только ждала подходящего момента, чтобы начать его.

Вышедшая как раз в эту минуту из горенки Аграфена Ивановна быстро поняла, что к чему, сердито молвила:

— Негоже, кума, так-то. Чем это мы тебе не угодили! Сережа нам такой же сродник, как и тебе. Присаживайся к столу, чего уж там. Тут, чай, все свои — не обидят.

— Ничего, Графена. И без меня обойдутся. У меня к тебе дело. Погожу, когда ослобонишься.

— Зря, зря, Авдотья. Не по-божески.

— Ты меня богом не стращай. Бог правых не судит.

— Никак это ты, Степановна? — спросил дядя Коля, сидевший спиной к двери и теперь поворачивавший свою длинную жилистую шею почти на сто восемьдесят градусов, чтобы окончательно убедиться в том, что перед ним действительно Степановна. — Ты, матушка, вроде не в духе? Может, сообщишь старику, что у тебя там стряслось? Надо думать, что-то уж очень серьезное, ежели ты не хочешь посидеть с нами и почествовать фронтовичка, дорогого нашего победителя. Сказывай же, что там?

— Это не твоя печаль-забота, Ермилыч. Угощайся на здоровье и в наши бабьи дела не встревай. Сами как-нибудь...

— Вон ты как! — удивился старик. — Что-то не очень-то обходились вы без дяди Коли в войну, а теперь, знать, не нужен стал. Ну и ну!

— А ты не серчай. Не все дела тебе подсудны, хоть ты и разумнее нас всех, — сказала Авдотья Степановна и нахмурилась еще больше.

— Ах вон оно что! Ну, ну, извини, коли так, — примирительно вздохнул, малость сконфузясь, дядя Коля, придавая своей голове прежнее положение, лицом к окну, возле которого находился Ветлугин. Этому последнему пожаловался взглядом, неожиданно омрачившимся: «Попробуй их пойми, этих баб!»

А на другой день, после того, как Сергей Ветлугин объездил с Леонтием Сидоровичем лишь наполовину убранные поля, побывал на колхозных фермах, тыкающихся в остывающее сентябрьское небо исковерканными руками оголенных стропил, нагляделся на скотину, утопающую в грязи, на пустые амбары, в которых еще не ссыпано ни зернинки для аванса на трудодни, — после всего этого, придя под вечер к дяде Коле, Сергей с отчаянием воскликнул:

— Все, что я увидел у вас тут, Николай Ермилыч, — это ужасно. Разве можно все это поправить?

Дядя Коля заговорил немедленно и сердито:

— Во-во! И ты о том же, а еще командир, начальник над людьми. Энтот, толстомордый, ну как его?.. Да Черчилль, будь он неладный, он как раз на то и располагал, что мы после такой порухи никогда уже не встанем на ноги, не выпрямимся в полный, значит, рост. Три, посчитай, года тянул со вторым-то фронтом, чтобы побольше нашей, русской кровушки пролилось... Орина, а ты чего рот разинула? Гостя-то надо встретить по-людски. Где у тебя там все — давай-ка, мать, на стол. Мы с Серегой посумерничаем. Боюсь, сынок, заговорить тебя до смерти. Вот как хочется покалякать с тобой! — Дядя Коля черканул ребром ладони по острому клинышку подвижного кадыка, указывая на тот край, до которого хотелось бы ему достать в милой его стариковскому сердцу беседе. Убедившись, что Орина занялась тем, чем ей и полагалось бы заняться еще раньше, без его напоминания, то есть шевелить заслонкою и выуживать что-то в темном зеве печки разного размера ухватами, хозяин удовлетворенно крякнул, пропустил сквозь кулак жиденький пучок теперь уже совсем белой бороды, собрался продолжать свою речь, да потерял нить, которую обронил, делая внушение жене. — Ишь ты... Старая голова — что решето, все проваливается насквозь. На чем же мы, Серега?..

— Про Черчилля вы что-то...

— Ну да. Тянул, вражина, со вторым фронтом. Пускай, мол, вымотаются совсем — это он о нас так. А потом, дескать, я могу взять и того немца, и того русского голыми руками. Теперь, поди, таращит в нашу сторону свои зенки: подымемся аль нет? А мы, Сережа, должны, перед всем миром обязаны не только подняться, но и стать сильнее всех. — Дядя Коля помолчал,



встал с лавки, на которой до этого сидел рядом с гостем, начал расхаживать по избе. Половицы поскрипывали под его тяжелым шагом, и скрип этот как-то очень уживался с несильным, суховатым и тоже немного скрипучим голосом старика. — Тебя худоба наша испугала, Серега. А разве тебе не доводилось видеть живых скелетов? У иного с голодухи одни ребра остаются — в чем душа держится? Ан в душе-то и весь фокус, весь секрет. Коли она здорова, мясо на костях нарастет. Подкорми человека, похоль его самую малость — глядишь, он и ожил, и румянец на щеках молодым баловнем заиграет. Ты вот увидел голые стропилы, буренок наших колхозных по пузо в назьме — и чуть ли не караул закричал. Пропали, дескать. Нет, Серега, не пропали покамест. Будут и крыши над фермами, и кормов для скотины вдоволь, и шерстка на животине залоснится, и трудодень наш прибавит в весе — все будет. Другое, сказать по-честному, меня, старика, заботит и иной раз лишает насовсем сна...

— Что же? — спросил Сергей, видя, что старик остановился посреди избы и неожиданно примолк хмурясь.

— Что?.. Дай собраться, сынок, с мыслями... опять разбежались они в разные стороны, как мыши по своим норкам. — Он расстегнул ворот темной сатиновой рубахи, чтобы дышалось попросторней, гость с удивлением увидел под рубахой все ту же матросскую тельняшку, до того изношенную и полинявшую, что теперь можно лишь догадываться о ее изначальной расцветке. — Все, говорю, будет, — повторил он с прежней значительностью и убежденностью. — А вот скажи, Серега, что нам делать с Машухой Соловьевой и вернувшимся вчерась ее Федором? Второй день идет война пока что в их доме, а назавтра может перекинуться и во второй дом, скажем, к Тишке, а оттудова — в третий, четвертый и пойдет полыхать, как при большом пожаре, потому как, Серега, все мы тут во время войны были одной судьбой повиты, одной веревкой связаны — потяни за один конец, всех как раз и зацепишь. Как тут быть? Как быть, скажем, с Катериной Ступкиной, у которой муж и старшие сыновья ушли на фронт и не вернулись, а на руках осталось еще семеро по лавкам... ну, не семеро — это к слову — а четверо, разве мало?! — как ее с этими сопливыми удержать на свете и заставить распрямиться? Катерине нету и пятидесяти, а она старее

вот нас с моей Ориной выглядит. А ведь в Завидове не одна такая, в каждой третьей избе — загляни-ка! — увидишь такую же. Что нам делать с ними? Что нам делать с твоей сродницей Федосьей Угрюмовой? Золото бабенка, а счастья бог не дал: одного возлюбленного потеряла в Испании, другого в германской стороне, а на третьего, которого полюбила и оттого стала вроде бы воскресать душой, матери их родные да другие злоязыкие бабенки устраивают настоящую облаву, как, скажи, на бирюка... Как помочь Фенюхе? А помочь надо — не дай бог, сломается в неравной-то войне, потеряем такую работницу, каких мало на земле. Что нам делать с этими бабами, какие вчерась еще были подругами, а нынче, клятые, тиграми глядят друг на дружку? Почему так глядят? Да потому, Сережа, что война и тут все замутила — сперва уравняла их, забрав суженых на фронт, а потом одним вернула мужиков, а других обнесла такой радостью, проложила между бабами глубокую пропасть. Примири-ка их попробуй, когда одна поглядывает украдкой на чужое счастье, а другая оберегает его, стережет, как волчица: не подходи, подруга моя милая, не то глотку перегрызу, — дядя Коля грустно улыбнулся. — До глотки пока что не доходит, а вот волосьям бабьим достается. Так-то, Сережа! Вот где, думается мне, главная послевоенная закавыка — в людских судьбах, путаных-перепутанных проклятой этой войной. Вот тут бы не сломиться. А остальное — пустяк. На теле любая рана зарастает, была бы здоровой душа, не задело бы ее теми осколками. А она, душа-то, Серегуха, как раз у многих ушиблена, и даже очень сильно. Тут простой повязки не наложишь, и лекарь для таких ран нужен особый... Эх-хе-хе-хехенюшки! — дядя Коля вздохнул совсем уж по-стариковски и потянул гостя к столу. — Ну, довольно хныкать, подтягивайся, сынок, поближе к яишенке, бросим тут якорь. Орина давно уж постреливает в меня глазами: остынет, мол, а ты, старый пустомеля, никак остановиться не можешь. Я и вправду на Максимку Паклёникова начинаю походить, он у нас бо-о-ольшой любитель покалякать, а вот слушать других не любит. Только ты собрался разинуть рот, а он уж шумит: «Погоди, Ермилыч, дослушай меня спереж!» А как его дослушаешь, когда конца его речи не бывает? Не приведи господи, коли он на колхозном собрании надумает выступить — никаким строгим рег-

ламентом его не унять!.. Ну да бог с ним, без таких на свете тоже не обойтись, оставалось бы какое-то на земле белое, незаполненное место... — говоря это, дядя Коля сперва ощупал придирчивым глазом стол, чего-то, похоже, там недосчитался, потому что повернул лицо к старухе и изобразил на том лице немой вопрос.

Орина поняла его и смятенно замотала головой.

— Неужто ни капли? — спросил он на всякий случай.

— Ни единой, Ермилыч.

Серега, с некоторым опозданием догадавшийся о затруднениях стариков, поспешил на выручку:

— Не о выпивке ли хлопочете? Не надо, дядя Коля. Пить не хочется, да и нельзя мне. Завтра уезжаю, а мне надо еще кое с кем встретиться и поговорить. Так что...

— Уезжаешь? Так скоро? А сказывал, на две недели к нам.

— Вызывают в часть, Николай Ермилыч, — пояснил Ветлугин, присаживаясь к столу.

— Случилось что?

— Может, и случилось, да кто же напишет об этом в телеграмме? Сам ведь был военным — знаешь.

— Оно конечно, — согласился старик и добавил: — А я собирался взять поутру ружьишки да по нашим болотам с тобой походить, уток и своих и пролетных, сказывают, многонько там. Глядишь, подстрелили какую ни то.

— Меня уж приглашал на охоту Авдей.

— Ну и что, ходили?

— Нет, отказался я.

— Вот как? А почему, дозволь узнать?

— Сказать правду: настрелялся я досыта, довольно с меня...

— Ну-ну, понимаю... Ты ешь, сынок, а мы со старухой потихоньку будем глядеть, любоваться тобой. До Берлина, слышь, дотопал?

— До Праги!

— До Праги?! — воскликнул дядя Коля, озаряясь счастливой улыбкой и весь как-то выпрямляясь. — А ведь я, сынок, бывал в Праге, это еще когда в дунайской флотилии службу нес. С визитом вежливости наши корабли к австрийскому императору приходили по Дунаю. Вот тогда и в Будапеште, и в Вене, и в Праге — везде побывал. Сам Франц-Иосиф на палубу нашего корабля подымался, руку мне пожал и что-то там проше-

пелявил по-ихнему, по-ненашему, а мичман — он у нас большой был грамотей — перевел мне: «Каков молодец!» Это австрийский царь про меня так сказал...

— Опять расхвастался. Дай ты человеку поесть! — одернула старика Орина. — Твоими речами сыт не будешь.

— И то верно, — сейчас же согласился дядя Коля и надолго умолк.

Гостя своего он проводил до «места расквартирования», до подворья Авдотьи Степановны.

8

Телеграмма, предписывавшая гвардии капитану Ветлугину немедленное возвращение в часть, была хоть и неожиданна для него, но о ее возможности Сергея предупреждал еще писарь, который оформлял на него отпускные и который, как известно, принадлежал к той категории «младших чинов», каковые обо всех военных новостях, в том числе и наисекретнейших, узнают раньше своих командиров. Да и сам Ветлугин покидал полк с неясной тревогой на сердце: фултонская речь Уинстона Черчилля к тому времени уже прозвучала, в отношениях недавних союзников потянуло прямо-таки холодом, а вчера еще безоблачные горизонты быстро затягивались грозовыми тучками, временами их наискосок рассекали острые сверкающие клинки молний; далеко и смутно погромыхивало. При таких обстоятельствах кадровый офицер гораздо лучше чувствует себя в своей части, среди однополчан, в особенности же — среди тех, с которыми прошагал без малого полсвета фронтовыми дорогами. И Ветлугину уже не терпелось дождаться утра, когда Леонтий Сидорович впряжет в таратайку правленческого, ревниво оберегаемого им Серого и в один час отомчит на станцию. Капитан намеревался и лечь пораньше, чтобы поскорее прошла ночь, но получилось так, что ему не удалось вздремнуть и одного часа: война в доме Марии Соловьевой, та самая война, о которой помянул вскользь, мимоходом дядя Коля, захлестнула вдруг и его, Ветлугина, так что на всю эту ночь он оказался втянутым в сражение, не предусмотренное никакими боевыми уставами и не изучаемое ни в каких военных академиях.

Авдотья Степановна, заслыша его шаги, выскочила на крыльцо и заголосила:

— Беги, ой, господи, ой, матушка владычица!.. Беги же скорее туда!.. Перебьет он их всех, перестреляет... У него, сказывают, пистолет! И зачем только Авдей встрял в такое дело? Пускай бы она, сука беспутная, сама ответ держала! Господи, да не стой же ты, Сережа, беги, милый!...

Сергей, оглушенный сплошным криком тетки, поначалу не мог понять, что же случилось, а поняв, не сразу сообразил, какой путь короче, чтобы побыстрее оказаться у дома Соловьевых. Ноги, однако, оказались понятливее его головы — в пять минут перекинулся с одного конца села в его центральную часть, где обреталась всю войну в малой своей халупе непутевая головушка по имени Мария. Сейчас перед избой догорал амбар, подожженный, видать, вернувшимся Федором, и в зареве его, в раскачивающихся под несильным ветром жгутах пламени Ветлугин увидел все поле брани: Мария Соловьева, плотно взятая в оборонительное кольцо Феней Угрюмовой, Степанидой Луговой, Катериной Ступкиной, Настей Шпичихой и еще какими-то незнакомыми Сергею женщинами, стояла в одной изодранной станушке *, прижимала к груди чернявую и кудрявенькую головку сына и яростными, без единой слезинки, глазами смотрела прямо на бушевавшего в руках Авдея и Точки мужа, гимнастерка которого была тоже изодрана и от сотрясения побрякивала полдюжиной боевых медалей.

— Убью, убью суку!.. — хрипел Федор, безуспешно пытаясь высвободиться.

— Отпустите его, — приказал подошедший Сергей, и случилось невероятное: разбуянившийся перестал вдруг кричать, уронил руки вдоль казенных своих брюк, как только они были отпущены мужиками, глаза его виновато забегали, лицо жалко затряслось, обмякло, и пьяные слезы, мутные и обильные, покатились по исцарапанным, похоже, жениными ноготками, щекам. Плечи затряслись. Дыша на Серегу самогонными парами, заговорил всхлипывая:

— Как же... как же, товарищ гвардии капитан, можно ли так с фронтовиками? А? За что?! — выкрикнув

---

* Так называют в здешних местах исподнюю рубаху. **(Прим. автора.)**

это, он вдруг снова напружинился, мышцы рук отвердели, вскинутые над головой кулаки налились свинцовой тяжестью, рванулся к жене, но его опять подхватило несколько таких же сильных рук, и снова обманутый муж закричал с пьяной слезливостью: — Хоть бы проценья попросила, змеюка подколодная!..

— Ишь чего захотел! — отозвалась Мария остуженным холодной ненавистью голосом, слизывая с рассеченной губы кровь. — Может, на колени упасть перед тобой? Не дождешься этого!

— А может, и надо бы упасть в ноги ему, покаяться? А, Маш, а? — зашептала ей в ухо Катерина Ступкина. — Глядишь, простил бы, и жили бы по-хорошему, в миру да ладу, а, Маш?

— Не будет этого, помру, а не покаюсь! — выдохнула та с прежним остервенением. — Пущай с Гитлера спрашивает!

— На войну, значит, хочешь свалить свой грех?! — закричал, задыхаясь в предельной ярости, муж. — Не выйдет! — Теперь Федор уже не был похож на пьяного, страшные слова рвались из него хоть по-прежнему бурно, но вполне осмысленно: — С Гитлером я уже свел свои счеты, теперь наступил твой черед, потаскуха завидовская!

Настя Шпич вырвала из материных объятий дрожащего мальчугана и, подхватив его, упирающегося и ревущего, на руки, унесла домой, чтобы ребенок не слышал больше жуткой матерщины, поганых слов. А к горячей точке быстро снарядила мужа, сказав:

— Свяжите вы его и заприте в сельсовете, а завтра видно будет, что с ним и как.

С такою установкой Санька и двинулся к месту происшествия. Тем часом страсти там накалялись. Обожженная низким словом, брошенным ей прямо в лицо, Мария вспыхнула, вырвалась из бабьего круга, подскочила к мужу и с перекошенным в бешенстве лицом раз за разом хлестнула его по щекам, приговаривая при этом:

— Это тебе за потаскуху, а это за проститутку!

Марию оттащили, Феня принялась увещевать ее, уговаривать:

— С ума ты сошла, Маша!.. С кем связалась! Оставь его, пойдем к нашим. Поживешь покамест там, и Миньку твоего возьмем, пускай с Филиппом играют. А Фе-

дор... черт с ним... пусть воюет тут один. Может, еще и избу подпалит — пусть. Пойдем, Мария. Пойдем...

Должно быть, Федор все это слышал, потому что в следующую минуту взвыл еще пуще:

— А-а-а-!.. И ты, Фенька, такая же! Защитница!.. Вместе, чай, по мужикам, мокрохвостые!.. Спелись вы тут все!

— Знамо, спелись, — отозвалась Катерина Ступкина, — нашу, сынок, песню одному-то человеку не вытянуть. Вот мы и...

— Ты, тетенька Катерина, помалкивай. Не о тебе речь. А Феньке я все припомню!..

Феня остановилась как вкопанная, минуту думала о чем-то, что-то решая. Затем, подтолкнув Марию к другим женщинам, передав таким образом ее на их короткое попечение, вернулась, приблизила свое бледное даже в отсветах пожара лицо почти вплотную к лицу Федора, долго глядела так. Сказала коротко:

— А ну, гад, повтори, что ты сказал!

— Пошла ты...

— Повтори, говорю! Слышь? «Мокрохвостые»? Ах ты, зас...нец несчастный! А кто тебя всю войну кормил, поил? Кто одевал, обувал? Мы, «мокрохвостые»! Без нас бы ты и без немецкой пули окочурился... Что лапаешь свои медали?.. Не ты один вернулся с войны в медалях, да что-то никто так не бушует. Разобраться надо сперва во всем, а потом уж воевать... Ишь скликал все село, бесстыдник! Все Завидово взбулгачил. Глядеть на тебя тошно — ге-э-рой!

Феня, очевидно, решила, что этих слов вполне достаточно, чтобы расплатиться с неразумным мужиком и за себя, и за подругу, а потому и отошла вновь к тому месту, где сгуртовались ее односельчанки — с минуты на минуту их число становилось все большим и большим.

Оправившись от временного замешательства, Федор закричал вдогонку Угрюмовой:

— Убью и тебя, сводницу! И Машку, и ее выблядка — всех!.. И энтова Тишку Непряхина прикончу!.. Всех, всех!

— Ладно, — совершенно спокойно сказал дядя Коля, незаметно подошедший сюда вместе с Санькой Шпичем, — всех побьем, никого не оставим в живых, но

только потом. А теперь, Федяша, пойдем-ка ко мне, посидим малость, потолкуем...

— Это ты, дядь Коля? — Федор перестал вдруг брыкаться, поглядел на склонившегося к нему старика виновато, робко как-то и одновременно с какою-то надеждой. Попросил: — Скажи им, чтобы отпустили меня...

— Отпустите, ребята. Федяшка — парень разумный, разве вы не знаете?

— Спасибо тебе, дядь Коля, а то все на меня... А где они были?.. — Федор оглядел всех разом: и Точку, и Авдея, и присоединившегося к ним Шпича, и даже Ветлугина. — Где, спрашиваю, они были, когда я...

— Были они все там, где и ты, Федя. Так что правду тебе сказала Фенюха: разберись сперва, а потом уж и буйствуй. А покамест пойдем ко мне. Я вчерась еще хотел прийти к тебе, да прихворнул — кости мои старые раскапризничались, так разломились, что моченьки никакой не было. Пойдем, сынок. А вы, бабы, по домам! Ишь нашли спектаклю! Веселого тут мало. Марш, марш по избам. И вы, мужики, тоже. Мне с Федяшкой одному надо побыть, без свидетелей потолковать. Айда, Федя. Старуха моя рада будет, ты, знать, забыл, что она тебе крестной доводится, крестила тебя с кумом Максимом Паклёниковым. Пойдем, голубок...

Необыкновенно покорного, обмякшего вдруг, по-ребятишьи пошмыгивающего носом Федора дядя Коля увел куда-то в темноту, должно быть, и вправду взяв направление к своему дому.

На том и закончился первый и, судя по обстоятельствам, далеко не последний бой у этого крохотного человечьего гнезда, на ничтожно малом кусочке огромной планеты, по которой только что прокатилась грозная колесница великой войны, позаботившейся о том, чтобы никто из сущих на этой горькой земле не был обойден ее милостью. Толпа разошлась, растворилась в темных проулках, скрывшись за плетнями, заборами и калитками других человечьих гнездовий. На прежнем месте какое-то время оставались только Мария Соловьева, Феня Угрюмова и Авдей Белый. Стояли они молча, вроде бы прислушиваясь к треску догоравших и рушившихся наземь стропил, к звонкому стрекоту сверчков, успевших вовремя покинуть амбарные выщербинки, где до этого укрывались. Первой нарушила молчание хозяйка потре-

воженной хижины. Сказала, ежась, лишь теперь почувствовала зябкую ночную прохладу:

— Спасибо, Фенюшка, дорогая, но к вам я не пойду. Как можно?

— Почему же? — спросила Феня с нескрываемой обидой.

— Ай не знаешь почему? — выдохнула Мария. — Мать и так жизни тебе не дает, а коли я еще нагряну с мальчишкой, да со своими грехами, Аграфена Ивановна и вовсе со свету тебя сживет. Разве можно! Ты, знать, вгорячах пригласила. Сердечушко-то у тебя доброе. Но ты не беспокойся обо мне. Никто не виноватый в моей беде, окромя меня самой. Останусь я дома, аль на крайностях к Апрелю подамся, к Артему Платонычу, как-никак дядя он мне, не выгонит, чай. И тетенька Прасковья не станет перечить...

— Ты вот что, Мария, ты нынче же и отправляйся к Апрелю. Тут тебе оставаться нельзя. Федора долго не удержишь в доме Николая Ермиловича, — сказал Авдей.

Сергей поддержал его:

— Правда, Маша, иди теперь же к своему дяде. Хочешь, я отведу тебя туда?

— Нет уж, Сережа, я сама. Да и вы идите. Досыта, поди, наопохмелялись на моей пирушке. Мне вот еще переодеться нужно, — и она оглядела себя, горько хмыкнула: — Хороша, нечего сказать! Домарьяжилась девонька! Ну что ж. Любила кататься, люби и... А! Да все равно теперь. Ну я пойду, а вы не ждите.

Они все-таки дождались ее — проводили, непохожую на себя, по-монашески тихую, с узелком, в который наскоро сложила что-то из «шоболов», — проводили до самого Апрелева дома, для верности постояли у окон, прислушиваясь к тому, как будет встречена Машуха Соловьева не слишком-то близкими ей родственниками. Ушли к себе только тогда, когда после короткой сумятицы в доме погас возжженный было светильник, и все стало тихо.

— Слава тебе, господи, кажись, приняли — не выгнали. — Феня неожиданно для себя даже перекрестилась.

Авдей и Серега собрались теперь проводить Феню, но она решительно отказалась, так что им пришлось от-

правиться к Авдотье Степановне. У самых, однако, ворот своего дома Авдей замялся, заговорил невнятно:

— Ты вот что... ты, Сережа, иди... А я тут... я тут...

— Хорошо, хорошо, — заторопился Сергей, отлично понявший своего двоюродного брата. — Иди скорее. Может, еще догонишь.

— Спасибо! — почему-то поблагодарил Авдей и прибавил, оправдываясь: — Да я скоро...

— Давай, давай жми! — Сергей засмеялся, дал доброго тычка Авдею и бегом влетел в избу, встреченный хозяйкой прямо у порога.

— А где ж сынок-то мой?

— Сейчас вернется. А ты чего, теть, не спишь?

— Ох, Серега, да какая же мать уснет, когда сын ее...

— Сын-то, тетка Авдотья, не малое дитя. Чего же тут беспокоиться?

— А вот когда у тебя будут свои детки, тогда и узнаешь, чего это убиваются родители о своих птенчиках.

— Ничего себе птенчик — двадцать шесть лет.

— Для матери он завсегда птенец, — сказала она, как будто обидевшись, спросила еще раз: — Где ж он? За ее хвостом, поди, увязался? Ты уж, Сереженька, правду мне скажи, не обманывай тетку родную... Фенюха увела? Да?

— Зачем же увела? — заговорил напрямик гость. — Сам пошел. И напрасно ты, тетенька...

— А это уж, племянничек, мое дело, — сурово пресекла старая. — Что он у меня, Авдеюшка-то, аль судьбой обижен, чтобы чужие объедки по чужим дворам подбирать? С кем толечко не путалась эта Фенюха, а теперь на шею к моему сыну кинулась... Срам! Мне и на люди-то стыдно выйти, глазыньки показать не могу честному народу! Невест, что ли, в нашем Завидове для него мало! Взять хотя бы Наденку Скворцову — первеющая красавица на селе, чем бы не пара ему?! Так нет, приворожила проклятая Фенька эта, околдовала, змеюка, часу без нее не могет пробыть, извелся весь...

Сергей терпеливо ждал, когда тетка его выговорится до конца, и, дождавшись, спокойно начал:

— Вот уж истинно сказано кем-то: в любви человек слеп...

— Ну, ну, — быстро подхватила Авдотья, принудив гостя опять смолкнуть. — А я о чем же толкую! Об этом самом.

— Ты-то об этом, а я о другом, — продолжал он, чувствуя, что начинает злиться. — Материнская твоя любовь к единственному сыну не его, а тебя сделала слепой. Иначе бы ты не устраивала гонений на женщину, равной которой нет на селе. И Авдей твой может быть счастлив лишь с ней, с Феней, и больше ни с кем. Разве это трудно понять? Ежели вы разорвете их связь, сделаете несчастными и его, и ее, да и себя самою. Вот увидите. И ты еще вспомнишь мои слова. Сейчас я иду к правлению — мне пора на станцию. — Он скрылся в передней, через минуту вернулся с чемоданом в руках, крепко обнял молчаливую, напуганную горячей его речью хозяйку и быстро вышел из дому.

Двумя часами позже поезд увозил его на запад — подальше от родного Завидова с его постоянными, непреходящими и новыми, не совсем и не во всем понятными тревогами и заботами. В голове и, кажется, в сердце больно торчали дяди Колины слова: «Что нам делать с Машухой Соловьевой?..» «В самом деле, — билось в груди Сергея, — что им делать с нею, со всеми другими, похожими на нее? Где те сильные и ловкие пальцы, которые развяжут все эти страшные узлы? А я-то, чудак, думал, что с последним нашим выстрелом на земле наступит рай. Ничего себе рай!»

Он глядел в окно, навстречу бежали кусты с пожелтевшими, сморщенными листьями, промелькнула сорока вместе со своим большим полуобнажившимся к осени гнездом, она провожала поезд точь-в-точь как вон та одинокая женщина на малом, забытом всеми разъезде, — провожала глазами, не заботясь, наверное, обременить себя мыслью, куда он, поезд, катится, и что за люди в нем, и куда они направляются, что их гонит, какая нужда...

Вспомнив во всех подробностях увиденное за эти три неполных дня в родимых краях, он с больно сжавшимся сердцем спросил себя: «Неужели это и было то, о чем грезилось на военных дорогах и потом, после войны, там, на далекой чужбине? И зачем я приезжал? Что я мог привезти своим землякам? Чем помог им?»

Мельтешение кустов, бешеная встречная скачка телеграфных столбов, светофоров, шлагбаумов с их длинны-

ми ручищами, тонкие, распиливающие синь небес строчки проводов, унизанных какими-то пригорюнившимися черными птицами, одинокие люди, бездумно глазеющие на пролетающий мимо поезд, желтые флажки у будок — все это внезапно исчезло. Перед глазами, закрыв все другое, явственно, с поразительной отчетливостью выплыл откуда-то строгий, иконописный, словно бы уж окаменевший в непреходящей скорби, лик Аграфены Ивановны, жившей до его приезда пускай хрупкою, иллюзорною, но все-таки надеждой, единственно способной, несмотря на свою призрачность, удерживать человека на земле. Лишив ее этой надежды, что ты оставил ей взамен, гвардии капитан Сергей Ветлугин? Черную, бездонную пустоту? Или вот эту мертвую окаменелость?

Тихо застонав, он отошел от окна, откинул дверцу купе и с ходу упал вниз лицом на нижнюю свою полку. Кто-то сверху обронил порицающе:

— Хоро-о-ош!.. А еще командир! Орденов, медалей-то сколько!..

Он слышал это, но занят был слишком важным для себя, чтобы одернуть незнакомого спутника за его несправедливое и обидное замечание. Он лежал, уткнувшись носом в подушку, а видел тот майский день в маленьком чехословацком селении по имени Косова гора, видел ликующие толпы людей, кричавших в безумно радостном упоении «наздар», размахивавших трехцветными флажками и бросавших под ноги солдатам, под их запыленные разбитые сапожищи и ботинки охапки живых, обсыпанных еще каплями росы цветов; увидал опять и того нарядного, будто специально приодетого для такого великого праздника, петуха, который взлетел тогда на забор и на весь белый свет протрубил свою песнь в честь победы и во славу освободителей. И день тот представлялся ему тогда лишь самым первым в бесконечном ряду дней грядущих, таких же, а может быть, еще более солнечных и праздничных, — мог ли он, победитель, осыпаемый цветами, погруженный в святую купель безмерно счастливых слез людей, которым принес избавление, которые на его глазах приходят в неописуемый восторг только от того, что им удается коснуться кончиком пальца линялой гимнастерки русского воина или дотронуться до звездочки на его полевом погоне, — мог ли он в тех условиях увидеть сухие, выплаканные до последней капли глаза, скажем, тетеньки Анны, окаме-

невшее в вечной материнской скорби лицо Аграфены, поджатые в неподсудном своем эгоизме губы тетки Авдотьи? Мог ли в тот ослепительный день подумать о жестокой сцене, разыгравшейся на его глазах прошлой ночью? А сколько их еще будет, таких-то сцен?

9

Ночная драма, свидетелем и участником которой был Сергей Ветлугин, имела свое продолжение, расходясь кругами и по временам принимая самые неожиданные, причудливые формы. Начать с того, что Авдей Белый прибежал к дому Угрюмовых, когда за Феней уже захлопнулась сенная дверь, а на крыльце вместо нее встала грозным и неумолимым стражем Аграфена Ивановна, которой не впервой заступать таким образом дорогу Фениному ухажеру. Столкнувшись с непреодолимым препятствием, Авдей остановился посреди двора, глупо заморгал, решительно не зная, куда себя деть. Так бы, наверное, и стоял истукан истуканом неизвестно сколько времени, если бы его не выручила сама же старая хозяйка. Она спросила:

— Чего ты, голубок, забыл на нашем дворе?

«Голубок» промолчал, ибо на такой вопрос не отвечают. Однако Аграфена Ивановна все-таки сделала свое дело — вывела парня из минутного оцепенения. Авдей попросил:

— Позови Феню на минуту. Мне поговорить с ней надо.

— Для этого добрые люди днем приходят. Иди, голубок, никто тебе ее не позовет. Ступай.

Сказано это было таким тоном, что надеяться Авдею на что-либо не приходилось. Повернувшись, он медленно пошел со двора, а за калиткой его догнала Феня. Набросив на плечи ватник и наскоро покрыв голову темной шалью, она вышла из избы, скользнула мимо матери, миновала двор и вот теперь, взяв Авдея под руку, повела в сторону леса. Заговорила лишь тогда, когда дорога скатилась под гору, пробежала мимо Апрелевой избы, но

Поливановке, и втянула, укрыв от стороннего глазу, в плотный белесый омут тумана, спускавшегося перед рассветом на все пойменные места, на лес и лесные озера — в первую очередь:

— Зачем же ты со двора? Вот чудак! Разве ты не знаешь маму? Она и раньше-то, почесть, не спала, а теперь и подавно. А я с проулка окно тебе открыла. Думала...

— Я знал, но ведь уж светало, бабы коров собирались выгонять.

— Ах да! Я и забыла, что уже утро. Но все равно пойдем: я хочу что-то сказать тебе. Так дальше нельзя, Авдей.

— Как? — встревожился он, остановившись и пытаясь заглянуть ей в лицо, прикрытое шалью.

— А вот так... Аль мы прокаженные с тобой, что от нас все отворачиваются?

— Опять ты за свое. Какие все? Старухи — это, по-твоему, все?

— Не только старухи... Ну ладно — не все. Пускай будет по-твоему. Но я больше не могу так. Либо ты оставайся с матерью и твоими сестрицами, либо... либо приходи ко мне совсем.

— А твоя мать? Как она поглядит на мой приход?

— А мы у Пелагеи Тверсковой покамест поживем. Я говорила с ней. Она согласна. А потом свое гнездо надо вить. У меня сын растет, у тяти своя семья. Да и Павлуша — парень уже. Не успеешь оглянуться, как приведет в дом невесту. Ну как ты? — Теперь она остановилась и глянула на него ожидающе. Испуганно, с глубокой тревогой, в нетерпении переспросила: — Как?.. Что же ты молчишь?

— Я думаю, Феня. Но хорошо ли нам будет в чужом доме?

— Да временно же!

— Все равно. Что скажут...

— Ах вон ты чего испугался! — голос ее задрожал. — А по чужим погребицам да по амбарам укрываться лучше?.. У разных там тетенек и дяденек? Ну, коли боишься мирского суда, веди в свой дом! — выдохнула она с торжествующей яростью. — Веди, веди! Ты же хозяин, мужик. Вот и веди. Что, боишься? Матушки, сестриц своих испугался? А еще герой, от фашистов, говоришь, три раза убегал, а от глупых баб не можешь...

— Постой, постой, — заторопился Авдей, вот только теперь действительно испугавшись. — Надо же все обдумать как следует...

— Ну и обдумывай один, а для меня хватит! — Она резко оттолкнула его от себя и свернула на лесную тропинку, едва различимую в плотном занавесе тумана. Заслышав за собой шаги, зло выкрикнула: — Не ходи за мной! Иди, иди к своей матушке. Она давно невестенку тебе подыскала. Наденка Скворцова, бухгалтерша наша, уже постель приготовила. Ступай, и чтобы ноги твоей у меня больше не было. Слышишь?!

— Слышу! — отозвался он, тоже распалясь. — Больно-то не расходись. Как бы...

— Что «как бы»? — отозвалась она, вновь задержавшись. — Бросишь, что ли, меня? Эка испугал!

— Я не пугаю. Но только ты подумай...

— Я уж надумалась — голова кругом идет от этих дум. Подумай теперь ты.

Авдей не ответил. Феня постояла еще немного, ожидая, когда он заговорит, но Авдей молчал. Прикусив в обиде нижнюю губу и подрагивая тонкими крыльями ноздрей, она медленно пошла в глубь леса.

Утро было тихое, макушки деревьев помалкивали, не перешептывались даже пожелтевшей листвою; лишь осинник, в который привела ее тропа, лопотал что-то тихо по своей всегдашней болтливости. Треснули где-то неподалеку сухие ветви под ногами потревоженного лосиного семейства; взмахнула над самой Фениной головой своими бесшумными крылами сова, заканчивавшая ночной промысел; легкой тенью перечеркнул тропу зайчишка, вмиг сгинув в чащобе; с ближнего болота снялись дикие утки, огласили лес звонким и сочным кряканьем; вслед им раздался сдвоенный, дуплетный запоздалый выстрел.

Феня вздрогнула и, шарахнувшись в сторону, присела, прислонилась спиной к холодному и шершавому у комля стволу старой осины, затаилась.

Мимо, по тропе, огромная в рассеивающейся пелене тумана, проплыла фигура Архипа Архиповича Колымаги.

«Господи, только бы не увидел!» — Феня сжалась в дрожащий комок.

Лесник, однако, не заметил — проследовал в нужном ему направлении.

Феня вышла на тропу и медленно двинулась по ней, вовсе не думая, куда и зачем идет. Туман стал быстро редеть, можно было различать деревья и даже кустарник. Щеки Фенины уже не натыкались на хлесткие и обжигающе-гибкие лапки вяза, паклёника, карагуча и густого в низинах черемушника.

Черемуха...

Феня задержалась, отломила ветку, отсекла крепкими и острыми, как у зверька, зубами кусочек, пожевала — рот сейчас же наполнился кисловато-горьким, вязким и душистым, а сердце вдруг что-то вспомнило, забилось часто и тревожно, сладкий испуг охватил ее всю. О чем-то напряженно думая, догадываясь о чем-то, но еще не догадавшись, но чувствуя, что вот-вот откроется ей это «что-то», заставившее тревожно и сладко заныть под ложечкой, она закрутилась на месте, зорко всматриваясь в каждое деревце, в каждый кустик, в каждую ветку. Не то, не то, не то — стучало в сердце и оглушительно звонко отдавалось в висках. Ах вот оно!.. Лишь теперь вся окинулась жаром, ибо глаза ее нашли наконец то, о чем догадывалось сердце: в двух шагах перед нею стояло, торжественно разбросав шатровую свою крону, большое черемуховое дерево, то самое, под которым четыре с половиной года назад, майской соловьиной почушкой, ласкала она Семена Мищенку, нечаянную свою и самую короткую любовь. Оказывается, ноги, не согласуясь с ее волей, зачем-то сами принесли ее сюда. Зачем? Темнокожее, пахучее дерево стояло рядом и, казалось Фене, глядело на нее с тихою и грустною улыбкой, как бы говоря: «Не тревожься, не выдам тайны твоей, потому что я всего-навсего дерево, и я умею молчать. Присядь возле меня, прижмись поплотнее к моей коре, остуди сердечко, а коли хочешь, поплачь — никому не скажу». Никто, разумеется, ей этих слов не говорил, они сами вскипали в груди и звучали там, когда она приблизилась вплотную к старой черемухе, обвилась вокруг нее и беззвучно заплакала, сотрясаясь плечами.

Несколькими минутами позже она уже быстро шагала по той же тропе, возвращаясь в село. Глаза ее были холодны и тверды, исполнены решимости. Сейчас она вновь была Ивушкой Неплакучей, готовой встретить и отвра-

тить любую напасть, какая бы ни выпала и на ее долю, и на долю близких ей людей. Она не знала, что эта внутренняя ее готовность, эта ее душевная мобилизованность потребуется ей, как только она войдет в село, в Поливановку, куда успело перекинуться и принять, кажется, самый крутой оборот начавшееся ночью событие.

Посреди Апрелева двора два человека, в которых Феня тотчас же признала Федора и Тишку, вцепившись друг в друга, отплевываясь кровью, рыча по-звериному и жутко матерясь, остервенело дергая один другого за ворот рубахи и гимнастерки, пытались и никак не могли подмять противника под себя и завершить схватку в свою пользу. Рядом суетился Апрель, усиливаясь — и явно без всяких шансов на успех — вразумить взбесившихся мужиков:

— Что вы делаете, негодяи?! Тиша, ты хоть отлепись! Вклещился, как, скажи, бульдог колымажий, не отдерешь... Федька, мерзавец, да ты задушишь его!.. Глянь, уж синеть начал Тимофей... Опомнись! Ты ж фронтовик. Неужто милицию кликать?! Мотри, не то сейчас же в сельсовет за Точкой сбегаю!

Последняя угроза, приберегаемая завидовцами обычно на самый крайний случай в подобных обстоятельствах, не могла подействовать на Федора, усмирить его, поскольку служивый еще не знал ни Точки, ни того, что Точка этот есть не кто иной, как секретарь и сельского Совета, и колхозной партийной организации, ни того, что он ко всему прочему еще и депутат и что, стало быть, все жалобщики при всех кризисных житейских ли, иных ли каких делах обращаются только к нему одному. Ничего такого не знал Федор, продолжая терзать отчаянно сопротивляющуюся свою жертву. В конце концов он одолел бы Тишку, ибо был почти десятью годами моложе его да и харчился, видать, чуток получше, — из-под воротника потемневшей от пота и грязи гимнастерки, от шеи к затылку, двумя крутыми и упругенькими валиками набегал непривычный для глаза отощавшего завидовца жирок. Но Тишка отбивался, как мог, понимая, что дело его — табак, если он хоть на миг расслабит мышцы и оробеет; он даже умудрялся держать в углах разбитых в кровь губ искуренную лишь наполовину самокрутку,

которая и придавала его отнюдь не бойцовскому обличью насмешливое выражение, более всего злившее противника; Федор какой уж раз пытался выдернуть из его рта клятый этот окурок, но Тишка ловко увертывался, нередко утыкаясь концом непогасшей цигарки в небритую щеку или прямо в ноздрю вчерашнего солдата, коий выл от этого по-волчьи, но поделать ничего не мог ни с Тишкой, ни с его папиросой. Суетившийся рядом Апрель продолжал увещевать, уговаривать, угрожать всяческими карами, предусмотренными в имеющихся в сельсовете законах.

Феня вошла во двор в тот момент, когда к словам своим Апрель присоединил и физические действия — пытался растащить в разные стороны и встать поперек дерущихся, но куда там! Федор и Тишка хоть и маломерные по завидовским нормам, но все-таки мужики, а не кочета, которых легко укрощал старик таким-то вот образом; одного швырнет в правую, другого в левую сторону — и делу конец; унесут незадачливые бойцы к своим гаремам расклеванные гребешки и утихнут, вразумленные. Эти же не ограничились взаимным кровопусканием и мордобитием, но, волтузя друг дружку, поделились парою добрых оплеух и с ним, Апрелем; один удар пришелся как раз по «сопатке», как потом рассказывал Точке сам пострадавший, и теперь из ноздрей старика бежали и уже перекатывались через губы две тоненькие красные струйки, а крупная бородавка на носу увеличилась в размере чуть ли не вдвое и сделалась лиловой, как перезревшая ягода крыжовника. Остервенев, старик взвыл и заметался по двору в надежде отыскать оружие, с помощью которого можно было бы одним разом покончить с буянами. Глаза его наткнулись на большую рыбацкую сеть, связанную им совсем недавно и теперь развешанную для просушки на плетне; ни минуты не колеблясь, не задумываясь над тем, что губит ценную вещь (впрочем, об этом он вообще никогда не задумывался), он начал с лихорадочной поспешностью срывать ее с кольев и острых сухих сучков, выпиравших всюду, и, когда снасть оказалась вся в его руках, подскочил к месту побоища и с ходу накрыл обоих. Те затрепыхались в ней, как крупные рыбины, запутались в один момент и пали наземь, обессиленные, по-судачьи разевая рты и жалобно постанывая.

— Что, отвоевались, голубчики? — спокойно осведо-

мился Апрель, а приблизившейся к нему Фене сказал: — Теперь их можно брать голыми руками. Как это я раньше-то не вспомнил про эту сеть! Давно бы утихомирил безумные их головы. Давай, Фенюха, помогай старику, одному мне с ними не сладить. Распутаем и разведем по углам.

Но слов этих Фене не требовалось. Она опустилась на колени рядом с хозяином двора и, горестно, укоризненно покачивая головой, принялась вызволять из сети драчунов, отделяя от одежды петлю за петлей до тех пор, пока мужики не оказались на свободе. Встали, отвернулись друг от друга и понуро уставились в землю, как вконец загнанные меринки.

— Хороши, нечего сказать, — обронила Феня.

— Тебя еще тут не хватало, — пробурчал Федор, поспешно застегиваясь на одну уцелевшую чудом пуговицу на своей хлопчатобумажной гимнастерке, по-прежнему увешанной боевыми медалями.

— Вот именно, не хватало. Кто бы вас распутал? Ка-ра-си! — усмешка, но не веселая, а скорее горькая, покривила ее губы. — Как же собираешься жить? Федор, слышь? Тебя спрашиваю. Аль не надоела тебе война, не навоевался там? На дом войну пригласил, с собой привез? Так, что ли?

— Не твое дело, — по-прежнему стоя к ней спиной, сказал он.

— Это как же так — не мое? А чье же? Мария подруга мне ай нет?

— Ежели подруга, что же ты, праведница, не прищемила ей хвост, когда она...

— Пробовала, не получилось, — сказала Феня, темнея лицом и глазами. — Что ж теперь делать, как будем жить, спрашиваю я тебя, Федя? Я нисколько не оправдываю Марию и этого вот... козла вонючего... — она повернулась к Тишке, который стоял на всякий случай поближе к Апрелю и торопливо сооружал цигарку. — Не оправдываю никого. Но жить-то нам вместе, в одном селе, в одной артели. Что же ты молчишь, Федор?

— А что я?.. Что ты ко мне привязалась? Покуда не рассчитаюсь с Мареей и вот с этим... — Федор резко повернулся и в один прыжок оказался рядом с Тишкой, но Феня успела ухватить его за воротник и резко отбросила назад, на прежнее место.

Отругиваясь и сплевывая запекшуюся во рту кровь, Федор медленно побрел со двора. Оказавшись на расстоянии, которое гарантировало его, по крайней мере, от немедленного ответного удара, он злобно пообещал:

— Ну-у-у, сука, постой... Ты еще узнаешь меня... Федька такого никому не прощает!

— Давай, давай проваливай! Видала я таких... она говорила так, а чувствовала, что сердцем-то жалеет его, жестоко обиженного и оскорбленного, вернувшегося после всех мытарств по фронтовым дорогам к разоренному гнезду. Но чем помочь, как утешить, где взять лекарств для таких-то вот ран? — Повернулась к Тишке: — А ты как тут оказался? Какая нелегкая занесла тебя сюда? Без тебя тошно. Шел бы на поле, пересидел бы эту беду там, ребятишкам бы помог. Павлушка наш с Мишей Тверсковым третьи сутки без смены... Одни глазенки остались... В чем душа только держится. Помогал бы им, а ты тут войну затеял. Эх ты, аника-воин! Погляди на себя, на кого ты похож? Антонина не признает... Ну ж, Тимофей, будет тебе от нее! Представляю... — Феня невольно улыбнулась.

— Ну и представляй, — огрызнулся Тишка, обидевшись. Теперь, когда непосредственной опасности не было, он вдруг расхорохорился, победоносно глянул в сторону калитки, за которой только что скрылся его враг, воинственно выкрикнул: — Зря вы нас растащили! Он бы у меня...

— Он бы у тебя, — быстро закончила за него Феня, — вырвал со всеми причиндалами то место, которым ты, паршивец, грешил. Говори спасибо нам вот с дядей Артемом, а то бы...

— Ну и хулиганка ты, Фенька! Ну и баба! — воскликнул Тишка с искренним восхищением. — Так, думаешь, и вырвал бы?

— Вырвал бы и псам выбросил, — быстро подтвердила она. — И жаловаться тебе, Тиша, не на кого было бы. Понял?

— Как тут не понять. Тут любой...

— То-то же. А теперь иди. Мне с дядей Артемом поговорить надо. Иди, иди, милый. Я скоро тоже в поле отправлюсь. Иди... Нет, постой... Дядя Артем, принеси воды — я хоть мурно-то ему умою маленько. Страшно глядеть — Антонина в обморок упадет от такого видения...

Апрель вышел на зады, за плетень, над которым подымался колодезный журавль, и скоро вернулся с полным ведром.

Феня скомандовала:

— Голову-то наклони, назола!

Тишка подчинился.

— Ниже, ниже! — она поддела пальцами остро выступающую затылочную кость его черепа и окунула голову по самые большие, оттопыренные уши. — Вот так, вот так!

Захлебнувшись, Тишка боднул головой, заорал — забулькал горлом:

— Ты что, с... сорвалась? Очумела? Вода-то ледяная!

— Ничего, потерпишь. Ишь какой нежный! Охолонь немножко — тебе это сейчас в самый раз... Дядя Артем, принеси мыльца, да, смотри, не душистого, а стирального. Тишка того не стоит, чтобы...

— Отвяжись ты от меня, Фенька! — шумел Непряхин, пытаясь высвободить из ее по-мужски сильных, жестких и шершавых рук головенку, круто, прямым неотесанным колышком всаженную меж узких плеч. — Что привязалась?!

— А ну, цыц! — Феня приняла из рук хозяина кубик мыла, сваренного бог знает из чего, цветом и несокрушимой твердостью напоминавшего антрацит, стала ожесточенно надраивать им Тишкину физиономию, почти сплошь покрытую кровоподтеками и вымазанную грязью. Затем, отложив мыло в сторону, а голову придерживая левой рукой, начала проворно и привычно — так умывала она своего Филиппа — ополаскивать побитую физиономию страдальца. Покончив, отпустила его, сказав с печальною усмешкой: — Теперь иди. Жених!

Обернувшись к молча наблюдавшему за ними Апрелю, спросила:

— Маша дома, что ли?

— Како там! Услыхала эту заваруху — шеметом на задний двор, только ее и видали. И старуха моя за ней. Должно, к трактору своему Мария подалась. Сказывала ночесь, что поутру отправится в поле. Не вернусь, говорит, в село до самых морозов.

— А Минька ее где?

— Настенка Шпичиха приголубила. Сама-то она тоже на зябь, поди, ускакала — нешто ее удержишь в доме в

такое время. Да ничего. Мальчонку, чай, отвела уж к Стешкиному приемышу, к Гриньке, — они ведь как близнецы... Так что Минька теперь уж у дружка свово, у Гриньки. И добро. Вдвоем им повеселее будет, когда матери их на работе... Эх, Гринька, Гринька! Из чьего семени ты народился, рыжий бесенок, из чьего яичка проклюнулся? Какая кукушка обронила тебя на Стешкином крыльце? Сказывают люди, залетная, будто бы из Кологривовки. Узнай теперь поди, отыщи ее, ту кукушку...

— И искать нечего. Степанида Лукьяновна разве отдаст кому? Она дышит над Гринькой и лампадку давно погасила у своих икон, — сказала Феня. — Сколько лет не видели люди улыбки на Стешином лице, а теперь улыбается. «Мой Гринька!» — молвит так и расцветет, просветлеет. «Это, — говорит, — бог мне послал за все мои муки, за все мои страдания!» Вьется над ним, как клушка над цыпленком, готова любому глаза повыцарапать, коли тронет ее Гриньку...

Феня замолчала. Молчал и Апрель — не сразу вернулись они к событию, которым были заняты всю ночь и часть этого утра. Наконец Феня спросила:

— С чего началось-то у этих драчунов?

— А шут их знает. Да ты в избу прошла бы. Озябла небось?

— Нет, ничего. Да и недосуг мне, дядя Артем, тоже в бригаду, на стан надо бежать, брата Павлушку сменить. Умаялся, поди, до смерти парнишка.

— Да, жидковат твой брательник покамест. Ему бы в козны еще играть, а он на тракторе. Да что поделаешь? Не бросать же землю, кормилицу нашу, невспаханной, мужиков-то на селе — кот наплакал. Взять хотя бы Федяшку — когда теперя отойдет сердцем-то, успокоится, чтобы к делу какому привязать его, к тому же трактору али там к комбайну?! Да и удержишь ли его сейчас в Завидове? Махнет в город аль еще куды, только бы с глаз долой. Ты вот спрашиваешь, Фенюха, с чего началось тут у них, как заварилось? Да я и сам никак в разум не возьму, как они очутились на моем дворе, какой шут привел их сюда. Только присел позавтракать, слышу — шум, ругань... Вскочил, а они уж схватились...

Она не дослушала — заторопилась:

— Я пойду, дядя Артем. Спасибо тебе.

— Эт за что же? — искренне удивился Апрель.

— За все. Хороший ты. — И Феня быстро пошла со двора, оставив старика в состоянии некоторого недоумения: по правде говоря, за всю свою долгую жизнь Апрель ни единого раза не думал, какой он: хороший, плохой ли. «Я ить и в зеркало-то лет сорок не гляделся, — подумал он, запуская пальцы правой руки в свой загривок. — Хрен ее знает, эту Феньку, чего она там... Черт те что!» Он поскребся еще и в реденькой бороде, хмыкнул напоследок и направился в избу. У самой двери, однако, вспомнил про изодранную сеть, вернулся, поднял ее с земли, потряс, помедлив, швырнул за плетень, на кучу навоза. Теперь только, почтя, видимо, свой долг исполненным до конца, удовлетворенно перевел дух и отправился в избу.

10

Фене Артем Платонович сказал правду. Он действительно не знал, что же предшествовало сражению, затеянному на его подворье двумя непримиримыми врагами. Появление одного Федора вряд ли удивило бы старика: рано или поздно, но тот должен был прийти, поиски жены непременно привели бы его сюда. Но вот Тишка... По логике вещей, он должен был бы держаться подальше от Марии Соловьевой, во всяком уж случае, не показываться на глаза ни ей, ни ее разъяренному мужу хотя бы в первые дни возвращения Федора. Тишка, насколько его знал Апрель, не отличался особой храбростью, держался всегда подальше от любых стычек, время от времени возникавших среди завидовских мужиков, и потому мало вероятно, чтобы он мог сознательно, не имея рядом с собой своего дружка-приятеля Пишки, пойти на столкновение с человеком, который был гораздо сильнее его и на стороне которого к тому же была правда, взывающая к отмщению. Но к моменту своей неожиданной встречи с Тишкой Федор был настроен почти миролюбиво, он направлялся в Поливановку лишь затем, чтобы уговорить Марию вернуться вместе с ним домой, до этого с такою же целью он обошел полсела, нащупывая ее след, пока Екатерина Ступкина, сжалившаяся над ним, не указала верный адрес. Причиною же такой быстрой перемены в настроении Федора было двухчасовое пребывание в

доме дяди Коли, куда вскорости завернул «на огонек» Виктор Лазаревич Присыпкин, то есть Точка, не на шутку встревоженный ночною историей, могущей повлечь за собой самые непредвиденные и менее всего желательные последствия.

Дядя Коля начал с того, что омыл лицо гостю, поправил на нем солдатскую одежду, усадил за стол и только потом уж сказал — строго и наставительно:

— Ты, Федяшка, меня знаешь. Дядя Коля слов на ветер не бросает. Ну вот. Слушай меня внимательно — это тебе говорит революционный матрос: кулаки свои засунь поглубже в карман и держи их там до тех пор, пока разум твой не возьмет верх над твоим слепым сердцем — оно у тебя сейчас горит в лихорадке и в советчики при важных делах совсем даже не годится. Понял?

— Понял, дядь Коля. Да я...

— А ты помолчи, дядя Коля еще не кончил своей речи. — Когда в Николае Ермилыче просыпался проповедник, он весь преображался, плечи его прямились, правая бровь становилась торчком, лик делался суров и торжествен, голос дрожал, и называл себя дядя Коля в такой-то час лишь в третьем лице. — Война, сынок, — она твой злой разлучник, она порушила не одно твое гнездо... Да ты постой, не рвись из оглобель, как норовистый жеребчик! Знаю, чего ты хочешь сказать. Все, мол, на войну свои грехи хотят свалить... Нет, Федяшка, не про то я. На войну всего не спихнешь, какой с нее спрос? Она вон усеяла всю, почесть, землю могильными холмами да сиротами, и ей хоть бы что — краснеть не умеет, совести у нее нету. И на скамью подсудимых вместе с ее зачинщиками не посадишь... И все ж таки, сынок, злое семя в твое гнездо она лукнула, война. Марея, конечное дело, дрянь девка, слаба оказалась... — дядя Коля покосился на Орину, стоявшую тихо со скрещенными на животе руками на постоянном своем месте, возле печки, поперхнулся малость, прокашлялся, — слаба, говорю, оказалась на это самое... Да ведь, Федяша, не все же люди одинаковы, не все являются на свет сильными и непреклонными...

— А мне-то что делать? — перебил старика Федор, чуть не плача. — Как людям в глаза смотреть? Как жить буду?

— О людях не беспокойся. Люди у нас не глупые.

Правильно все поймут. Не осудят, коли ты простишь ее, неразумную. И она оценит это по-настоящему, прикипит к тебе сердцем — не оттащишь. Это уж как пить дать! А так — кулаки, мстить... Кому? Бабе глупой? Сильные люди, Федяшка, так не поступают, это у слабых да у тех, кто с придурью, кулачишки завсегда чешутся. Ты, чай, не Пишка, это он, как чуть что — в драку. Днями за малым Павлушку Угрюмова не прикончил, подстерег в проулке. Мальчишка с полей домой шел, кинулся Епифан на него сзади и давай душить... Едва отцепили. Спрашиваем: «За что ты его так, что он тебе сделал?» Твердит одно: у него, мол, спросите, он, щенок, знает за что. Спрашиваем того: «Что ты натворил, Павел?» Отнекивается: «Ничего, — говорит, — я не натворял, не знаю, за что на меня дядя Епифан накинулся...» Вот и пойми их. А зачни разбираться как следует, копни поглубже, на нее же опять и наткнешься, на войну. Небось и тут она замешана... — дядя Коля глубоко, трудно вздохнул, собирался, видимо, продолжить свою мысль, но услышал, что кто-то скребется в сенях, отыскивая ручку двери, шумнул на жену: — Орина, чего ты уши развесила? Не слышишь, стучатся? Открой человеку!

Вошел Точка. Прямо с порога посетовал:

— Ну и темнотища у вас в сенях! Хоть бы «летучую мышь» повесили.

— Чего не хватало, — грубовато ответил хозяин, вставая и идя навстречу новому гостю. — Хочешь, чтобы пожару наделали? Вы со своим Шпичем новую избу мне не построите, кишка у вас тонка. И у вас, и у колхоза. Так что, Виктор Лазаревич, отыскивай мою дверь на ощупь да приходи почаще, проведывай стариков, тогда и пообвыкнешь, зажмуркой найдешь ту рукоять... Проходи, подсаживайся к нам. Мы тут с Федяшкой об жизни калякаем. Знакомьтесь...

— Да мы уж вроде бы познакомились... — сказал Точка.

— То не в счет. Сейчас знакомьтесь.

Федор нехотя встал и, хмурясь, сунул свою руку.

Точка с готовностью и, кажется, даже с радостью крепко, энергично пожал ее. Сразу же спросил:

— На каком фронте воевал?

— Второй Украинский, — глухо и по-прежнему сумрачно ответил Федор, садясь.

— На Втором Украинском?! — живо переспросил Точка. — Ну и ну! А армия? В какой армии? Не в Седьмой ли гвардейской?

Федор с удивлением поднял глаза на Точку:

— В Седьмой, а ты откуда знаешь?

— Еще бы мне не знать! Я с этой армией от Сталинграда до самой Праги протопал.

— Не может быть! — Федор даже чуток подскочил на скамейке. — А в какой дивизии?

— В Семьдесят второй...

— Гвардейской, бывшей двадцать девятой?

— В ней самой... — осторожно, не столь уже бойко подтвердил Точка.

— Ну и ну! — Федор заерзал, поглядел на дядю Колю, на его жену. — Слышите? Однополчанина встретил! Вот это да! Неужели правда?

— Точка! — подвел первый итог этой встречи Виктор и, чтобы окончательно развеять возможные сомнения у благоприобретенного однополчанина, продолжал: — Наверное, помнишь, как в шутку называли мы свою дивизию: непромокаемая, непросыхаемая...

— ...околохарьковская, мимокременчугская, — подхватил Федор, смеясь, удивляясь и уже по-настоящему радуясь, что так нежданно-негаданно отыскал еще одного фронтового товарища, да не где-то там еще, а в родном селе.

Позабыв и про дядю Колю, и про его старуху, молча, с тихою и доброй улыбкой наблюдавших за ними, они говорили и говорили, перебивая друг друга все тем же, обычным для таких случаев «А помнишь?», говорили о том, как сражались под Сталинградом, на Курской дуге, на Днепре, как шли по Румынии, как продирались через Трансильванские Альпы и Карпаты, как не по своей воле купались в студеных волнах Дуная и Грона...

Постепенно повествование Федора стало обрастать подробностями, обилием мелких деталей и второстепенных, но чрезвычайно важных для рассказчика эпизодов, то есть наступил момент, которого больше всего опасался Точка; чтобы не быть разоблаченным, он с этой минуты должен следить за каждым своим словом и находиться в состоянии предельной внутренней сосредоточенности: сведения о том, где и в каких войсках служил Федор, Точке удалось заполучить всего лишь час назад у одного завидов-

ца, который воевал в одной части с Федором и вернулся домой одновременно с ним, а сам Точка находился совсем на других фронтах — сперва на Волховском, позднее — во Втором Белорусском и по этой причине не имел ни малейшего понятия об эпизодах, о которых вспоминал сейчас с великим упоением его встревоженный и взволнованный собеседник. Потому-то, когда речь заходила о конкретном человеке, солдате, офицере ли, или о каком-нибудь румынском или венгерском населенном пункте, Точка скромно умолкал, не перебивал Федора, лишь изредка ронял неопределенное: «Ну да», «А как же!», «Хорошо помню!», «Еще бы!» и подобные этим словесные туманности, с тем лишь, чтобы как-то поддерживать разошедшегося не на шутку фронтовика,— так обычно люди поддерживают костер, изредка подбрасывая в него сухие ветки. Охваченный лихорадкою воспоминаний, Федор, конечно, не замечал этой уловки, и Точка вполне мог бы быть спокоен, но его покалывала собственная совесть: правдивый во всем до крайности, не терпевший даже самого безобидного вранья, глубоко убежденный в том, что половина всех бед, время от времени обрушивающихся на людей, обрушивается на них оттого, что в житейском, человеческом общежитии наряду с правдой получила по чьему-то преступному недосмотру прописку и ложь, — убежденный в этом несокрушимо, Точка тем не менее принужден сейчас лгать. Ему меньше всего хотелось бы следовать известной формуле относительно того, что цель оправдывает средства, ибо не всякое средство и не всякая цель оправдывают такое сотрудничество; но у Точки не было иного способа сблизиться с человеком, который оказался в ужасном положении; а сблизиться надо было во что бы то ни стало, потому что человек этот нуждался в немедленной помощи. Внимательно слушая его рассказ и терзаясь душою, Точка мучительно отыскивал на этот раз точку опоры для самого себя, ту точку, которая хотя бы в малой степени могла успокоить его совесть. В конце концов вздох облегчения вырвался из его груди — это когда он вспомнил, что со временем признается Федору в своем обмане, расскажет ему всю правду, снимет таким образом грех со своей души, — и произойдет это тогда, когда в жизни Федора все сколько-нибудь образуется, утрясется, войдет в более спокойные берега, не прежде. Кровь, которая было густо подступила к лицу Агафона, сейчас

отхлынула, оставив на лбу и в переносье лишь крупные капли пота — незаметно для Федора он быстро смахнул их рукавом рубахи.

— Точка! Хватит, брат! — поднялся Виктор из-за стола. — Вон уж бабы коров выгоняют, не дали мы с тобой старикам и часа соснуть.

— Сидите, у нас с Ориной сон теперь воробьиный, на минуту прикроем глаз — и довольно, — успокоил их дядя Коля.

— Благодарим, но нам и вправду пора, — сказал Федор, явно сожалея, что должен был вернуться из привычного мира, которым он еще недавно жил как в мире жестоком, но реальном, а минутою раньше погрузился в него в своих воспоминаниях.

Почувствовав это, Точка пообещал:

— Мы еще с тобой, Федор, наговоримся. Приходи вечером ко мне. Вся ночь в нашем распоряжении. Приходи! Даша моя рада будет.

— Спасибо, друг! — немедленно согласился обрадованный Федор. — Обязательно приду. Куда ж мне...

— Вот именно — куда тебе? — быстро отозвался дядя Коля. — Оставайся у нас. Мы со старухой на печке, а тебе кровать свою супружескую ссудим. Мы уж, Федяшка, с Ориной теперь и не вспомним, когда лежали на ней. Ни к чему она нам, давненько отслужила она для нас свою службу. Так что раздевайся и ложись.

— Нет, дядя Коля, я пойду. — В голосе Федора послышались и непреклонность и нетерпение. Потому-то хозяин и сказал быстро:

— Ну иди, да смотри не бунтуй.

— Что ты, дядя Коля! Я теперь...

Федор вышел из избы раньше Точки, вышел, как уже сказано, с решительным намерением отыскать Марию, объявить ей сейчас же о своем прощении и увести вместе с ее сыном домой. И когда Екатерина Ступкина указала ему точный адрес, он бегом направился в Поливановку. Федор бежал и не знал, что туда же и в этот же самый час направлялся другой человек, и звали того человека Тишкою Непряхиным...

Не только Апрель, но никто на селе не мог бы и предположить, что Тишка отважится на такой шаг, что по доброй своей воле очертя голову кинется в самое пекло. Но бывают моменты, когда и в заячьем сердце просыпается львиная отвага, только надо, чтобы сердца этого

коснулась любовь — единственное, что способно сделать невозможное возможным. Нет, нет, речь тут идет не о Тишкиной любви к Марии Соловьевой, ее, собственно, никогда не было, что могли бы со всей очевидностью засвидетельствовать Тишкины же слова, брошенные им в минуту окончательного разрыва с Соловьевой. Он сказал тогда без малейшего сожаления и огорчения: «Что ж, Марея, завлёка моя сердечная? Зад об зад, горшок об горшок — и наврозь? Так, что ли? Ну и добро! Посмешили, потешили народ честной, да и довольно!»

Другое дело — Минька, этот черномазый, цыганистый шкетёнок, которого Тишка умудрился вылепить по образу и подобию своему: не отыщется, кажется, ни единой извилинки, ни единой конопинки, ни единой крапинки на Тишкином лице, каковые не повторились, не отпечатались бы в удивительной точности на лице мальчишки; нос, глаза, оттопыренные уши, большая, чуток вывороченная нижняя губа — все, решительно все было Тишкино, а курчавая, вытянутая вверх, острая головенка довершала это поразительное сходство. На все на это Тишке частенько, используя любой повод, указывали завидовские бабы, видел это и он сам, Непряхин, и, видя, все больше привязывался, прикипал душой к мальцу. Не следует забывать при этом, что законная Тишкина жена Антонина рожала ему дочерей, которых было теперь уже четверо, а он ждал все сына и потому не давал супружнице своей передышки, вел, как сам однажды признался мужикам, «дело до мальчишки». Пока что у них с Антониной это не получалось, и можно было подумать, что Мария Соловьева сжалилась над Тишкою, разрешившись прямо на поле майским деньком сорок третьего года кудрявеньким, смугловатым Минькой.

Никто в Завидове, кроме разве Дашутки, нынешней Точкиной жены, которая во все эти трудные лета заведовала детским садиком, никто, кроме нее, не знал, как Тимофей Непряхин нередко пробирался в этот самый детский сад, торопливо, озираясь, точно вор, хватал на руки Миньку и, если было холодно, прятал его под полой своего полушубка и уносил куда-то, а потом возвращался, выпускал его из рук, как птенца, и, стоя у порога, долго глядел на него, счастливый. Напоследок говорил юной няньке: «Ты уж, Дашуха, того... ты не проговорись... никому, что я... это самое. Ладно?» Она успокаивала: «Иди, дядя Тиша, никому не скажу».

И вот теперь, представив мальчишку в опасности, Непряхин сначала побежал на хутор, к дому Соловьевых, затем, околесив все село, переспросив десяток людей, где бы могла быть сейчас Мария со своим дитем, в конце концов нащупал дорогу, которая привела его прямо во двор к Апрелю, куда минутою раньше проследовал Федор. Завидя его, стучавшегося в дверь, Тишка в два-три прыжка оказался рядом, ухватился за ворот гимнастерки... Ну а что было потом, мы уже видели.

11

Мария Соловьева, прежде чем отправиться на поле, забежала к Шпичам, забрала сына и отвела к Степаниде, где мальчишка тотчас же присоединился к Гриньке, затеявшему какую-то игру со скамейкой — кажется, вообразил ее лошадью, потому что две скамеечные ножки были спутаны, перевязаны веревкой. Степанида, глянув на гостью, быстро поняла, что к чему:

— Оставляй, оставляй, пускай поживет у нас сколько понадобится. Да и сама перебирайся ко мне. А сейчас иди в поле и не беспокойся за сына. Я присмотрю. Теперь ведь я все время дома, трактор мне уж не по силам, взяла вон десяток поросят с колхозной фермы — отпаиваю их у себя, там бы они в навозе все потонули. Так что ступай и ни о чем не тужи.

— Спаси те Христос, Степанида!

— Вот еще! Велика тяжесть — ребенку кусок хлеба сунуть да спать уложить. Для меня хоть один, хоть два... Иди, иди. Глянь, как они завозились! Вдвоем-то им одна радость!.. Ты только глянь! — и Степанида осветилась вся, глаза ее заблестели. Повернувшись опять к Соловьевой, сказала уж построже: — Аль не доверяешь мне?

Мария ушла, а Степанида присела у печки и, притихнув, стала наблюдать мальчишью возню, чувствуя, как теплая волна нежности заливает грудь, подступает к глазам, которые быстро увлажнялись. И опять — в какой уж раз! — вспомнила про ту ночь, которая разом покончила с ее горьким одиночеством.

Спала она тогда плохо. Что-то ее тревожило. Часто просыпалась, открыв глаза, прислушивалась, ждала чего-то. В какую-то минуту ей послышался ребеночий писк,

она перекрестилась, но не поднялась с кровати, решив, что почудилось: откуда взяться дитю? А когда писк повторился, вспугнутой большой птицей сорвалась с постели и в одной станушке выскочила на крыльцо. Подхватила сверток, вбежала с ним в избу, положила на подушку, долго не могла найти спичек, чтобы зажечь лампу. Когда же нашла и зажгла, кинулась к кровати, принялась разворачивать сверток. Несчастная женщина, давшая жизнь, теплившуюся теперь в этом свертке, позаботилась все-таки о том, чтобы дитя не замерзло, не застыло до утра (во дворе был декабрь), — запеленала в полдюжину пеленок, сделанных из старых юбок и кофт, закутала в стеганое из хорошо, со вкусом подобранных разноцветных льняных и шелковых клинышков одеяло, похоже, приготовленное еще в девичью пору в надежде на скорую свадьбу; головку ребенка уложила в белоснежный шлычок, отеплив его куском платка, связанного из козьего пуха.

Степанида раздевала ребенка, словно луковку, до тех пор, пока под грубыми, очерствевшими пальцами не затрепетало, не запульсировало нежное и тепленькое, пока не пахнули на нее запахи, о которых она давно позабыла. Застонав, уткнулась пылающим лицом в подушку, прислонилась щекой к горячей головке и сейчас же почувствовала, как где-то у височка часто-часто бьется жилка, стучится в ее щеку невидимым малюсеньким молоточком. Ее душили слезы, она сглатывала их, силилась что-то сказать, а с губ срывалось несвязанное:

— Капелька... горошинка ты моя... Кто же... как же это? Пресвятая богородица! Неужто... неужто это?.. — сухими, опаленными внутренним зноем губами пробежала по всему тельцу, от прижмуренных глазенок, через шейку, пузцо, через ямочку пупка до пипирочки, до этого теплого краника, только что пустившего бойкую струю, до коленок, до пальчиков на красных ножках.

В то время она не думала и не могла думать о том, чем будет кормить, во что одевать ребенка; не думала и не могла думать и о том, что скажет людям, когда они увидят его на ее руках, ибо все это, все эти соображения были так ничтожны в сравнении с тем, что испытывала она сейчас. Знала ли та, несчастная и слабая, добровольно приговорившая себя на вечную казнь, та, что робкой тенью промелькнула по спящему селению, знала ли она про то, что ее преступление, что тяжкий ее, ничем

не искупимый грех обернется великим благом для другой женщины?

Степанидина печь задымила и тогда раньше других печей, но на тот раз намного раньше, только никто этого не приметил, а когда начали просыпаться соседние избы, когда закудрявились дымки и над их крышами, она уже выкупала своего Гриньку (так почему-то окрестила, едва убедившись, что перед ней мальчик), накормила молоком, сразу же отыскав соску, о которой никогда до этого не вспоминала и не знала даже, где она могла валяться. Летала по избе, по сеням, по двору и снова по избе, как на крыльях, чувствуя упругую легкость во всем теле, находя то одно, то другое, вдруг ставшее крайне необходимым. Забралась с необыкновенным проворством на подлавку, стащила оттуда широкую, рассчитанную на близнецов, сделанную покойным мужем зыбку, подвесила на крючок у потолка матки, застелила, отыскав так же быстро детские матрасик, одеяльца, подушки; затем осторожно, замирая, млея от счастья, уложила ребенка. Укачав его, сама переоделась во все чистое и нарядное, извлеченное со дна старенького сундука, где это нарядное и чистое лежало в печальной неприкосновенности с тридцатых годов и, пожалуй, тоже забытое хозяйкой.

Странное дело: все вещи, которых она касалась и которыми до сегодняшнего утра пользовалась как-то механически, с тупым безразличием, переставляя их с места на место машинально, как бы не замечая вовсе, — теперь все они вдруг ожили, одушевились, задвигались, обрели свой изначальный истинный смысл, свое доподлинное назначение. Меньше чем за полчаса в ее руках перебывали, поиграли в проворных и ловких пальцах все чайные блюдца и чашки, пылившиеся до этого на судной полке деревянные солоничка, толкушка, ложки, ковшик, и Степанида видела, что блюдца — это и есть блюдца, толкушка и есть толкушка, солоничка и есть солоничка... В углу стояли три ухвата, стояли они тут вчера, позавчера, позапозавчера — всегда стояли, но вот только сейчас она увидела, что они все разные: один большой, другой чуть поменьше, а третий еще меньше; первый предназначен для самого пузатого чугуна, рассчитанного на многосемейных, второй для чугуна средней величины, а третий для малого. Большой ухват — и Степанида только сейчас это заметила — поржавел, а черенок его покрылся какой-то зеленью, потому что до него не каса-

лись ее, Степаниды, руки с самых тридцатых годов. И до среднего ухвата дотрагивалась она не часто, только тогда, когда варила щи или кашу про запас, с тем чтобы хватило на несколько дней. Увидела она и горшки, расставленные кое-как на подоконниках, — сейчас же вымыла их и сунула в печь на просушку, вспомнив при этом и похвалив себя, что не отказалась от своего пая на корову, которую они держали с Катериной Ступкиной, — как теперь сгодится молочко! Земляной пол показался ей плохо побеленным — решила про себя, что к полудню непременно побелит его заново. А над окнами у нее появятся чистые занавески — она и забыла, что давно приготовила их, выгладила рубильником, но почему-то не повесила. Придирчивым глазом пробежала по всем углам, стенам, простенкам и там обнаружила непорядок: ходики давно остановились, оконце за кукушкой захлопнулось и не раскрывалось больше, потому что гирьки уперлись в лавку, а она, хозяйка, не догадалась их подтянуть, — теперь вот только быстро подошла и подтянула, подтолкнув пальцем маятник; кукушке, оказывается, недоставало первых его нескольких шагов, чтобы выглянуть из оконца и звонко прокуковать. Большое зеркало в другом простенке засижено мухами, а рушник, которым обрамлялось, запылился, красные петухи на нем были уже не огненно-красными, а какими-то бурыми и не могли веселить человека, ежели бы тот заглянул в Степанидину избу, — хозяйка тотчас сняла их и швырнула под лавку, где лежали ее юбки, приготовленные к стирке; зеркало хорошенько протерла мокрой тряпкой, убрала с него мушиную сыпь и украдкой погляделась, полюбовалась собой, слегка разрумянившейся и оттого похорошевшей...

Делая все эти дела, носясь по избе, она всякую минуту подбегала к зыбке, наклонялась над спящим ребенком, прислонивалась ухом к его грудке, слушала и, отпрянув, шептала: «Живехонек, дышит...».

Постояла посреди избы, вспоминая, что ей еще потребуется на первый случай. Колыбелька, корытце оцинкованное, распашонки, соска — все это есть... Ах, мыльца бы беленького, детского! Но где его сейчас добудешь?

И снова, как бы производя учет, стала осматривать вещи, находящиеся в избе.

В тот день она не могла надолго оставить того, кто тихо покачивался в люльке. Чистая, нарядная, празд-

ничио одухотворенная, взяла приемыша на руки и присела у окна. Сидела и нетерпеливо ждала, когда кто-то войдет — скорее всего это будет Феня — Степаниде очень хотелось, чтобы это была она! — придет и увидит ее, Степаниду, вот такую, сильную и гордую. Впрочем, пускай приходит кто угодно — теперь ей никто не страшен...

— Правда, сынок? — она чмокнула ребенка в сонные глазенята и рассмеялась.

Первым человеком, который заглянул к ней, была не Феня Угрюмова, а Матрена Дивеевна Штопалиха. По обязанности, возложенной ею на себя добровольно, каждое утро и каждый вечер с целью сбора свежих новостей она обходила все Завидово, заворачивая чуть ли не в каждый дом и к каждому колодцу, где сбивались, накапливаясь, бабьи гурты. Утренние сведения нужны были Штопалихе для того, чтобы поделиться ими с односельчанками во время вечернего обхода, а вечерние — для того, чтобы обогатить ими своих товарок при обходе утреннем. С годами к этим Матрениным обходам так привыкли, что уж, казалось, не могли и жить без них, особенно, конечно, женщины. Многие из них не дожидались, когда Штопалиха войдет в их двор, а сами, завидя из окна ее приближение, выбегали на середину улицы, хватали за рукав и, не в силах удержать в себе нетерпеливого любопытства, справлялись:

— Ну, что, что там, Дивеевна?

— Аль ты, Глафира, не слыхала? — в свою очередь, спрашивала, всплескивая руками, Штопалиха для того только, чтобы больше накалить пока еще не погашенное, не утоленное любопытство односельчанки.

— Ничего, — признавалась выскочившая за новостями, — откудова же мне?.. Я ить, Дивеевна, и на улицу-то не выхожу...

— Не слышала, значит?

— Ничегошеньки, Дивеевна! Ничегошеньки!

— Как же это? У Катерины Ступкиной ночесь бирюк последнюю овцу зарезал. Там слез-то, слез-то!.. Бедная! Правду сказывают люди: где тонко, там и рвется.

Так уж получалось, что Штопалиха была вроде бы живой, ходячей копилки новостей, которыми щедро делилась с односельчанами, и копилка эта не истощалась потому, что неутомимо изо дня в день обильно пополнялась. Словом, Штопалихиного появления на улице, на

дворе, у окон ждали, и она была желанной гостьей чуть ли не в каждом доме. Лишь в войну, когда она, упредив Максима Паклёникова, приносила в иную избу совсем нерадостные вести, ее побаивались так же, как и почтальона, и, завидя Матрену торопливо вышагивающей вдоль дворов, шептали: «Господи, хотя бы только не к нам!» И собаки кидались на нее с той же яростью, что и на Максима. Другой бы на месте Штопалихи сделал соответствующий вывод и не спешил нести в дом черную новость, когда это мог сделать другой человек по тяжкой служебной необходимости. Но Штопалиха есть Штопалиха: она и в этом случае не могла уступить кому-либо первенства. Навязавшись в добровольные помощники к Максиму, она вытряхивала из его сумки на широченный стол всю корреспонденцию и принималась потрошить ее, пока почтальон подкрепляется с дороги. Не успеет Паклёников дозавтракать, а в Завидове то на одной улице, то на другой подымается бабий крик — по улицам этим уже прошлась Штопалиха. Со временем Максим решительно отстранил Матрену Дивеевну от своих дел, рассудив: лучше все-таки, ежели одна и та же горькая весть войдет в чей-то дом один раз, чем дважды.

После войны Штопалиха с ее новостями стала опять крайне необходимой всем завидовцам. Ее снова ждали. И она двигалась по селу важная и торжественная, поскольку битком была набита разными историями, которые сейчас же будут поведаны любому, кто бы изъявил желание их услышать. А желающими оказывались без малого все завидовцы. От нее первой они узнали, например, что на десятый день после Победы вернулся домой Пишка и принес с войны только один глаз, а другой оставил где-то, что Архип Архипович Колымага прихватил на лесной тропе некую молодицу, кажется, Дашутку (это Штопалиха должна еще уточнить), с вязанкою дров и, сперва припугнув, весьма прозрачно намекнул ей, на каких условиях мог бы смягчить или же вовсе сменить свой гнев на милость, но получил неожиданно энергичный и дерзкий отпор, след которого еще долго оставался на Колымажьей физиономии. От нее же, Штопалихи, узнали люди, что в отличие от Пишки Санька Шпич объявился на селе с двумя совершенно невредимыми глазами, оставив там, на боевых рубежах, каких-нибудь два или три пальца от правой руки, — пришел не один,

а с каким-то незнакомым, который прозывается Виктором Лазаревичем Присыпкиным; что Артем Платонович Григорьев, то есть Апрель, после недавней смерти Прасковьи собирается жениться, сватался третьего дня к ней, Штопалихе, но она не торопится выходить за него — боится, поскольку все ее предшественницы (а их было три) отдавали богу душу на пятый или шестой год своего замужества; что близнецам Максима Паклёникова, Петьке и Ваньке, собираются посмертно присвоить звание Героя Советского Союза, — так что скоро Максиму и Елене привезут сразу две Золотые Звезды на память о сыновьях-героях; что к Аграфене Ивановне Угрюмовой, потому как она до беспамятства убивается о Григории, всякую ночь является летун (Штопалиха собственными глазами видела, как он снопом искр рассыпается на угрюмовском дворе), и Аграфена разговаривает с ним, будто с сыном, до тех пор, пока Леонтий Сидорович не выйдет на крыльцо и не прикрикнет на жену; что днями следует ожидать денежной реформы (эту новость Матрена почему-то прежде всего принесла в дом лесника и повергла сурового Архипа Архиповича в крайнее смятение); что в городах вот-вот отменят карточки и на продукты, и на промышленные товары, на обувку — перво-наперво, добавила рассказчица; что в германском городе (назвать его Штопалиха не решалась, поскольку язык ее не справился бы с такой трудной задачей) судят главных военных преступников, но самого заглавного главаря ихнего, Гитлера, не нашли, потому как он «навроде» на подводной лодке на дне морском укрылся; что Антонина Непряхина в отместку мужу родила ему чужую дочь, — теперь в доме Тишкином какой уж день идет война; что к Авдотье Степановне восейка приезжала тетенька Анна, гостила три дня и все три уговаривала, чтобы она, Авдотья, смирилась, оставила своего сына Авдея и Фенюху Угрюмову в покое, не мешала их любви, но Авдотья не послушалась совета старой своей подруги, неласково спровадила ее из своего дому; что на хуторе задохнулась в своем погребе старая Антипиха, — одни говорят, нечистый ее там прикончил, грехов-то много у старухи, другие сказывают, что гас, нефта объявилась под Завидовом и вышла наружу в Антипихином погребе...

Обо всех этих и о других событиях, больших и малых, важных и ничтожных, рассказывала Штопалиха. Слу-

чаи, когда бы ее сведения не подтверждались, были редки. Однако новость, какую Матрена Дивеевна вынесла однажды из дома Степаниды Лукьяновны Луговой и распространила по селу с быстротой прямо-таки непостижимой, показалась завидовцам совершенно неправдоподобной. В самом деле, можно ли поверить, чтобы Степанида, эта тихоня, эта нелюдимка, эта недотрога, эта набожница, часами простаивавшая на коленях перед горящей и днем и ночью лампадой, — чтобы она прижила младенца, проносила его в своей утробе все девять месяцев тайно, никем, даже самой Штопалихой, не замеченная и минувшей ночью благополучно разрешилась им?!

— Неужто не верите? — обрушив на первую же бабью стоянку ошеломляющую эту новость и видя недоверие в глазах женщин, воскликнула Матрена, крутясь вокруг своей оси, поворачиваясь пылающим лицом то к одной, то к другой пораженной слушательнице... — Как бы вы думали, от кого бы это она? — И, не ожидая ответа, заверила: — Все одно выведаю, разнюхаю. От меня не скроешься! — Зеленые глаза Штопалихи горели сатанинским огнем, так что поневоле поверишь, что от них никто и ничто не сможет схорониться.

— Можа, кума, ей подкинули ребеночка-то? — неуверенно предположила Катерина Ступкина. — Не похожа Стешка на блудную-то бабу. Это, чай, не Соловьева.

Матрена Дивеевна метнула в сторону Катерины гневный взгляд, кривая усмешка пробежала по ее лицу:

— Тебе бы, кума, не Ступкиной, а Заступкиной надо прозываться... «Подкинули»! Скажешь еще!.. Я, милая, сама спрашивала: «Чей, — говорю, — у тебя, Стеша, ребеночек-то? Не в няньки ли к Машухе Соловьевой панялась?» — «Нет, — говорит, — Дивеевна, моя кровинка...»

— Так и сказала?

— Так, так, милые. Штопалиха врать не будет. Может, я уж из веры у вас вышла? — И Матрена обиженно поджала губы, лицо ее сделалось вдруг постным.

— Да ты не гневайся на нас, Дивеевна, — пыталась поправить свою промашку Катерина Ступкина, — новость-то больно уж такая...

— Какая уж есть... — сурово заметила Штопалиха, все еще хмурясь, как хмурился бы человек, который вместо заслуженной им благодарности получил нагоняй.

И понять Штопалихину обиду можно, потому что поведала она сущую правду, то есть не то чтобы правду,

а честно повторила чужую ложь. Дело в том, что Степанида не пожелала сказать Штопалихе, что ребенок подкинут, что подобрала она его глухою ночью у своего порога, — ей, Степаниде, поначалу казалось, что будет лучше, для ребенка лучше, если она выдаст его за своего и будет придерживаться этой версии всегда, до конца дней своих. Но потом передумала: скажет правду, как оно все есть, зачем навлекать на себя напраслину, развязывать по доброй своей воле чужие языки, и без того немало потешившиеся над ее бедой.

В тот же день, сопровождаемая Феней и Настенькой Вольновой-Шпичихой, взятых в качестве свидетельниц, Степанида пришла в сельсовет, решительно приблизилась к секретарю и положила прямо на его письменный стол живой сверток. Потребовала:

— Регистрируй. Теперь он не подкидыш, а мой сын. Выписывай на него метрику.

Узнав от приемной матери и ее свидетельниц подробности, секретарь спросил:

— Как назовем твоего крикуна?

— Гриня... Гринька... Григорием! — заторопилась она.

— Мне все едино, Григорием так Григорием, — сказала секретарь. — Готовь угощенье, приду на крестины.

— Приходи. Рада буду! — сказала Степанида, прямо и смело глядя в веселые глаза секретаря.

Так в Завидове объявился еще «мамкин» — не сынок, а сын. Он пришел в этот мир и не знал, не ведал про то, что вместе с его появлением навсегда исчезнет с лика земли робкая, замкнувшаяся в себе, всех сторонившаяся и всех боявшаяся женщина по имени Степанида, а вместо нее будет двигаться по селу, гордо подняв голову и выпрямив стан, смелый, независимый, бесстрашный человек. И гордая ее осанка станет еще более гордой и осанистой, а ожившие глаза станут еще живее, когда однажды она услышит впервые выговоренное «ма-ма...».

Продолжение следует



НАВСТРЕЧУ VI ВСЕСОЮЗНОМУ СОВЕЩАНИЮ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

ПОЭЗИЯ

В журналах и газетах появляются все новые и новые поэтические имена. В них легко заблудиться. Многие молодые подают надежды, многие умеют лучше или хуже рифмовать. Но бывает так, что едва прочтешь стихотворные строки, как их авторы сразу же забываются. Остаются в памяти единицы. Те, у кого есть что сказать, чей поэтический язык пусть пока не очень ровен, но точен по чувству.

Таким необщим выражением лица отличается, на мой взгляд, Валерий Левенко. Изведав уже горечь расставаний и тяжесть дорог, он тем не менее заявляет:

Я так решил, явясь на свет:
Я пригласил себя на праздник.

Что же это за праздник? Вот стихи о друге:

Любая часть земли и неба,
Пускай обжитая давно,
Но, если ты еще там не был,
На карте — «белое пятно».

Жизнь для Левенко прежде всего праздник дальней дороги и трудного дела, праздник мужества, праздник любви... Мне кажется, что в его стихах уже ощущается свой почерк.

Конечно, поэтическую судьбу Валерия Левенко еще определят годы, бессонные ночи, поиск. Но начало доброе.

Лев ОШАНИН

Валерий ЛЕВЕНКО

* * *

Что за алый закат!
Словно флаг состязаний
соскользнул на траву,
тихо отшелестев.
Молча смотрит отец,
но другими глазами:
самолетом горящим солнце рухнуло в степь.
Это разница лет.
В Завтра нашей планеты
юность смотрит сквозь дымку,
опыт смотрит сквозь дым...
Это разница судеб.
И по разным приметам
жизнь добрей к молодым
и суровей к седым.

КЕРЧЕНСКИЕ БУЛЫЖНИКИ

Веками вытертый до глянца
массив портовых мостовых —
так спины грузчиков бугрятся
узлами мускулов литых!
Здесь,
у подножья Митридата,
прикрыли камни
грудь земли...
Оружьем пролетариата
их
справедливо нарекли.
Над ними,
словно клич атаки,

листовки реяли,
легки,
где восклицательные знаки,
как занесенные клинки!
А в зной
булыжники гудят...
Над ними марева дрожанье,
как будто жаркое дыханье
непобежденных
баррикад.

Я собирал
свою коллекцию —
дороги, ветры собирал.
И, словно финишную ленточку,
я горизонт летящий рвал!
Спешил.
Охотился запальчиво,
приобретений не итожа,
да,
и за солнечными зайчиками.
Но и за молниями
тоже.
Под звон мяча и плеск весла
тужить подолгу мог едва ли,
и если плакал, то со зла,
когда смеяться не давали.
Знал:
разлетится безмятежье,
когда открытье вдруг проймет,
что молод вечный мир,
как прежде.
И только я уже не тот.
Я зубы стискивал.
Смеялся.
Меня душил сомнений дым.
И лишь в одном не сомневался —
что был
и буду
молодым.

О ДРУГЕ

Любитель воли и дорог,
но не летун и не повеса,
он Север вдоль и поперек
изъездил ради интереса.
Жалеет: «Мало дней в году!»
И сколько раз,
шальной и ловкий,
он прыгал ночью на ходу.
А поезд шел без остановки...
Зимой в лесу, сжимая нож,
он шел на зверя, страх отринув.
Скользил на сходнях с грузом в дождь.
И пот смывал водой Гольфстрима.
Ворчит, тревожась, отчий дом,
не понимая юный гонор, —
ну что в моря упрямца гонит?
А парень убежден в одном:
любая часть земли и неба,
пускай обжитая давно,
но, если ты еще там не был,
на карте — «белое пятно»!

* * *

Люблю далекую езду —
подножка поезда,
как стремя!
Но тяга к отчему гнезду
на расстоянье все острее...
Как кедр и ель
в часы метели,
серебряны отец и мать.
Ну где такое солнце взять,
чтоб снова
волосы чернели?!

Я б сорняками вырвал дни
из поля памяти встревоженной,
когда юнцом неосторожным
я нарушал покой родни.
За мною тянутся, как связь,
лучи надежных глаз и окон,
и я не буду одиноким,
пока она
не прервалась.





ПОЭЗИЯ

Николай КУТОВ

ЗЕМЛЯ МОЯ БЫЛИННАЯ

Не жаль, что запорошена
Тропа метелью белою,
Не жаль, что много прожито,
А жаль, что мало сделано.

Земля моя былинная:
С Байкалом, с Доном, Волгою,
Дороги очень длинные,
Жаль, жизнь не очень долгая.

Но не стареет Родина —
Страна моя весенняя.
Глядит всегда вперед она
Без робости, сомнения.

И день свой видит будущий
В сегодняшнем, стремительном,
И в праздничном, и будничном,
В огнях, лесах строительных.

Страна с другими странами
В согласье жить старается,

Морями-океанами
От них не отдаляется,

Идет навстречу дружеству
И верит в годы лучшие.
Другие страны мужеству
У нас недаром учатся.

* * *

В месяце на потепленье не щедром
Вдруг донесутся, словно во сне,
С дальней Атлантики дующим ветром
Первые вести о новой весне.

Станут капели считать торопливо
Дни до еще недоступной поры,
Той веселящей, когда над заливом
Вспыхнут зажженные солнцем костры.

Так через годы в метро, на лужайке,
В лайнере, в доме услышится вдруг
В донце чернильницы-непроливайки
Перышка тихий, прерывистый стук.

Снова увидятся парты-скамейки,
И за окном трепетунья-листва,
И на тетради в косую линейку
Самые первые в жизни слова.

РОВЕСНИКИ

Тогда по двадцать было им всего,
Но, хоть и кратки были их пути,
Им времени хватило для того,
Чтоб юными в бессмертие уйти.

Им времени хватило, чтоб прикрыть
Россию от жестокого огня,

Им времени хватило, чтоб пробить
Броню, хоть и была крепка броня.

Им времени хватило для того,
Чтоб смерть послать пирату-кораблю,
Но не хватило, может, одного
Мгновенья, чтоб успеть сказать: «Люблю».

И многое осталось за чертой,
Которой им не перейти уже,
За безымянной взятой высотой,
Сраженьем на последнем рубеже,

За вырытым лопатой второпях
Окопом в твердокаменной земле,
За братскими могилами в степях,
За хатами в покинутом селе.

И новые давно пришли года,
И юноши, не знавшие беды,
И родились повторно города,
И зацвели по-прежнему сады.

И снова мирно голубеет высь,
И снова за пределами смертей
Пути моих ровесников сошлись
С путями смелых молодых людей.

В ЗАПОВЕДНИКЕ МАЛЫЕ КАРЕЛЫ

Я смотрю и не насмотрюсь
На постройки с резными извивами.
Родила их мужицкая Русь,
Это дети ее молчаливые.

Сколько им ни исполнится лет,
Для страны так детьми и останутся.
Не от них ли и тянется след
К звездолетам и атомным станциям?

В нас Россия, что вечно жива,
С электричеством, избами, кранами,
Не хотим забывать мы родства,
Быть непомнящими Иванами.

С веком дальним здесь рядом наш век,
Где живем мы порою так буднично.
Вижу Русь, слышу скрипы телег,
Ощущаю связь прошлого с будущим.

Навсегда остается любовь,
Наша первая и последняя.
Невозможна без прошлого новь,
Невозможна и жизнь без наследия.

Погибают стволы без корней,
Оттого и враги наши злобные
Так хотят, чтоб как можно скорей
Мы забыли свои родословные.

С новью связана старина,
С нами связаны рощи и пажити.
Русь ушла, но осталась она,
Словно детство, в народной памяти.

И осталась к друзьям доброта,
И суровость к врагам, и бессмертная,
Возвышающая красота.
Радость буйная, грусть ее светлая.





ТОВАРИЩ

журнал в журнале

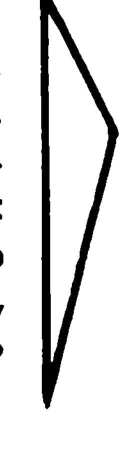


В РАБОЧЕМ СТРОЮ

В ТОТ ВЕЧЕР актовый зал Горьковского областного Дома ученых заполнили десятиклассники. Тема вечера увлекла всех: выступавшие, «интересные люди города» (так о них было сказано в афишах перед входом), говорили о выборе профессии, предлагали завтрашним выпускникам присмотреться к той, в которой нашли себя сами. И вот на сцену шагнул паренек с ежистым, скошенным набок чубом и начал неловко, теряясь несколько перед большой аудиторией, но, однако, и без предисловий с того, что заводу, на котором он работает, требуются токари, а дальше — о себе, о своей профессии, о станках с программным управлением, которые из-за нехватки рабочих рук не расконсервированы, о механизированных линиях, полностью не загруженных. Так ли его поняли в зале? Он не просто приглашал — для него, токаря судомеханического цеха завода «Красное Сормово» Вячеслава Жоголева, нехватка рабочих-станочников — проблема наболевшая и потому первостепенная.

О «ТОКАРНОЙ ПРОБЛЕМЕ» Жоголев заговорил и со мной в первый же день знакомства в заводском комитете комсомола.

— Толкую как-то с пацаном, — вспоминал Вячеслав. — Малолеток еще — так класс, наверное, в шестой ходит. И вдруг он мне заявляет: учительница сказала, что если он и дальше будет плохо учиться, ничего путного из него не выйдет, будет всю жизнь у станка стоять. Представляете?! Раньше пугали: дурака валять будешь — пойдешь коров пасти. Нынче вперед шагнули — «у станка стоять»!.. А послушали бы стариков наших — как раньше было. Вот, говорят, идет по Сормову токарь — со всех сторон ему уважение, люди с ним по имени-отчеству здороваются. Сам же токарь гордится своей профессией, и штангель в нагрудном кармане спецовки, словно отличительный знак, носит. Вот и у этого пацана отец всю жизнь за станком, уважаемый на заводе человек, а где «яблочко» его упадет — верно, еще не задумывался... Как-то был на приеме в нашем ПТУ. Всякого наслушался. Даже такого: мол, зачем в токаря идти, когда, например, слесарем легче? Понятно, работа моя из строгих, от станка не отойдешь — это знает всякий петеушник. Да не всякий знает, *какая* она — в деле профориентации иной раз школы еще так беспомощны! *Какая* она? Это просто так не понять, для этого нужно «в душу» профессии заглянуть, а это не сразу дается, по себе знаю. Но уж если увидел, понял — считай, на всю жизнь прикипел...



НО ЭТО ОН ТЕПЕРЬ так говорит. А было время — жил еще у себя в Красноселове и о профессии токаря ни полстолько не знал. Отец мог показать, как валенки свалять, как бочку сработать, конек на крышу или наличники вырезать — отец считался по деревне мастером на все руки, а вот о токарном деле понятия не имел. Но досталось от отца главное — часто говаривал, когда брался за какое-нибудь дело вместе с сыном Славкой:

«Тупым топором обкрошишь, а не обтешешь».

«Тупой серп руку режет сильнее острого».

То есть, по-своему, из опыта деревенской мудрости исходя, учил парня главному: дело выбираешь — не спеши, примерься как следует, приценись, чтоб после за ошибку свою не казниться, а уж выбрал — в деле том мастером стань.

Когда приезжал домой из Горького — в отпуск или так, при случае, на выходные дни — старший брат Геннадий, другие разговоры слышались в семье Жоголевых. Геннадий работал токарем и о профессии своей говорил с гордостью. Отслужив в армии, Геннадий, однако, в отцовском доме остался, встал за старенький токарный станок в колхозной мастерской — взяла в нем верх «сельская жилка». В город поехал Жоголев-младший.

По приезде в Горький Вячеслав Жоголев устроился на завод. Тогда же он поступил в Горьковский индустриальный техникум на вечернее отделение по специальности — обработка металлов резанием. Отцовские уроки помня, принялся учиться ремеслу обстоятельно и серьезно.

Выполнять нормы он начал уже на третьем месяце работы.

В 1971 году, вслед за старшим братом отслужив в армии, пошел на завод «Красное Сормово» — завод, с которым отныне судьба его связана накрепко.

Здесь получил Вячеслав третий разряд токаря. Потом — четвертый. Четвертую ступеньку от третьей отделяло всего два года... но каких! Научился брать заготовку, что называется, внахват — применяя свою технологию обработки; резец, заточенный с трижды обдуманным тщанием (батькина закваска!), горячил в работе не только болванку, зажатую в суппорт, — в нем самом жило уже, не затухая, испытанное им в самостоятельной работе волнующее кровь чувство превосходства его, человека, над металлом. Словом, то ли талант открылся у Жоголева к токарному делу, то ли просто сказалась семейная традиция — одно понял он крепко: есть профессия токаря и есть токарь Жоголев, и с этой профессией шагать ему всю жизнь.

— Главное — любить надо свое дело. Чувствовать, что оно твое призвание, что именно в нем ты можешь проявить себя до конца. Тогда все будет получаться...

НО ПРЕЖДЕ ЧЕМ Жоголев смог сказать это, дав тем самым понять, что он и профессия неразделимы, ему пришлось четко определить свое место в ней.

Когда делегат XXIV съезда партии, Герой Социалистического Труда, бригадир слесарей-монтажников А. П. Удалов вернулся из Москвы к своим сормовичам, его обрадовали: бригада и в его отсутствие ежедневно перевыполняла сменные задания на 40—50 процентов.

— Я знал, что так оно и будет, — сказал Удалов. — Мы ведь —

бригада. Но, товарищи, требование времени таково, что сегодня надо работать хорошо, а завтра еще лучше. Будем искать резервы. Где! Можно, конечно, искать их в освоении новых производственных мощностей. Но я предлагаю внимательно оглядеться вокруг. То, что имеем, полностью ли используем! Вот и давайте поищем, подумаем, подсчитаем, спланируем наперед.

Так на «Красном Сормове» родилась идея разрабатывать личные планы-графики на всю пятилетку и раздельно на каждый год. Идею поддержали сварщики бригады Героя Социалистического Труда В. В. Пайщикова. Предложения были подкреплены конкретным расчетом. Новаторы пришли к выводу, что пятилетнее задание можно выполнить за три года.

Поддержав почин коммунистов А. П. Удалова и В. В. Пайщикова, 75 комсомольцев-сормовичей выступили с призывом ко всем молодым рабочим завода выполнить свои личные пятилетки к 100-летию со дня присвоения комсомолу имени Ленина. Одним из первых среди этих ребят был Вячеслав Жоголев.

Естественно, видя желание молодого рабочего трудиться с наибольшей отдачей, коллектив оказал парню поддержку. Над составлением личного пятилетнего плана токаря Жоголева работали инженеры, экономисты, много дельного подсказали Вячеславу старшие товарищи по профессии. План необходимо было составить с таким расчетом, чтобы токарь мог работать постоянно с положительным коэффициентом напряженности, то есть изо дня в день производительность труда станочника должна подниматься по нарастающей, по мере изыскания все новых резервов, в чем опять-таки помогали Жоголеву и мастер участка, и инженеры КБ, когда он искал для резца оптимальную геометрию заточки, и инженеры-технологи, когда он приходил «обсоветовать» свой вариант технологии обработки тех или иных деталей.

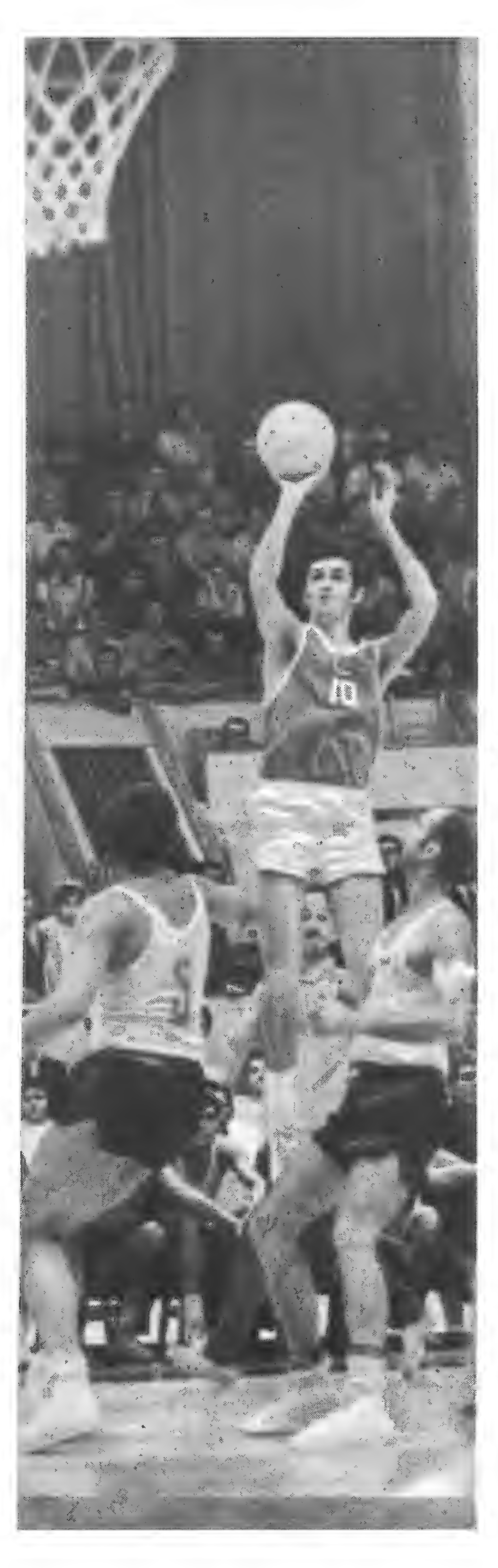
Первые 75 комсомольцев-сормовичей, работавшие по личным пятилетним планам, были сведены в «Ударный отряд девятой пятилетки». Движение ударников ширилось — все новые энтузиасты приходили в отряд. На заводе был создан штаб отряда, выработан устав, наладилась работа по пропаганде опыта лучших, во всех цехах комсомольцы установили стенды, на которых в графиках, в таблицах отражался рост производительности труда каждого члена ударного отряда и подсказывались новые возможности для ее повышения.

Активно помогал штабу отряда и словом и делом, много занимаясь с молодыми токарями, Вячеслав Жоголев. С этого первого партийного поручения начался как бы новый и более богатый этап в его жизни. Своим отличным трудом Жоголев помогал расти заводу. Завод бережно помогал расти ему самому.

В январе 1973 года он в числе других зачинателей соревнования был удостоен премии Горьковского обкома комсомола, а в ноябре того же года ему присвоили высокое звание лауреата премии Ленинского комсомола.

Это было выражением признания за молодым рабочим того места, которое он нашел и трудом своим завоевал, — своего места в общем рабочем строю.

Б. МОЛЧАНОВ



ДВАЖДЫ ЧЕМПИОН

КОГДА СОВЕТСКИЕ баскетболисты в 1952 году впервые отправились на Олимпийские игры, Сереже Белову едва исполнилось шесть лет. В своем таежном селе Нащекино он и знать не знал, что есть такая увлекательная игра — баскетбол. Это потом уже, в Томске, откроет его для баскетбола ныне заслуженный тренер РСФСР Георгий Реш, это потом, значительно позже, чем могла бы, придет к нему мировая известность в спорте... В Хельсинки, на первой для со-

Атакует Сергей Белов.

ветских спортсменов Олимпиаде, начинали другие — Отар Коркия, при своем «карликовом» росте 190 сантиметров признанный тогда лучшим центровым, Иван Лысов и Казис Петкявичус — виртуозы, артисты от баскетбола, Евгений Алексеев, Ильмар Куллам, Стяпас Бутаутас, ставшие впоследствии замечательными тренерами.

Но как-то не пошла игра с того, пятьдесят второго года в нашей сборной команде... Менялись составы ее, «первопроходцев» сменяли мастера, ни в чем не уступавшие им, а возможно, и превосходившие по игровым качествам (ведь развивался и сам баскетбол!), менялись адреса олимпийских площадок, арена борьбы переходила с континента на континент, а результат оставался все тем же. В Мельбурне и Риме, в Токио и Мехико на пути советских баскетболистов неизменно вставали американцы, и всякий раз олимпийское золото доставалось им.

Попробовать его «на зубок» довелось лишь Сереже «со товарищи»... Впрочем, к мюнхенской Олимпиаде Сережей он оставался лишь для близких. Офицер Советской Армии Сергей Белов к тому времени успел стать заслуженным мастером спорта, чемпионом мира, четырехкратным чемпионом СССР и трехкратным Европы, признавался лучшим игроком на первенстве мира 1970 года и... едва ли не ходил в ветеранах. Авторитет его и в ЦСКА, и в сборной страны был непререкаемый. Как-то раз в беседе с комсоргом нашей сборной Нелей Ферябниковой я спросил, кто ее коллега в мужской. Не сумев сразу вспомнить, она решила прийти к ответу, так сказать, логическим путем. А логика оказалась простой: «Минуточку... Капитаном стал Модестас Паулаускас. Ага, значит комсоргом — Сергей Белов... Кто же еще?»

Неля не ошиблась. Бывают спортсмены талантливые и очень талантливые. Эти двое — Модестас и Сергей — из последней категории. Именно они и возглавили нашу олимпийскую сборную, вывели ее на решающий бой с американцами — бой, который должен был решить спор, длившийся два десятилетия.

Посмотрите, как играет Белов, когда его команда ведет в счете. Его и не сразу заметишь. Передвигается еле-еле, расслабленно, всем своим видом показывая: «Ну зачем я на площадке, ну что мне тут делать?..» Нет, не демонстративно показывая, просто не в силах скрыть истинных чувств. И как он преображается, когда команде становится трудно. Идут, не идут броски — этих понятий для него не существует. Он знает одно: если надо, чтобы они шли, — д о л ж н ы идти. Ломает себя, ломает «невезение», ведет за собой товарищей, пока не добьется перелома. Он еще и упрям, этот игрок, у него много азартной злости. А поскольку и умения и таланта у него не меньше, на площадке Белову удается в с е.

Правда, мало кто знает, что стоит за этим «удается». Лишь свердловчане постарше помнят, как упрямо пытался пробиваться сквозь лес их рук шестнадцатилетний парнишка, игравший за взрослую команду, как доставалось при этом его собственным рукам — слезы на глазах выступали, но в следующем матче все повторялось сначала... Лишь друзья-армей-

цы знают, кто позже всех покидает зал ЦСКА после тренировок: это их капитан бросает дополнительную «порцию» штрафных...

Сергей был непосредственным участником поистине драматического финала в матче СССР — США в мюнхенском «Баскетбалхалле» в ночь с 9 на 10 сентября 1972 года. Хотя последнюю точку поставили его товарищи — московский армеец Иван Едешко и ленинградский спартаковец Александр Белов, Сергей внес львиную долю в победу на том историческом матче. Вот слова Александра Болошева, сменившего Сергея на посту комсорга сборной: «А что Сергей? Его двадцать два очка, забитых американцам, говорят сами за себя». А сколько таких вот «трехсекундок», как в игре с американцами, было в богатой биографии Сергея прежде, он и сам не помнит.

Можно рассказать о случае, как две капли воды похожем на мюнхенский. В чемпионате страны 1971 года команды ЦСКА и ленинградского «Спартака» финишировали, что называется, голова в голову. Для выяснения чемпиона потребовался дополнительный матч. Он состоялся в Тбилиси. У армейцев накануне был труднейший поединок на Кубок европейских чемпионов. Его они выиграли, но он-то едва-едва и не стал для команды пирровой победой.

Считанные секунды оставались до финального свистка, на очко впереди шел «Спартак». Иван Едешко — настоящий специалист по «сногсшибательным» передачам — дал дальний пас Сергею Белову. Но и ленинградцы были начеку, они оставили Белову только неудобный угол, к тому же перед ним встали два игрока. Но Сергей прыгнул, бросил и... И капитан ЦСКА вновь вывел свою команду в чемпионы.

Ну а как же те, ставшие уже далекими три секунды, которых не забыть ни Сергею, ни его товарищам по олимпийской сборной и которые сломали традицию, поменяв наконец местами на олимпийском пьедестале сборные СССР и США?

— Собственно, правильнее вести речь не о трех, а примерно о тридцати восьми секундах, — рассказывает Сергей Белов. — Ибо как раз на этой отметке создалось критическое положение в игре: мы все время вели, а тут Джим Форбес удачным броском сократил наше преимущество до минимума — счет стал 49 : 48. Мяч был у нас, но владеть им можно лишь тридцать секунд, потом надо атаковать. Мы начали розыгрыш. На площадке, кроме меня, играли Саша (Белов), Жар (Алжан Жармухамедов), Сако (Зураб Саканделидзе) и Модя (Модестас Паулаускас). Секунд за двенадцать до финального свистка Саша бросил по кольцу и промахнулся... Но все бы ничего, ибо он сам же и подобрал мяч, и отсчет времени начался заново. Но его пас, адресованный Сако, перехватили американцы, а до конца игры — секунд восемь. И это тогда, когда мы уже уверовали в победу... Впрочем, возможно, именно это и подпортило нам концовку. Что пережил я, товарищи, а главное, сам виновник ошибки, мой однофамилец, — трудно себе представить... Кстати сказать, я был совершенно уверен, что пас он отдаст мне, ума не приложу, как это у него получилось... Когда Зураб сфолил, а ему ничего не оставалось делать, так как Коллинз подходил к кольцу, у нас еще оставалась надежда, что американец про-

мажет хотя бы один штрафной. Но, увы, хладнокровный Коллинз развеял ее: сборная США вышла на очко вперед, а до конца матча оставалось три секунды — те самые... Вот тут-то, наверное, заменивший Алжана Едешко и вспомнил свой «тбилисский» пас. Через всю площадку почти по диагонали пролетает выпущенный им, будто из пращи, мяч и достигает адресата — Александра Белова. Остальное хорошо всем известно.

Последнее семилетие Сергей Белов был не только бессменным участником всех без исключения ответственных матчей и своей клубной, и сборной команд, но и признанным лидером обеих. В 1967 году советские баскетболисты впервые выиграли звание чемпионов мира. Среди них был тогда еще новобранец сборной Сергей Белов. Через три года сборная довольствовалась званием бронзовых призеров, однако самый почетный приз турнира в Любляне получил Сергей, признанный лучшим игроком чемпионата.

В 1967, 1969 и 1971 годах наши баскетболисты первенствовали в Европе. И вновь самую большую лепту в их успех вносил Сергей Белов.

И вот последние события. С волнением ждали мы сообщений из далекого Пуэрто-Рико. С волнением еще и потому, что знали: немного шансов повторить свой успех семилетней давности у нашей обновленной едва ли не наполовину сборной, имевшей в составе лишь двух высокорослых центровых, тогда как у американцев что ни игрок — гигант (средний рост команды 198 сантиметров).

Но не думал не гадал Белов, что едва ли не самое трудное испытание на последнем чемпионате выпадет именно на его долю. Перед самыми ответственными матчами он получил серьезнейшую травму колена, травму, с которой в обычных условиях укладывают в постель. Но Сергей еще никогда не поддавался слабости. Да и условия были необычными...

Поначалу казалось, что худшие наши опасения оправдываются: сборная СССР проиграла югославам. Все решал матч с американцами. Нам нужна была победа — выигрыш с разницей более четырех очков. Читатели знают, что наши ребята «перевыполнили норму», триумф их был полным и безраздельным.

А Сергею было трудно. Травма давала о себе знать, но надо было играть, все ждали от него прежде всего результата. Но пусть на этот раз обычную «беловскую норму» выполнял его товарищ Александр Сальников, Сергей оставался на площадке маяком для остальных. Не случайно он выходил вместе с самыми молодыми — новобранцами сборной. Он играл на других, играл на команду. Так что вторая золотая медаль чемпиона мира (этим могут похвастаться еще лишь двое: Модестас Паулаускас и Прийт Томсон) вручена была Сергею по достоинству. Наставник чемпионов Владимир Кондрашин потом сказал: «Сергей проявил настоящее мужество. Честь и хвала ему...»

Да, мало кому из спортсменов выпадало на долю столько почестей и наград. Сергей имеет орден «Знак Почета». Но, право, если бы в мирные дни награждали орденом Славы, он был бы его достоин.

Символично, что тот самый люблянский приз назывался Кубком славы...

В. ПУГАЧЕВ

Человек, который арестовал Каэтану

Вот уже более пяти месяцев внимание всего мира приковано к событиям в Португалии. Самый «старый» фашистский режим в Европе, который благополучно перенес крушение своих кумиров — Гитлера и Муссолини, рухнул в течение одной ночи. Прогнивший, разложившийся режим свергли сами португальцы — армия, которой в дни восстания руководили молодые офицеры.

Сегодня мы хотим познакомить читателей с одним из них. Рассказ о капитане Майа подготовлен по сообщениям зарубежной прессы.

ЕМУ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ год, он чуть выше среднего роста, хорошо сложен и мускулист, у него серые глаза и русые волосы. Над правым карманом униформы капитана — пластмассовая табличка с именем: Салгейро Майа. Над левым карманом — золотистая эмблема танковых войск. Капитан Майа был первым, кто в ночь на 25 апреля во главе 160 солдат нанес удар прогнившему фашистскому режиму. Его популярность еще не достигла апогея: сравнительно мало людей знают о его роли в ту ночь.

Сейчас он находится в казармах бронетанковой школы в Сантарене, что в 70 километрах от Лиссабона, и встреча с ним состоялась без всякого труда. В беседе с журналистами Майа рассказал о фактах, которые еще не были известны мировому общественному мнению.

Он говорит спокойным, твердым голосом; в его поведении и интонациях чувствуется мужество человека, который участвовал в исторических для своей родины событиях с полным пониманием их важности. Можно догадаться, что этот молодой капитан, ветеран африканских войн, был избран для выполнения ответственной задачи не только из-за своей отчаянной смелости, но и потому, что он интеллигентен и прекрасно разбирается в политической ситуации. После знакомства с ним нельзя не прийти к выводу, что, к счастью, позорная война в Африке не всех молодых офицеров успела превратить в головорезов.

Майа почти дословно передал свой разговор с бывшим руководителем правительства Марселем Каэтану, когда, чтобы заставить правительство сдаться, в три часа дня он подвел свои части к дворцу Кармо. Один из адъютантов Каэтану сказал Майа, что Каэтану разговаривает с генералом Спинолой. Но Майа не без основания решил, что это

не более чем уловка — желание оттянуть время. Отстранив адъютанта, он вошел к Каэтану, который торопливо сказал: «Капитан, прошу вас поверить мне. Я знаю, что мое время истекло. Еще утром я хотел передать власть генералу Спиноле. Но командир республиканской национальной гвардии не исполнил моего поручения...»

— Господин министр, — сказал Майа, — прошу вас следовать за мной и моими людьми. Мы гарантируем вашу личную безопасность. У ворот дворца вас ждет бронетранспортер.

— Надеюсь, вы отнесетесь ко мне с уважением, которого требует мой пост...

— Можете не беспокоиться за себя. Наше революционное движение ставит себе целью спасти страну, ему не нужны кровь и террор.

— Вы кажетесь мне честным молодым человеком. Знайте, что я делал для страны все, что было в моих силах. Себя мне упрекать не в чем...

— Не пытайтесь обманывать сами себя. Всем известно, что Португалия стоит на краю пропасти. Присмотритесь — народ предельно устал от войны, от голода...

— Капитан, скажите, кто ваш руководитель? Сегодня вы мне уже можете сказать.

— Не знаю. Мы выполняем указания группы из семи офицеров, которые подписываются общим псевдонимом «Оскар». Мы полностью доверяем им.

— Каковы ваши политические идеи?

— Восстановление свободы и демократии в Португалии.

— А что будет с заморскими территориями? Уйдете ли вы из Анголы и Мозамбика?

— Подробности программы мне пока неизвестны. Но прошлого повторять мы не будем.

Капитан Майа имел в виду события 1962 года, когда Индия заставила португальцев пережить позор унижения, буквально вышвырнув угнетателей из их последних колоний на индийской земле. А это, в свою очередь, оказало огромное влияние на сопротивление борцов Анголы и Мозамбика.

Вскоре после захвата дворца в него прибыл генерал Спинола. При входе в Кармо он встретил капитана Майа, который в это время давал распоряжение своим солдатам направиться к зданию главного управления политической полиции, бывшему ПИДЕ, откуда велась стрельба. Генерал стиснул его руку и потрепал по плечу. Указав на двух сопровождавших его офицеров, он сказал: «Эти ребята из Була, они тоже пели песни...»

В Була, небольшом городке Португальской Гвинеи, капитан Майа служил под началом генерала Спинолы. В день праздника танкистов капитану Майа могло угрожать суровое наказание: он с группой солдат пел «пораженческую» песню. Майа рассказывает: «Выпили в тот день мы немного, но когда один из нас взял гитару, всех охватила страшная тоска по родине...» От наказания его спас генерал Спинола, сказав: «Пели все, виновных здесь нет».

День 25 апреля тоже начался с песни. Это была песенка «После прощания», которую Пауло Карвало исполнил на фестивале, передававшемся по Евровидению. В 22.55 диктор Лиссабонского радио сказал: «Осталось еще пять минут до двадцати трех», и началась песня. Это был первый сигнал, которого ждали сторонники Спинолы. Он должен был дать знать, что операция начнется, как было запланировано.

В Сантарене капитан Майа,

дождавшись сигнала, начал действовать. Первым делом он обратился к подполковнику, начальнику бронетанковой школы: согласен ли тот примкнуть к восставшим? Подполковник отказался. Капитан отдал приказ заключить его под стражу. Тот же вопрос Майа задал его заместителю майору Коста Фрейра. Тот сразу же согласился и начал разработку оперативных планов.

Точно в 00.30 пришел второй сигнал — все идет как надо, все оперативные условия подготовлены. Настал момент, после которого поворачивать было поздно... Сигналом послужила песенка «Грандола, смуглый городок», в которой говорилось о земле, где царит братство.

Капитан Салгейро Майа дал сигнал будить курсантов школы и выстроить их во дворе казармы. Им прочли прокламацию Движения вооруженных сил. В ней говорилось, что те, кто не хочет присоединиться к движению, должны просто оставаться на своих местах и не мешать развитию событий. Майа сказал, что присоединились все.

В бронетанковой школе находились офицеры запаса, младшие офицеры и ветераны войны в Африке. Это были отборные солдаты, имевшие опыт боевых действий. Капитан отобрал лишь 160 человек, которых с трудом могли вместить имевшиеся у него средства передвижения: в бой рвались все.

В 3.30 утра 25 апреля бронеколонна двинулась в свой исторический рейс на Лиссабон. Оставшиеся солдаты заняли город, чтобы прикрыть тыл.

Думал ли капитан Майа об историчности момента, о том, что возвращение уже невозможно.

— Нет, — говорит капитан. — Честно говоря, я думал совсем о других вещах. Меня заботило лишь одно: дойдут ли наши бронемашины до Лиссабона: уж очень ненадежная это была техника, старая.

Капитан вошел в город примерно в полшестого утра. Миновав пригород, он достиг квартала министерства в Терейро до Пако — первой своей цели. В шесть часов пехотная школа заняла аэродром, а артиллерийская — мост через Тахо, наведя на город крупнокалиберные орудия. Из Эштрэмоша, родного города Спинолы, двигался третий бронетанковый полк. Но пока в Лиссабоне был только Майа со своими 160 солдатами и двадцатью машинами. Если бы в распоряжении правительства был бы хоть один верный ему полк, он мог бы уничтожить восставших за четверть часа.

До двух часов дня Майа держался в центре Лиссабона. Затем он направился к дворцу Кармо, чтобы арестовать Каэтану. Увидев первых журналистов, он сказал: «Будьте здесь и смотрите, что мы делаем, чтобы потом рассказать об этом людям. Отныне печать в Португалии свободна».

Капитан держал постоянную связь по радио с майором Отело Сараиво де Карвальо, одним из оперативных руководителей восстания. Майор де Карвальо, «мозг» переворота, в 23 часа 25 апреля, после того как Майа и его люди 19 часов непрестанно были в центре событий, отдал приказ сантаренской колонне передать центр Лиссабона другим частям. Долгий день капитана Майа закончился...

Журналисты задали капитану вопрос: «Когда вы поняли, что для свержения режима необходимо применить силу?»

— Трудно дать на этот вопрос точный ответ. 1967—1968 годы я провел в Мозамбике, где получил звание поручика. После этого еще два года — с 1971-го по 1973-й — воевал в Гвинее под командованием генерала Спинолы. Я видел, как бесцельно текли реки португальской крови. Я не мог не видеть, что дети богатых родителей ухитряются избегать этой «позорной войны»: там опасно, там могут убить. Постепенно я начал понимать, что наша страна стоит на краю пропасти. Первый акт сопротивления, к которому прибегли мы с товарищами, был довольно пассивен: мы договорились не открывать огня первыми и стрелять только в целях обороны...

Майа совершенно ясны и этические причины, лежащие у истоков восстания.

— Коррупция была всеобъемлющей. Режим не пользовался ни малейшим уважением, он полностью прогнил. Люди, управлявшие страной, были не достойны своих постов. Продавая кровь португальцев, они богатели на войне. Прочитав книгу генерала Спинолы, я понял, что он, протестуя против позорной войны, написал то, что мы еще просто не успели сформулировать. Он был наш человек. Контакты с ним начались еще в Гвинее, в октябре 1973 года, когда мы впервые заговорили о том, что необходимо сделать.

Капитан Майа говорит, что он стал офицером, потому что видел перед собой романтический образ «борца за свою родину и даму сердца». Он иронически улыбается и добавляет: «Четырнадцать сражений в Мозамбике и Гвинее научили меня, что есть еще нечто, за что стоит драться...»

ИНТЕРВЬЮ С УЛЫБКОЙ



«Красная стрела» мчалась в Москву. «Красная стрела» была полна улыбок. Подчиняясь общему настроению, я встретился с бригадиром, механиком поезда Иваном Дворниковым, и проводницей Антониной Минкиной и с улыбкой задал им несколько вопросов. Они ответили тоже с улыбкой.

— Какие дороги привели вас на железную дорогу?

И. ДВОРНИКОВ: Отец хотел, чтобы я был механиком, мама — чтобы бригади-

Рассказывать о себе вроде бы и нечего, вся жизнь у него впереди, прожито всего восемнадцать лет, и трудовой стаж — ровно год.

Год назад, закончив десятилетку и получив аттестат зрелости, Алексей Кузин никуда не поехал, документов ни в какой вуз не отправлял — остался в селе, в родном колхозе, и сел за руль трактора. О другом Алексей и не помышлял.

Специальность тракториста он получил еще в школе, когда учился в восьмом классе. А что касается щедрой рязанской земли и всего, что на ней рождается, растет и вызревает, что касается крестьянского труда, — это он полюбил с детства, потому что с детства воспитывали в нем глубокое уважение к земле, к труду и отец, и мать, и дед, связавшие свою жизнь с селом.

Юрий Иванович Ивушкин, председатель колхоза «Россия», дал ему «Беларусь» — легкий, но сильный, сноровистый, выносливый трактор, и сказал, что пять точно таких же передали недавно минские комсомольцы в колонну имени Анатолия Мерзлова. Анатолий отдал свою жизнь, спасая урожай, и его, Алеши Кузина, трактор — их родной брат, может, в один день с ними сходил с главного конвейера завода, и потому работать на нем надо с полной отдачей, по-комсомольски.

Алексей не подвел. Руки у

НАЧАЛО

ром. Я люблю родителей, поэтому пошел навстречу сразу обоим. Двадцать лет катаюсь.

А. МИНКИНА: В детстве мечтала о путешествиях, хотя не ездила дальше Рязани. Зато теперь исколесила всю страну. Про Москву и говорить нечего: чувствую себя на Таганке как на Фонтанке.

— *Это правда, что «всегда виноват стрелочник»?*

И. ДВОРНИКОВ: Как-то вскочил пассажир в поезд уже на ходу, а билет оставил у провожающих. Пошел он искать свой 16-й вагон, свое 49-е место. А у нас в составе, между прочим, только пятнадцать вагонов, и мест в каждом — ровно тридцать шесть. Обиделся пассажир и написал на меня жалобу. А потом всю ночь простоял в коридоре у окна, высматривая, когда же появится это самое... Черное море. Оказывается, его ждали не в Москве, а в Севастополе.

А. МИНКИНА: Недавно какой-то пассажир, проходя

молодого механизатора оказались заботливые и умелые. Даже в прошлом году, когда только-только начинал, справлялся с заданиями вполне успешно, а в нынешнюю страдную пору ежедневно выполнял по полторы-две нормы.

Ранним летом в Касимове собрались на районный слет выпускники средних школ. Главной темой разговора была профориентация. Алексей Кузин был на слете не как выпускник, а уже как колхозник, труженик, как человек, определивший для себя трудовой путь. Он выступил на слете вместе с ветеранами труда, знатными полеводами, механизаторами, животноводами и говорил о том, что не понимает ребят, которые стремятся навсегда уехать из колхоза в город. Нам, убеждал он, родившимся и выросшим в селе, лучше других знакомы особенности сельскохозяйственного ремесла и красота деревенской жизни. Конечно, и селу нужны специалисты с высшим образованием, агрономы, зоотехники, инженеры, но пусть тот, кто уезжает на учебу, не застревает в городских ведомствах, не забывает, что его ждет родная земля...

...Хорошо начинать молодым. И хорошо, когда найдено верное начало, когда уже после первых шагов становится ясно, что идешь по пути, который не просто завещали тебе отцы и деды, но который ты полюбил, на котором ты можешь отдать людям столько, сколько способен, не сожалея потом о впустую прожитых днях, не раскаиваясь и не перескакивая с тропы на тропу в поисках той, что проторенней и легче...

Комсомолец Алексей Кузин убежден, что выбранная им дорога верная и для него предназначенная.

Село Мальцево,
Рязанская область

из тамбура в вагон, перепутал дверную ручку со стоп-краном. «Стрелочником» в этой истории оказался, пожалуй, машинист: ведь именно ему из-за непредвиденной остановки пришлось в жестких условиях скоростного рейса наверстывать три минуты.

— *Как вы относитесь к известной шутке относительно того, что «где кончается порядок, там начинается железная дорога»?*

И. ДВОРНИКОВ: Об этой грустной присказке вспоминаю, когда на одно место претендуют несколько пассажиров. Иногда в таком случае и свое место приходится отдавать. А вообще «Красная стрела» — поезд образцовый, к нам эта шутка почти не относится.

А. МИНКИНА: Иногда беспорядок имеет совсем неожиданное продолжение. Однажды парню и девушке продали билеты на одно место. Ни он, ни она в другой вагон перебираться не хотят. Сначала даже поругались. Потом, смотрю, улы-

баются... Было это месяца три назад. А на днях снова заходят ко мне: свадебное путешествие!

— *В век авиации железной дороге приходится выдерживать нелегкую конкуренцию. Памятуя об этом, придумайте, пожалуйста, новую рекламу железнодорожному транспорту.*

И. ДВОРНИКОВ: Надо в аэропорту вывесить плакат: «Тише едешь — дальше будешь!» Или: «Поспешишь — людей насмешишь. Особенно когда погода нелетная».

А. МИНКИНА: «Самолет — хорошо, пароход — хорошо и олень — хорошо, ну а поезд — лучше!»

— *Пожалели ли вы хоть когда-нибудь, что стали железнодорожниками?*

И. ДВОРНИКОВ: Только один-единственный раз за последние десять лет удалось отметить праздник дома, а так обычно, отправляясь из Ленинграда в 23.55, встречаю Новый год у станции Навалочная. И всякий раз в этот миг чуть-чуть грустно...

А. МИНКИНА: Не жалею. Прошлым летом во время отпуска путешествовала теплоходом до Астрахани, так выдержала дорогу только туда. Обратно ехала поездом. Люблю скорость.

— *Всем нам с детства известны стихи: «Это что за остановка — Бологое иль Поповка?» А с платформы говорят: «Это город Ленинград». Сохранились ли на железной дороге рассеянные?*

И. ДВОРНИКОВ: Еще сколько их! По рассеянности оставляют в вагоне деньги, документы, часы и даже чемоданы. Один зимой ночью выскочил в Бологом без костюма.

А. МИНКИНА: Однажды пассажиры поменялись местами, а меня по рассеянности не предупредили. Утром я им, как положено, вернула билеты согласно местам, а потом один из них, транзитник, через радио и телевидение три дня разыскивал в столице соседа по купе, чтобы забрать у него свой билет до Владивостока.

— *Говорят, что, если человек всегда в пути, он немного суеверен...*

И. ДВОРНИКОВ: Это в Японии в поездах нет вагона номер 13, а мой «штабной» вагон уже который год под тринадцатым номером — и ничего. У нас есть книга жалоб и предложений, так недавно французские туристы написали в ней: «Раньше мы боялись числа «13», а теперь согласны ехать в этом вагоне с таким сервисом до самого Парижа».

А. МИНКИНА: Я не суеверна, и все-таки спокойнее, если первым на посадку к вагону подходит мужчина.

— *Есть ли у вас какие-либо пожелания вашим будущим пассажирам?*

И. ДВОРНИКОВ: В эпоху сверхзвуковых скоростей экономьте время, пользуйтесь услугами «Красной стрелы»!

А. МИНКИНА: Здесь вы встретите комфорт и уют, если даже, по недоразумению, всем продадут билеты на одно-единственное место.

В пути от Ленинграда до Москвы бригадира и проводницу «Красной стрелы» расспрашивал пассажир Л. СИДОРОВСКИЙ.

ВЕЛИКАН
И ПИГМЕИ

СТРАСТНЫЙ ПРОТЕСТ Льва Толстого против гнета самодержавного государства, его критика общественных порядков царской России, отличавшаяся, как отмечал В. И. Ленин, силой чувства, убедительностью, свежестью, искренностью, бесстрашием в своем стремлении найти настоящие причины бедствий народных масс, вызывали ярую злобу к писателю и правительственных опричников, хранителей порядка и закона, и святейших отцов — чиновников в рясах, жандармов во Христе. На протяжении многих десятилетий, до самой кончины Льва Николаевича Толстого, этот горячий протестант и страстный обличитель находился в поле зрения департамента полиции и прежде всего ее недремлющего цербера — охранки.

После Октябрьской революции были преданы гласности многие документы из архива бывшего министерства внутренних дел, касающиеся жизни и творческой деятельности Льва Николаевича Толстого *.

Департамент полиции располагал пухлым двухтомным делом «О писателе графе Льве Николаевиче Толстом», последний документ в котором относится к 1905 году. О том, насколько важны были для блюстителей порядка материалы, собранные в «деле» и имевшие прямое или косвенное отношение к писателю, можно судить по одной лишь пометке на обложке «двухтомника»: «Хранить вечно», — тем более что сделана она взамен проставленной ранее «хранить 15 лет»... Такой чести удостаивались лишь те дела, которые представляли особый интерес для заправил департамента полиции.

Среди справок, включенных в «Свод разновременно поступивших

* «Былое», 1918, № 9 (книга 3).

указаний на вредное в политическом отношении направление писателя графа Льва Толстого», несомненный интерес представляет упоминание о пресловутой «толстовской типографии».

В восьмидесятые годы Толстой, как известно, решительно пересматривал свои нравственные, религиозные и общественные взгляды, подвергая критике современное ему общество и то, что охраняло социальный государственный строй царской России. Он все сильнее проникался отрицательным отношением и к официальной церкви, и к самодержавному строю в целом. Появление в этот период религиозно-философских сочинений Толстого сильно тревожило правительство. Чего стоила, например, только такая работа, как «В чем моя вера?», признанная крайне вредной книгой, подрывающей основы общественных и государственных учреждений и вконец рушащей учение церкви!.. Департамент полиции из кожи лез вон, чтобы раскрыть, каким образом издаются «крамольные» сочинения и не причастен ли к «сему преступному действию» сам знаменитый «писатель земли русской».

8 апреля 1886 года директор департамента полиции П. Н. Дурново по указанию министра внутренних дел обратился к московскому обер-полицеймейстеру со следующим «совершенно конфиденциальным» запросом:

«Департаментом полиции из совершенно негласных источников получены сведения, будто бы в доме проживающего в Москве гр. Льва Толстого устроена тайная типография для печатания его тенденциозных произведений, состоящая в непосредственном управлении неблагонадежных в политическом отношении лиц. Сообщая о сем совершенно доверительно Вашему Превосходительству, имею честь покорнейше просить не отказать в распоряжении и проверке самым секретным образом, в какой мере изложенное известие заслуживает вероятия».

Но — увы! — к великому огорчению Дурново и его шефа, министра внутренних дел, проверка не подтвердила полученных департаментом сведений, «негласные источники» выдали ложную информацию. Московский жандарм сообщил, что «по поводу устройства будто бы графом Толстым тайной типографии для печатания своих запрещенных сочинений несколько раз поступали заявления об этом, но путем негласного наблюдения и секретных разведок известия эти не подтвердились».

К БОЛЕЕ ПОЗДНЕМУ ПЕРИОДУ относятся документы, поражающие своим цинизмом и наглостью. Речь идет о преждевременных похоронах великого русского писателя...

Летом 1901 года Лев Николаевич заболел, и врачи посоветовали ему выехать в Крым, на Южный берег, где он мог бы отдохнуть, избавившись от напряжения и волнений. На семейном совете решено было выехать в имение Паниной, расположенное неподалеку от Ялты.

Между прочим, цензура получила строжайшее указание не публиковать никаких сообщений о состоянии здоровья Толстого, однако известие о болезни облетело всю Россию и многие страны Европы. В Ясную Поляну со всех концов посыпались телеграммы и письма с выражением тревоги по поводу здоровья писателя. Одно из писем пришло из Франции, от Ромена Роллана:

«Не могу выразить того отчаяния, которое вызвала во мне Ваша болезнь, и утешения, которое мне принесло известие о том, что Вы чувствуете себя лучше... Оставайтесь еще долгое время с нами. Никогда еще Ваш разум, Ваша правда, Ваша независимость и крепкое умственное здоровье не были более необходимы, чем в настоящий момент, когда вся Европа представляется потерявшей чувство правды, справедливости и здравого смысла».

В августе Толстой выехал в Крым. Его сопровождали жена, Софья Андреевна, дочери, Марья Львовна и Александра Львовна, а также некоторые из близких друзей семьи. В Харькове на перроне вокзала встретить поезд собралось множество народу. Узнав об этом, Лев Николаевич был заметно смущен. В вагон, в котором ехала семья Толстых, удалось проникнуть нескольким юношам. Сильно волнуясь, они произнесли слова приветствия и сказали, что явились как представители огромного числа почитателей его таланта, что он, Лев Николаевич, всем дорог и все взволнованы известием о его болезни и ждут хороших вестей... Толстой поблагодарил и высказал пожелание, чтобы молодые люди сохранили в себе тот чистый юношеский пыл, которым горят теперь, попросил также поблагодарить за участие к нему тех, кто их прислал... А с перрона доносились голоса — Льва Николаевича просили показаться хоть на минуту. И вот слабый, до глубины души взволнованный, он подошел к окну и раскланялся. На мгновение все затихли, а затем грянули возгласы приветствия...

Толстой не мог понять, откуда харьковчане узнали о его поездке? Все выяснилось через несколько минут, когда поезд отошел от перрона. Оказалось, что один из друзей семьи, сопровождавший писателя, отправил своему знакомому литератору, проживающему в Харькове, письмо и попросил его принести на вокзал для больного Льва Николаевича несколько бутылок молока. Литератор, видимо, поведал о проезде Толстого кому-то из своих приятелей, и «тайна» стала достоянием сотен людей... Услышав этот рассказ, Толстой долго ахал и охал, а потом спросил, на каких еще станциях ожидаются бутылки с молоком...

В Крыму Толстой пробыл почти год, затем возвратился в Ясную Поляну.

А между тем ни министерство внутренних дел, ни синод не теряли времени даром. Сохранилась папка бумаг, озаглавленная: «Граф Лев Толстой» (проект распоряжений на случай кончины графа Льва Толстого)» . Документы, в ней находящиеся, потрясают своим бесстыдством и низменностью помыслов их составителей.

Вот шифрованная телеграмма губернаторам, градоначальникам и обер-полицеймейстерам, отправленная 4 июля 1901 года и подписанная товарищем министра внутренних дел:

«Случае кончины наблюдающегося крайне болезненном состоянии графа Льва Толстого могут возникнуть ходатайства о чествовании его памяти и устройстве по сему разных собраний и вечеров. Необходимо отнестись к разрешению таковых крайне осмотрительно, давать разрешение лишь известным благонадежным лицам, следить за неуклонным выполнением программ в пределах разрешенного и не допускать никаких демонстративных речей, действий или манифестаций».

Окончание на стр. 184

БЛАГОДАРЯ ЗРЕНИЮ, этому «благороднейшему из чувств», по выражению Леонардо да Винчи, или «чуду для пытливого ума», говоря словами английского физика Тиндаля, человек имеет возможность видеть и воспринимать неповторимую красоту мира, окружающего его, — великое разнообразие форм, движения, цвета. Из самой природы этого счастливого свойства — видеть родилось одно из самых заманчивых человеческих желаний: увидеть гармонически соединенными цвет и музыку.



Об этом еще за 300 лет до нашей эры писал Аристотель: «Цвета по приятности их соответствия могут относиться между собой подобно музыкальным созвучиям и быть взаимно пропорциональными».

Это величайшее таинство — видение. Но что же оно такое, почему люди «обожествляют» его?

Обратимся к науке. Ибо таинство устройства человеческого глаза кроется в его физиологии.

Физиологами установлено: наше зрение может передать нашему мозгу информации во много раз больше, чем другие органы чувств. Восприятие света и цвета находится в органической взаимосвязи и представляет собой сложный процесс, которым занимаются и физики и физиологи.

Физика изучает явление цвета как взаимодействие между излучением, проникающим в глаза, и светочувствительными элементами, на которые оно попадает; физиология исследует механизм передачи стимула к определенному нервному центру.

Мир зрительных ощущений человека необычайно богат. Количество оттенков цветов, встречающихся в природе, настолько велико, что даже высокоэрудированный специалист в области цветоведения не всегда в состоянии дать этим оттенкам словесное определение.

Известно, что в спектре содержатся только монохроматические, то есть чистые, цвета. В природе их излучения смешиваются в самых различных сочетаниях. Последнее и объясняет причину того, что мы видим значительно большее количество цветов, чем их существует в спектре. Например, пур-

пурный цвет получается от смешения красных и фиолетовых лучей, расположенных на противоположных концах спектра. Белый цвет есть результат смешения всех цветов спектральных лучей, но он получается также при смешении в определенной пропорции трех основных цветовых излучений: красного, зеленого, синего.

Физиологический аппарат нормального человеческого глаза, как показали исследования, позволяет воспринимать до 200 различных цветовых тонов. Определено, что человек способен различать примерно 150 спектральных и 30—50 пурпурных, то есть неспектральных, тонов. Кроме того, глаза различают не менее десяти ступеней насыщенности каждого цветового тона и не менее 600 ступеней яркости. Теми же исследованиями установлено, что мы способны различить свыше 10—13 тысяч цветовых оттенков! Американский специалист по цветоведению — колориметрии — Р. Ивенс отмечал, что в результате вариаций спектрального распределения энергии излучений возможно возникновение свыше миллиона различных цветовых оттенков.

К органу восприятия света и цвета относятся не только глаза, но и соответствующие участки головного мозга. С полным правом сетчатку глаз физиологи называют частью мозга, выдвинутую самой природой на периферию. Глаза — только часть зрительной системы или зрительного анализатора человека.

Сергей Есенин в статье «Ключи Марии» писал: «Орнамент — это музыка. Ряды его линий в чудеснейших и весьма тонких распределениях похожи на мелодию какой-то одной вечной песни перед мирозданием...» И позже, в статье «Быт и искусство»: «...Каждый вид мастерства в искусстве, будь то слово, живопись, музыка или скульптура, есть лишь единичная часть огромного органического мышления человека...»

Пройдут столетия со времен Аристотеля, прежде чем Ньютон откроет закон преломления света и обратит внимание на удивительное совпадение между чередованием цветов солнечного спектра и расположением звуков по высоте в музыкальной октаве. А вслед за открытиями Ньютона М. В. Ломоносов создаст свою «трехкомпонентную теорию цвета» и скажет: «Много утехи и прохлад в жизни нашей от цветов зависит». И понадобится еще около 200 лет, прежде чем в начале нашего века русский композитор А. Н. Скрябин создаст своего «Прометея». Именно в этом музыкальном произведении цвет и музыка найдут свое органическое единство и будут жить в нем, как живет солнечный свет в листьях дерева. «Прометей» — это начало научного рождения цветомузыки.

А. Н. Скрябин обладал редчайшим даром — субъективным чувством «видения звуков» — синопсией. Создавая «Прометея», он впервые в истории мирового музыкального искусства ввел в партитуру так называемую «световую партию». Для этого им был создан особый инструмент с клавиатурой, управлявший цветовым освещением концертного зала во время исполнения «Прометея».

Скрябин, развивая идеи Ньютона, считал, что между тональностями (а не только отдельными звуками), расположенными

по кварто-квинтовому кругу, и расположением основных цветов по спектру существует вполне определенное соответствие. Именно Скрябин разработал одну из существующих ныне «цветовых теорий», где каждой музыкальной тональности соответствует определенный цвет, несущий в себе определенный ряд образов, чувствований и идей.

Скрябин сам при исполнении отдельных музыкальных набросков и эскизов в соответствии с пометками в партитуре управлял созданным им «световым аппаратом», содержавшим 12 вспыхивающих электрических ламп, окрашенных в цвета по количеству полутонов музыкальной гаммы и подобранных по характеристикам: «мажорно-минорный», «светло-темный» и т. д. При этом цель композитора заключалась в том, чтобы цветовое освещение, меняющееся согласованно с содержанием музыкального произведения, как по силе звука, так и по интенсивности цвета усиливало воздействие музыки на слушателя — создавало впечатление «космичности». В полной мере это удалось композитору в финале «Прометея» — он завершается мощным мажорным аккордом, а световой клавир создает при этом ослепительный солнечный свет...

В наше время, несмотря на существование целого ряда цвето-световых теорий и достигнутых успехов в развитии техники освещения цветного кино и телевидения, несмотря на высокий уровень развития колориметрии, науки о цветоведении, объединение музыкальных и световых средств в одном художественном произведении встречается все-таки еще крайне редко. Объяснить это можно прежде всего тем, что взаимодействие органов чувств — в частности, зрения и слуха — еще пока недостаточно изучено. Правда, уже выяснено, что цветовое и слуховое восприятие человека находится в органической взаимосвязи: на этот вопрос достаточно убедительно ответили

ПЕСТРАЯ СМЕСЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО опроса, проведенного в одной из школ Бостона, показали, что более половины учеников считают молоко напитком, который изготовляют на заводах по какому-то очень хитроумному рецепту, как, например, пепси-колу.

Учителям пришлось организовать автобусную экскурсию на ближайшие фермы, чтобы их питомцы получили реальное представление о том, как же все-таки получают молоко...

КОГДА У ЖИТЕЛЯ Лондона пенсионера Робертсона представители налогового управления спрашивают про источник его высоких доходов, он отвечает: «Преступления и еще раз преступления».

Однако Робертсон никогда в жизни не брал в руки ни пистолета, ни отмычки, ни ножа... Адвокат по уголовным делам в недалеком прошлом, он избрал себе доходную должность консультанта писателей. Авторы детективных романов и новелл обращаются к нему за различными справками, заимствуют даже сюжеты. Его советы всегда предельно точны и деловиты: как орудуют топором или свинчаткой, как действует тот или иной яд, как профессиональные преступники уничтожают отпечатки пальцев и т. д. Авторитет у консультанта колоссальный, и недостатка в клиентах пока что нет...

В БРАЗИЛЬСКОМ ГОРОДЕ Сан-Паулу водители такси прославились как неисправимые нарушители правил уличного движения. Ни одна из кампаний за безопасность движения не дала положительных ре-

многолетние исследования, проводившиеся под руководством выдающегося психолога, физиолога и физика профессора С. В. Кравкова. Установлено, что восприятие цвета и его изменения влияют на слух, а музыка вполне определенным образом перестраивает остроту зрения и цветовую чувствительность глаза. Удалось установить, что чувствительность человеческого глаза, например, к зелено-голубым тонам под влиянием монотонных звуков повышается, а к тонам оранжево-красным, наоборот, снижается. Оказалось, что чувствительность глаза к зеленому цвету увеличивается с нарастанием громкости звука.

В решение проблемы использования цветомузыки все шире включается в последнее время стремительно прогрессирующая электроника. Делаются успешные попытки создания таких электронных устройств, которые могли бы после соответствующего преобразования — кодирования — слова и музыки с последующим раскодированием их управлять цветом таким образом, чтобы он полнее раскрывал и дополнял содержание исполняемых произведений, то есть сделал слово и музыку зримыми. Создание «электронного интерпретатора» поможет нам увидеть и услышать те свойства музыки и поэзии, которые пока еще мы ощущаем интуитивно.

С появлением в наши дни цветного, а в будущем цветного лазерно-голографического (объемного) телевидения цветомузыка прочно войдет в практику передач. Обладая огромными изобразительными возможностями, телевидение сможет как бы заново раскрыть перед нами творения великих мастеров слова и музыки. Возможности применения цвета в нашей жизни так же безграничны, как безграничен разум человека.

И. УЛЬШТЕЙН

зультатов. Наоборот, теперь с таксистов-лихачей берут пример и водители частных машин.

Городские власти решили поощрять любую инициативу населения, лишь бы заставить шоферов быть внимательными к правилам движения. Одному находчивому велосипедисту, например, была выдана денежная премия за то, что он выезжает вечером на улицу в костюме... привидения с хаотическими пятнами фосфоресцирующей краски. Суеверные водители сразу же не только сбавляют скорость, но и стараются свернуть в тихие переулки...

Но что будет, если все велосипедисты и пешеходы наденут вдруг белые балахоны?

«ПОДАЙТЕ, РАДИ БОГА, литр высокооктанового бензина, и вы обеспечите себе путь на небеса, в райские кущи!» — с такими словами попрошайничает на дорогах Англии священник Джон Гудвил.

Около года назад Гудвил установил на грузовике церковь-передвижку и начал разъезжать по автострадам с проповедями. Сперва все шло хорошо. Необычную церковь посещали охотнее, чем надоевшие «стационары». Священник завоевал известную популярность и получил прозвище «апостол шоссе»... Но наступили черные дни энергетического кризиса. На бензин ввели ограничения. А грузовик пожирал огромное количество топлива. И сейчас Гудвил вынужден сопровождать свое «слово божье» унизительными просьбами подать милостыню — литр-другой горючего. Взамен он готов отпускать любые грехи и обещать любые блага на небесах...

ВЕЛИКАН И ПИГМЕИ

Окончание. Начало на стр. 177

В конце января 1902 года, когда состояние здоровья писателя ухудшилось, сам министр внутренних дел Д. С. Сипягин отправил московскому генерал-губернатору великому князю Сергею Александровичу телеграмму:

«В виду распоряжения Святейшего Синода в случае кончины графа Льва Толстого, не служить по нему панихид, прошу распоряжения, чтобы в местных изданиях не разрешалось печатание каких-либо объявлений о панихидах, а равно принять меры к устранению всяких демонстративных требований о служении панихид».

А вот какую шифровку отправил департамент полиции 29 января симферопольскому губернатору:

«В случае кончины графа Льва Толстого и возбуждения просьбы о перевозке тела, разрешение может быть дано только на перевозку в Ясную Поляну. Сообщая о сем, по приказанию Министра, прошу в случае выдачи разрешения немедленно уведомить меня о сем по телеграфу, также о дне выезда, для необходимых распоряжений».

Далее идут документы, в которых о Толстом говорится уже как о скончавшемся. Вот проект секретного письма министра внутренних дел обер-прокурору синода Победоносцеву:

«Милостивый государь Константин Петрович,

имею честь сообщить Вашему Высокопревосходительству, для сведения, что мною сего числа разрешено Таврическому губернатору выдать свидетельство на перевоз тела графа Толстого из Ялты в Ясную Поляну». Дата на письме отсутствовала, для числа было оставлено пустое место....

Секретные депеши были заготовлены также для екатеринославского, харьковского, курского, орловского и тульского губернаторов: «Тело графа Толстого перевозится из Ялты в Ясную Поляну. Отправление....... числа. Благоволите принять зависящие меры к воспрепятствованию каких-либо демонстраций по пути».

К выполнению «плана необходимых мероприятий» было подключено и министерство путей сообщения. Оно заготовило распоряжения для железнодорожной администрации. В поразительной по наглости шифрованной депеше, предназначавшейся начальнику Харьковско-Севастопольской дороги, говорилось:

«Ввиду вероятной кончины находящегося в Крыму писателя графа Толстого последует необходимость перевозки его тела до станции Ясенки. Предлагается озаботиться приготовлением траурного вагона и вагонов для семейства. В случае обращения семейства графа с требованием на перевозку предложите два маршрута. По первому оба вагона следуют от Севастополя до Ясенок почтовым поездом. При этом для сокращения стоянки в Харькове по соглашению

с министерством внутренних дел предлагается почтовый вагон привести в Харьков с опозданием до сорока минут для сокращения стоянки до пятнадцати минут и отправить из Харькова своевременно, не взирая на задержку почты. По второму маршруту вагон с телом отправляется из Севастополя скорым до Синельникова, где прицепляется к воинскому нумер двадцать четвертый до Белгорода, откуда прицепляется к почтовому, с которым от Севастополя следует вагон с семейством графа. Стоянка поезда нумер двадцать четвертый в Харькове путем опоздания прибытием сокращается до двадцати минут. Об избранном маршруте телеграфируйте Управлению железных дорог и конфиденциально сообщите губернаторам Таврическому и Харьковскому».

Весной 1902 года вся Россия, весь мир с облегчением узнали о том, что жизнь Льва Николаевича Толстого вне опасности. «Работа», проделанная царскими прислужниками, пропала даром... Однако «Проект распоряжений на случай кончины графа Льва Толстого» департамент полиции сохранил и передал министерству внутренних дел.

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ умер 7 ноября 1910 года. Он погребен в лесу «Заказ», на месте, им самим указанном, — там, где, по рассказам его брата Николеньки, зарыта «зеленая палочка», на которой было написано средство сделать счастливыми всех людей мира...

Но Толстой не давал покоя царскому правительству и после своей смерти. 20 ноября 1910 года директор департамента полиции Н. П. Зуев отправил начальнику Московского охранного отделения П. П. Заварзину шифровку:

«Господин товарищ министра приказал вам немедленно командировать двух опытных толковых сотрудников в Ясную Поляну, где они должны посетить могилу Толстого и имение Черткова и выяснить характер сборищ, происходящих в Ясной Поляне и у Черткова. О последующем выяснении быстро доносить».

Заварзин закусил удила... Он не заставил себя ждать, и через день телеграфировал Зуеву: «Исполнено. Сведения могут быть дней через пять». И действительно, вскоре «сведения» были отправлены в Петербург, причем Заварзин просил директора департамента полиции «не отказать возвратить» их «по миновании надобности», так как они нужны охранному отделению «для дальнейшей разработки и систематизации».

В качестве «толкового сотрудника» в Ясной Поляне побывал платный агент охранки по кличке «Блондинка» — под этим именем скрывался сотрудник «Русского Слова» журналист Дриллих. «Блондинка» докладывала, что в день похорон, как ей удалось выяснить, на могиле Толстого собралось примерно 5—7 тысяч человек, в последующие дни число посетителей сократилось до нескольких сот, а в то время, когда он, сотрудник охранки, находился в Ясной Поляне, — до двух десятков в день. «По нескольку раз, — сообщала «Блондинка», — на могиле Толстого говорил, по характеристике крестьян, какой-то, «черный, лохматый, в штатском костюме». Говорил очевидно, только революционные речи, так как крестьяне говорят об этом с большой опаской... По-видимому, речь шла о несправедливом владении помещиками землей, о притеснениях народа правителями, о смертных казнях, и т. д.».

Агент московской охранки посетил также яснополянскую лечебницу и беседовал с доктором Маковецким. Прием Маковецким больных, по словам «Блондинки», превращается «в живую пропаганду толстовских идей, а так как в больницу приезжают отовсюду, то идеи эти распространяются очень далеко». Сам доктор Маковецкий открыто говорил о «святой обязанности» каждого интеллигента, последователя Толстого, заняться активной пропагандой сочинений Толстого в народе...

Несколько дней, проведенных в имении Черткова, убедили сотрудника охранного отделения в том, что сам Чертков и его кружок оказывают на местных крестьян «вредное» влияние. «Дверь дома Черткова широко открыта для всякого желающего войти в него, — писала «Блондинка». — В столовой стоят большие некрашеные столы и скамейки, и завтракают, и обедают, и ужинают за ними сам Чертков и его кружок вместе с приходящими туда крестьянами и работающими в Телятникове работниками... Для идейной агитации это самая удобная обстановка». И далее: «Следы пропаганды Черткова и его кружка среди местных крестьян чувствуются на каждом шагу... Отрицание частной собственности на землю — постоянная тема в беседах в доме Черткова как с местными крестьянами, так и со всеми приезжающими...»

ДА, ТВОРЧЕСТВО ВЕЛИКОГО русского писателя не давало покоя самодержавному правительству. Выступая с горячим, страстным, нередко беспощадно-резким протестом против государства и полицейской казенной церкви, отрицая частную поземельную собственность, обличая капитализм, он навлекал на себя ненависть прислужников царского режима. Но именно то, за что ненавидели Толстого адвокаты и заступники монархического строя, привлекало к себе широкие массы трудящихся и передовой интеллигенции. Художественное наследие великого художника стало оружием рабочего класса в его борьбе против крепостничества и полицейщины, за новый общественный порядок.

В статье «Л. Н. Толстой», опубликованной в газете «Социал-Демократ» 16 (29) ноября 1910 года, В. И. Ленин писал:

«...в его наследстве есть то, что не отошло в прошлое, что принадлежит будущему. Это наследство берет и над этим наследством работает российский пролетариат. Он разъяснит массам трудящихся и эксплуатируемых значение толстовской критики государства, церкви, частной поземельной собственности — не для того, чтобы массы ограничивались самоусовершенствованием и воздыханием о божецкой жизни, а для того, чтобы они поднялись для нанесения нового удара царской монархии и помещичьему землевладению, которые в 1905 году были только слегка надломлены и которые надо уничтожить. Он разъяснит массам толстовскую критику капитализма — не для того, чтобы массы ограничились проклятиями по адресу капитала и власти денег, а для того, чтобы они научились опираться на каждом шагу своей жизни и своей борьбы на технические и социальные завоевания капитализма, научились сплачиваться в единую миллионную армию социалистических борцов, которые свергнут капитализм и создадут новое общество без нищеты народа, без эксплуатации человека человеком».

Н. СИТНИКОВ



ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ХУДОЖНИК МАЛИКОВА

В этом номере «Товарищ» знакомит читателей с графическими работами Зульфии Адиевны Маликовой.



Каникулы в Гурзуфе.

По образованию Маликова архитектор, она закончила Московский архитектурный институт, несколько лет работала в проектных мастерских, ныне преподаватель. И художник.

Архитектор и художник, строительное искусство и искусство изобразительное. Точный расчет, строгость, сдержанность — и мышление образами, широкий полет фантазии, вымысел... Казалось бы, одно если и не исключает вовсе, то, во всяком случае, оттесняет другое на дальний план, наделяя правами чистого любительства. Бытует даже мнение, что умение рисовать мешает профессиональному архитектору.

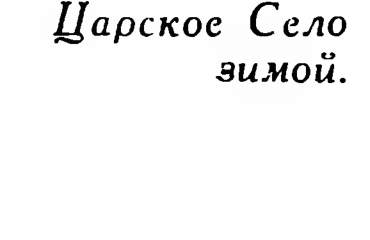
Маликова рисовала всегда, и это ей ничуть не мешало. Она говорит:

— Я училась у профессора

Мезенцева Бориса Сергеевича, впоследствии лауреата Ленинской премии, автора мемориального комплекса в Ульяновске. Это был замечательный педагог и великолепный художник. Он учил нас архитектуре и отлично владел кистью, карандашом, любыми графическими средствами. Академик Александр Васильевич Власов, в мастерской которого мне посчастливилось работать, был большим архитектором и прекрасным художником. У нас в мастерской постоянно ощущалась художническая атмосфера, мы устраивали выставки рисунка, карикатуры, живописи... И когда меня спрашивают: архитектор вы или художник? — я отвечаю: и то и другое. Я никогда не смогу расстаться с архитектурой и перестать быть художником тоже не смогу, рисование стало для меня необходимостью.

Вначале были рисунки для себя, «для души»; однажды ей предложили выполнить книжные иллюстрации — получилось; один из режиссеров телевидения попросил сделать декорации к спектаклю «Трактир на Пятницкой», она взялась за работу и справилась с ней успешно... Она много рисовала не просто для того, чтобы много рисовать, а чтобы научиться выражать задуманное и выражать точно, скупо, немногословно. А это нелегко. Ей часто вспоминает-

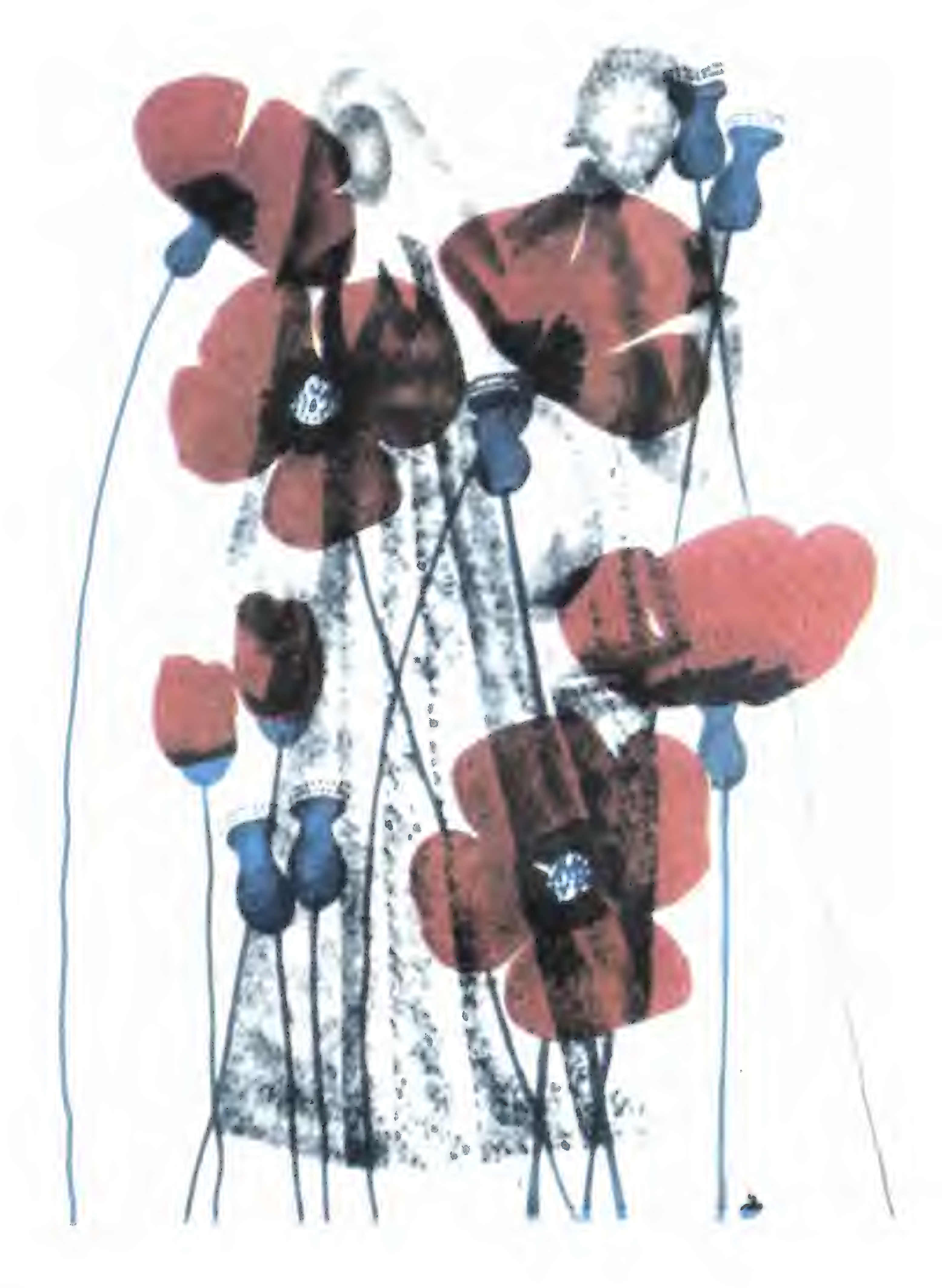
Царское Село зимой.



Домик с обитателями.



ся фраза из письма Маркса Энгельсу: «У меня нет времени написать тебе короткое письмо». Надо потратить много труда, чтобы сделать лаконичную вещь. И тут большую помощь оказывает архитектура, она очищает от многословия, от всего постороннего, лишнего.



Гулянье.

— У меня нет набросков с натуры, — говорит Зульфия Адиевна. — Я часто делаю маленькие зарисовки в блокнотах, как писатели в записных книжках, а мое рисование — это осмысливание впечатлений, фактов, наблюдений, которых накапливается немало...



Сплетни.

Она много ездит по стране, добираясь порой до самых дальних уголков нашей земли. Это не экскурсионные поездки, не любопытство рядового туриста. Это жажда художнического познания, приобщения к жизни, к людям с их радостями, заботами, волнениями, ко всему, что



Петух.

создано их руками на земле и воспринимается как нечто одушевленное. И хочется продолжать и продолжать эти поездки, дающие обильный материал, проявляется какая-то удивительная жадность познания, напряженный интерес к жизни, ко всему, что остается в ней пока неизведанным и неоткрытым...

О. СЕМЕНОВА

Первая страница обложки «Товарища»: механизатор колхоза «Россия» комсомолец Алексей Кузин (рассказ о нем — на стр. 174). Фото А. Георгиева.



ПОЭЗИЯ

Валентин СОЛОУХИН

* * *

Несладко нам жилось,
несладко —
Иным расскажешь,
не поймут,
Как вдовам, матерям, солдаткам
В лицо кричали:
«Русь капут!..»
И впрямь капут — ни крошки хлеба,
Ни грамма соли,
но весной
Так над Россией много неба,
Так много силы в ней земной,
Что выживая понемногу,
Колосья ищем по стерне...
И мы посильную подмогу
Сумели оказать стране.
О том, как выжил в ту годину,
За что я Родину люблю,
Я часто маленькому сыну
Ночами в сказках говорю.

* * *

Война закончена,
закончена война.
И радуется в первый раз весна,

Что вместо взрывов грозы полыхнули,
Зеленую листву не пробивают пули.

Война закончена.
Безрукий инвалид
Сидит, ссутулясь, у сожженной хаты,
Ни дома, ни семьи...
Держак лопаты,
Что в землю воткнут, на виду торчит...

Солдат заметил, что держак пророс,
Забытый всеми — выбросил вдруг почку.
С трудом великим инвалид принес
Воды попить зеленому росточку...
Война закончена,
закончена война!

* * *

С друзьями встречусь —
в шутку назовут
Они тоннель метро
шахтерским штреком.
— А ты, писатель,
не забыл наш труд,
Что человека сделал человеком?..
Известно, шахта — не метро Москвы.
В забое и водичка,
и обвалы.
Газку хлебнешь — и тьмы как не бывало,
Перед глазами радуги мосты...
Ну а работа — даже молоток,
Ладони обжигая, раскалится,
Пот упадет — лишь легонький дымок
Да рукоять от соли заискрится.
Ты помнишь шахту,
помнишь пыльный штрек?
Крушили сталь свирепые обвалы...
— Ну как забудешь:
там ведь человек
Характером устойчивей металла.

* * *

Лесник знакомый мой,
Он человеку рад,
Как рады вы
Березовому соку.
Расскажет вам старик,
Как зимовал жестоко
И как снега в закат
Пожарами горят.
Расскажет он
О радостях зимы,
О том, как звери
В снежные заносы
Защиты человека просят
И как они по-своему умны.
— Доверие зверей
Ты фальшью не возьмешь... —
Старик не для словца
Выкладывает были —
Заботится, чтоб мы
Добрее были
И уберечь смогли
Доверие зверей.





ПОЭЗИЯ

Александр МОСКВИТИН

* * *

И, обновляя прошлую эпоху,
мы ставим к дому дом — под небеса.
И что же тут поделаешь, ей-богу:
так явно отступают понемногу,
как будто собираются в дорогу,
окольные проселки и леса.

Ломают деревянное предместье,
лежит оно в руинах и золе.
А город поднимается, как песня
эпохи равноправья, равновесья,
деревни поселяя в поднебесье —
сердца их остаются на земле.

Уходит обветшалое наследство
в укладе, в психологии, в быту.
И зори, что сияли с малолетства,
затмило это тесное соседство,
но время — исцеляющее средство —
одушевит и эту высоту.

Обвыкнут новоселы понемножку,
сердца их зазвенят на голоса,
и высыплются, будто из лукошка —
и пляска, и частушка, и гармошка,
и близкими увидятся в окошко
окольные проселки и леса.

РАЗМЫШЛЕНИЕ НА БЕРЕГУ ЧЕРНОГО МОРЯ

Шелестя волной по гальке,
море будит берег сонный,
прикипают сочной пеной к волнам перья облаков...
Здесь, должно быть, не бывают волны круче и весомей,
небо ниже,
ветер резче,
трудной доля рыбаков?

Чем-то древним, потаенным, ускользающим от взгляда
вдруг пахнет в лицо от неба, от воды и от земли:
неспроста осталось в мире,
и пришло на ум когда-то,
и не кто-нибудь, а греки, море Черным нарекли?

Да уж так ли неподсудно все, что время тихо копит?
Есть, пожалуй, у сомненья свой полет и свой резон.
Может, нужен личный опыт,
зримый опыт,
скорбный опыт —
различать во мраке моря тайным взором горизонт?

Может, нужно, чтоб воочью заскользило море юзом
и провис под самым сердцем
вал, громаден и свинцов,
чтобы в памяти навечно не осели мертвым грузом —
опыт книг и опыт жизни,
опыт дедов и отцов?

Так ударься в волны, ветер, разбудите, волны, берег,
затяните небо, тучи, объявите свой набег,
чтоб услышать и увидеть:
остаются — вновь поверить —
небо — небом,
море — морем,
человеком — человек.

ОТКРЫТЬЕ

Сыну Владимиру

Из снов ли, из поверий ли, из книг —
почудится тебе однажды, может:
так явственно
представший взору миг
когда-то был уже тобою прожит.

Смущенный мыслью странною слегка,
ты полистаешь память, точно книгу.
Но как найти в ней
канувшему мигу
тождественный во всем наверняка?

К истокам уходя, за небосклон,
ты убедишься в тщетности круженья:
как ни знаком прошедший миг,
но он —
реальность, не игра воображенья.

И все ж, к чему б, идеей становясь,
подспудно укрепилась убежденность,
что все это —
не просто обыдённость,
что есть тут неосознанная связь?..

Представь, сменялись годы на земле,
являя чьи-то взлеты и паденья.
И жизнь и суть твоя
со дня рожденья
лишь веточка на родовом стволе.

Причудой ли открытье назови,
посмейся над печалью беспричинной, —
зов предков,
пробудившийся в крови,
окликнул и назвал тебя мужчиной.

И путь, что ими пройден до конца,
приходит срок торить тебе по чину,
в самом себе
                    осознавать мужчину,
достойного и деда и отца.

И в свой черед застенчивым юнцом
идти к вершинам жизни от подножий:
недаром же —
                    и нравом и лицом —
ты на своих родителей похожий.



Валентин СИДОРОВ

НА ВЕРШИНАХ

(Творческая биография Рериха, рассказанная им самим и его современниками)

Глава первая „ДЕРЖАВА РЕРИХА"

1

«Колумб открыл Америку, еще один кусочек все той же знакомой Земли, продолжил уже начертанную линию — и его до сих пор славят за это. Что же сказать о человеке, который среди видимого открывает невидимое и дарит людям не продолжение старого, а совсем новый, прекраснейший мир!

Целый новый мир!

Да, он существует, этот прекрасный мир, эта держава Рериха, коей он единственный царь и повелитель. Не занесенный ни на какие карты, он действителен и существует не менее, чем Орловская губерния или Королевство Испанское. И туда можно ездить, как ездят люди за границу, чтобы потом долго рассказывать о его богатстве и особенной красоте, о его людях, о его страхах, радостях и страданиях, о небесах, облаках и молитвах. Там есть восходы и закаты, другие, чем наши, но не менее прекрасные. Там есть жизнь и смерть, святые и воины, мир и война — там есть даже пожары с их чудовищным отражением в смятенных облаках. Там есть море и ладьи... Нет, не наше море и не наши ладьи: такого мудрого и глубокого моря не знает зем-

---

Главы из книги.

ная география. И, забываясь, можно по-смертному позавидовать тому рериховскому человеку, что сидит на высоком берегу и видит-видит такой прекрасный мир, мудрый, преображенный, поднятый на высоту сверхчеловеческих очей».

Так писал о творчестве художника Николая Константиновича Рериха в статье, помеченной 1917 годом, Леонид Андреев.

«Величайший интуитивист современности», — говорил о нем Горький.

В 1920 году великий индийский поэт, писатель и философ Рабиндранат Тагор впервые увидел полотна Рериха. На другой день после знакомства он пишет письмо художнику.

«Ваши картины глубоко тронули меня. Они заставили меня осознать нечто очевидное, но нуждающееся в постоянном раскрытии: что истина беспредельна. Когда я пытался найти слова, чтобы выявить мысли, рожденные во мне вашими картинами, мне это не удалось. Это потому, что язык слов может выразить лишь один определенный аспект истины, а язык картин — истину в целом, что словами не выразить. Каждое искусство достигает своего совершенства, когда оно открывает нашему уму те особые врата, ключ от которых находится только в его исключительном владении. Когда картина убедительна, мы не всегда в состоянии объяснить, что это такое, но все же мы это видим и знаем. То же самое обстоит с музыкой. Когда одно искусство можно полностью выразить другим, тогда это неудача. Картины ваши ясны и все же невыразимы словами, — ваше искусство ограждает свою независимость, потому что оно велико».

В декабре 1947 года в Дели после смерти Николая Константиновича Рериха была открыта его мемориальная выставка. Выступая на ее открытии, Джавахарлал Неру поделился своими мыслями о человеке, с которым его связывали узы дружбы и духовная устремленность.

«Когда я думаю о Николае Рерихе, я поражаюсь размаху и богатству его деятельности и творческого гения. Великий художник, великий ученый и писатель, археолог и исследователь, он касался и освещал так много аспектов человеческих устремлений. Уже само количество картин изумительно — тысячи картин, и каждая из них — великое произведение искусства. Когда вы смотрите на эти полотна, из которых многие изображают Гималаи, кажется, что вы улавливаете дух этих великих гор, которые веками возвышались над равнинами Индии и были нашими стражами. Картины его напоминают нам многое из нашей истории, нашего мышления, нашего культурного и духовного наследства, многое не только о прошлом Индии, но и о чем-то постоянном и вечном, и мы чувствуем, что мы в долгу у Николая Рериха, который выявил этот дух в своих великолепных полотнах.

Хорошо, что эта выставка состоялась, несмотря на печальное обстоятельство смерти творца этих полотен, потому что искусство и труд Рериха имеют мало общего с жизнью и смертью личности. Они выше этого, они продолжают жить и в действительности являются более долговечными, нежели человеческая жизнь».

Россия и Индия едины в своем восхищении Рерихом. Что ж, это понятно и легко объяснимо. Русский по рождению, Рерих последние двадцать лет прожил в Индии. Его творчество по праву принадлежит обеим странам. Но посмотрим, что писала о художнике в его время пресса всех континентов земли. Возьмем издания тридцатых годов. Перелистаем пожелтевшие от долгого хранения страницы газет и журналов.

Китай. Национальный музей в Пекине направляет приветствие в адрес Рериха. «Мы всегда почитали ваше западное и восточное знание, и слава ваша выросла подобно Тянь-Шаню или созвездию Большой Медведицы».

Монголия. «Такие великие всемирные личности, как Рерих, шествуют... как светочи столетий. В наш век эгоизма их великие дела приносят безграничное благо тем странам, через которые проходят эти великие души».

Япония. «Достигнув подобных высот, гениальное творчество Рериха неустанно растет. Вдохновленный внутренним стремлением, неустанно ведущим его вверх, он ищет новые высоты и побеждает, казалось бы, непреодолимые препятствия. Рерих — творец, писатель, мыслитель и водитель, предвидит приближение его Нового Мира... Любовь, красота, действие — щиты Рериха, и во имя их он одержал свои великие победы».

Но это Восток. А Запад? Сдержанный, недоверчивый, желчный, ироничный Запад? На мгновение он забывает об иронии, обязательном скепсисе, даже о сдержанности, настолько захватывает его волна восхищения и энтузиазма. В словах, обращенных к Рериху, звучит органный торжественный тембр.

«Если Фидий был творцом божественной формы и Джотто живописцем души, то можно сказать, что Рерих раскрывает дух космоса» (Барнет Д. Конлан).

«...История предоставит ему в нашей эпохе такое же место, какое было предоставлено, например, Френсису Бэкону, выделявшемуся как центральная фигура эпохи, когда в поток европейской культуры влился новый творческий импульс, или Микеланджело и Леонардо да Винчи — этим наивысшим светочам эпохи Возрождения, или Периклу — этому синониму великолепия Греции... Короче говоря, Рериху даже теперь обеспечено место среди бессмертных мира сего благодаря тем элементам бессмертия, которые он так явно внес своей многообразной и изумительной культурной и художественной деятельностью» (Теодор Хеллин).

К восторженным отзывам людей искусства (их, предположим, еще можно упрекнуть в склонности к преувеличению) присоединяются голоса трезвых политических деятелей, людей самых разнообразных профессий.

«Я чувствую, что наш теперешний век является крупным должником по отношению к академику Рериху» (Генри Уоллес, министр земледелия, будущий вице-президент США, помощник и соратник Франклина Рузвельта).

«Имя Рериха останется в истории, как имя человека, сделавшего больше в защиту и для развития искусства и культуры и достижения постоянного мира, чем кто-либо другой, будь это теперь или в прошлом» (Из статьи английского пол-

ковника A. E. Mahon в лондонском журнале «Around The World»).

И вот что знаменательно. Все, или почти все, кто чувствует всемирную значимость искусства и личности Рериха, отчетливо чувствуют и другое: искусство Рериха неотделимо от творчества его страны, а сам он (говоря его же словами) лишь гонец и вестник ее.

«Великий художник! — восклицает один из западных почитателей гения Рериха. — Его искусство свидетельствует, что из России на весь мир исходит некая сила, — я не могу измерить ее, не могу определить ее словами, но она налицо».

А в 1943 году, когда отгремят победные залпы решающих переломных сражений второй мировой войны, в предгорье Гималаев придет письмо, подписанное внуком Чарлза Диккенса.

«Ваша страна всегда нам велика, ибо знаем ее предназначение, а теперь велика всему миру. Истинно ваша страна спасла мир, но совершит она и еще величайшее. Будущее России может быть сравнено с вашею картиною, где великая светлая звезда блистает на заре. Россия поведет весь мир!»

2

Зима 1921 года. В Нью-Йорке объявлено об открытии выставки всемирно известного русского художника Николая Рериха. Толпа осаждала кассы, потом до отказа заполняла тесные залы галереи. Газеты подсчитали, что в первый же день выставку посетило 10 000 человек! Нынешний вице-президент музея Рериха в Нью-Йорке Зинаида Григорьевна Фосдик вспоминает:

«Я стояла перед «Сокровищем ангелов», «Языческой Русью» и «Экстазом» — тремя огромными полотнами сверхчеловеческой красоты и спокойствия, какие мог задумать и осуществить в красках только выдающийся ум, родственный Леонардо да Винчи.

Для меня толпа уже не существовала, исчезла. Я стояла лицом к лицу с Беспредельностью... Великие пространства космической значимости, горы, водные пути, массивные утесы, земные и небесные вестники, скромные святые и герои населяли мир Рериха, который он, в свою очередь, давал людям с щедростью, присущей истинному гиганту искусства. Я задыхалась, слезы наполняли глаза, мысли и эмоции били ключом в моем сердце. Мой до сих пор обособленный мир уступил дорогу миру неземной красоты и мудрости.

Кто-то меня вырвал из моей погруженности во все это великолепие, настаивая, что он хочет меня представить художнику. Почти неохотно я последовала за ним, только теперь отдавая себе отчет, как крутится вокруг меня толпа; я думала о том, каким усталым и безразличным должен быть художник, встречая людей, которых он тотчас же забудет. Но он предстал передо мной с искрящимися синими глазами, благородным челом, излучающим какую-то особую доброжелательность; его взгляд был проницателен, как будто он мог заглянуть глубоко в душу человека и найти ее самую сущ-

ность. Он был среднего роста, с клинообразной бородкой. Рядом с ним стояла его жена, Е. И. Рерих, такой поразительной красоты, что у меня захватывало дыхание. Меня представили. Я слышала тембр их голосов, с улыбкой говорящих со мной на нашем языке, и, к моему изумлению, как во сне, я услышала приглашение посетить их в тот же вечер в доме художников».

Зинаида Григорьевна рассказывает, как была она ошеломлена неожиданным приглашением, с каким лихорадочным нетерпением ожидала вечера.

«Когда я вошла в большую студию и была принята с тем чудесным радушием, естественно свойственным русскому характеру, меня ожидало много других, не менее изумительных сюрпризов. Этот великий человек и его жена приняли меня, как будто они знали меня! Более того, они начали мне рассказывать о своих планах... о своей миссии в Соединенных Штатах и о будущем, в то же время выявляя глубокий интерес к моей музыке и педагогической деятельности».

Вся жизнь Зинаиды Григорьевны будет идти отныне под знаком этой встречи. На ее долю выпадет радость непосредственного общения с великим художником.

«Быть близким к Николаю Рериху, — скажет она впоследствии, — было как бы посещением одновременно нескольких университетов... Он был сеятелем не для себя, но для человечества... Водитель для меня и учитель для многих».

«...Его взгляд был проницателен, как будто он мог заглянуть глубоко в душу человека и найти ее самую сущность».

На живописных портретах Рериха сила его взгляда как бы приглушена. Взгляд его устремлен куда-то вглубь, он, как и все существо художника, подчинен какой-то внутренней, не прекращающейся ни на единый миг работе.

Но на фотографиях (не на всех, но на некоторых) глаза Рериха смотрят на вас в упор. Энергия, электрическая насыщенность взгляда поразительны. Поневоле понимаешь человека, который, увидев фотографию Рериха, восхищенный мощью его глаз, воскликнул: «Какие окна духа!»

3

Статью «Держава Рериха» Леонид Андреев завершает шутливым замечанием: «Не мешает послать в царство Рериха целую серьезную бородатую экспедицию для исследования. Пусть ходят и измеряют, пусть думают и считают; потом пусть пишут историю этой новой земли и заносят ее на карты человеческих откровений, где лишь редчайшие художники создали и укрепили свои царства».

С той поры воды утекло немало. Уже не одна «бородатая» и «небородатая» экспедиции путешествовали по маршрутам «Державы Рериха», которая, кстати, с той поры еще шире, еще дерзновенней раздвинула свои границы. «Пусть ходят и измеряют». Но чтобы не заблудиться в неведомых просторах, экспедиция должна иметь компас, должна иметь надежные ориентиры. У каждой экспедиции они будут свои. На мой

взгляд, таким компасом, такими ориентирами могут служить стихи самого художника.

Исключительно многогранно и многоцветно творчество Рериха. Рериха-художника мы знаем. Рериха-писателя, Рериха-поэта мы знаем меньше или не знаем вовсе. А между тем — цитирую известного индийского писателя — «Его легкое, не требующее усилий перо, соперничая иногда с его кистью, беспрестанно исторгает жемчужины очерков, статей и духовных воззваний». В творческом наследии художника стихи занимают особое место. Сам Рерих считал, что именно в стихах находится ключ к сокровенному пониманию его пути. Он говорил, что они имеют программное значение для всего его творчества.

Прежде всего должно заметить, что стихи Рериха не плоды любительского увлечения, как можно было бы заранее, до знакомства с ними, предположить. Это не хобби (если прибегать к современному термину).

Не являются стихи Рериха и простыми пояснениями к его картинам, как это может показаться с первого взгляда. Конечно, очень легко заметить, что стихи перекликаются с сюжетами картин. Сопоставления напрашиваются сами собой. Сергий Радонежский, которому медведи помогают в трудах его (картина «Сергий-Строитель»), славянский Орфей, завораживающий свирелью бурых хозяев северного леса (картина «Человечьи праотцы»), и духовный водитель, образ которого как бы перекочевал из легенды в стихотворение «Не поняв».

Как трудно распознать все твои
устремленья. Как не легко идти
за тобою. Вот и вчера, когда ты
говорил с медведями, мне
показалось, что они отошли, тебя
не поняв.

Можно привести и другой пример. Образ вестника, столь любимый Рерихом, с одинаковой силой владеет и воображением художника, и воображением поэта.

И все же делать на этом основании вывод, что стихи играют подсобную роль, было бы поспешно и ошибочно. Дело в том, что провести строгую демаркационную линию между стихами и остальным творчеством Рериха нельзя. Для него такого деления не существовало. Картины, стихи, сказки, статьи — все это для него волны единого творческого потока. Естественно поэтому, что стихи и картины перекликаются друг с другом, дополняют и проясняют друг друга. Но стихи, как и картины, имеют свое, самостоятельное, значение. Кстати, интерес современников к стихам Рериха был велик. О них спорили, ими восхищались.

Горький определял стихи Рериха величественным словом «Письмена». Это выразительное слово сразу высвечивает характерную особенность поэзии Рериха. Ведь письмена не рядовые начертательные знаки, которые мигом могут уложиться в сознании человека. Нет, над письменами надо сидеть, надо думать, может быть, надо их расшифровывать. «Берегли письмена мудрые тайны», — сказано в одном из стихотворений

Рериха. А «мудрые тайны» с наскоку не даются. Они не поддаются поверхностному изучению.

Стихи Рериха — это короткая философская притча, иногда — пейзажная зарисовка, вырастающая в символ. Но чаще всего это обращение к самому себе, как бы со стороны, от имени своего внутреннего «я».

Принято говорить о своеобразии стихов Рериха. Они действительно необычны. Необычна ритмическая структура белого стиха. Необычна предельная обнаженность мысли. К стихам Рериха вполне приложимы слова Тагора: «Моя песнь сбросила с себя украшения. На ней нет нарядов и убранства. Они омрачили бы наш союз. Они мешали бы нам...» Мысль в стихах Рериха не отягощена ничем. Никаких украшений. Никаких подпорок. Она как провод, освобожденный от изоляции. Любопытно композиционное строение стиха. Последнее слово, несущее наибольшую смысловую нагрузку, обязательно выносится в название стихотворения. Получается круг, кольцо, которым, словно стальным обручем, схвачено все стихотворение.

«Напряженная мысль имеет все качества магнита», — говорил Рерих. Строки его стихов намагничены высокой энергией устремленной мысли.

Как и все созданное Рерихом, стихи носят печать его неповторимой индивидуальности. Но непохожесть его стихов на что-либо другое вовсе не ставит их особняком, где-то в стороне от традиций русской поэзии. Стихи Рериха неразрывны с главной линией нашей философской лирики, представленной именами Державина, Баратынского, Тютчева. В новых условиях они продолжают ее по-новому.

Русская поэзия еще в начале прошлого века набросала величественную картину мироздания:

Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины, —
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.

Стремление к неизведанному всегда пересиливало сомнения и страхи, и ищущий человеческий ум дерзал заглядывать в глубины головокружительной бездны. В борьбе с сомненьем и отчаяньем, подчиняя себе хаос противоречивых мыслей и желаний, отливался в торжественные строки манифест независимого человеческого духа:

Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,
Как бой ни жесток, ни упорна борьба!
Над вами безмолвные звездные круги,
Под вами немые, глухие гроба.

Пускай олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.

Все это находило прямой отзвук в душе Рериха. Он ощущал дыхание космоса в каждой былинке, в каждой капле воды.

А напряжение духовной битвы не покидало его ни на миг. В стихотворении «Не убьют» Рерих говорит, обращаясь к себе и не только к себе:

Сделал так, как хотел,
хорошо или худо, не знаю.
Не беги от волны, милый мальчик.
Побежишь — разобьет, опрокинет.
Но к волне обернись, наклонися
и прими ее твердой душою.
Знаю, мальчик, что биться
час мой теперь наступает.
Мое оружие крепко.
Встань, мой мальчик, за мною.
О враге ползущем скажи...
Что впереди, то не страшно.
Как бы они ни пытались,
будь тверд, тебя они
не убьют.

Не собираюсь искать внешне похожих строчек или повторяющихся мотивов. Стихи Тютчева и Рериха роднит другое: внутреннее единство, единство устремления и духовного настроя. А повторяется в них то, чему суждено повториться еще многократно: призыв к героическому напряжению всех духовных сил человека.

4

Философия стихов Рериха — не уход от действительности, не бегство в потусторонние миры. Наоборот. Она в высшей степени действенна, ибо связана с живой реальностью. Более того, сквозь своеобразную философскую символику легко угадывается биографическая основа стихов. Леонид Андреев называл Рериха поэтом Севера, а его стихи — «Северным сиянием». Это очень точная характеристика. Сдержанные краски северного озерного края все время воскресают в философских стихах Рериха. Углубленно-внутренняя работа мысли и духа происходит на фоне прозрачных карельских пейзажей.

Зелены были поля.
А дали были так сини.
Потом шли лесами и мшистым
болотом. Цвел вереск. Ржавые
мшаги мы обходили. Бездонные
окнища мы миновали.

«Настроения, рожденные жизнью, дали притчи «Священные знаки», «Друзьям», «Мальчику», — подчеркивает Рерих. «Настроения, рожденные жизнью». А в жизни назревают события всемирной значимости. Творчество Рериха насыщено предчувствием грядущего переворота.

В стихотворении «В танце», датированном последним пред-

революционным годом, Рерих резкими штрихами рисует обобщенный образ буржуазного мира накануне катастрофы: с его бездуховностью, с его страхом перед грядущей катастрофой, с его стремлением любым способом уйти от этого страха, забыть, забыться.

Бойтесь, когда спокойное придет
в движенье. Когда посеянные ветры
обратятся в бурю. Когда речь людей
наполнится бессмысленными словами.
Страшитесь, когда в земле кладами
захоронят люди свои богатства.
Бойтесь, когда люди сочтут
сохранными сокровища только
на теле своем. Бойтесь, когда возле
соберутся толпы. Когда забудут
о знании. И с радостью разрушат
узнанное раньше. И легко исполнят
угрозы. Когда не на чем будет
записать знание ваше. Когда листы
писаний станут непрочными,
а слова злыми. Ах, соседи мои!
Вы устроились плохо. Вы все
отменили. Никакой тайны дальше
настоящего! И с сумою несчастья
вы пошли скитаться и завоевывать
мир. Ваше безумие назвало самую
безобразную женщину: желанная!
Маленькие танцующие хитрецы!
Вы готовы утопить себя
в танце.

Удивительно современные стихи. Буржуазный мир, если и изменился в наши дни, то только в том смысле, что бездуховность его стала глобальнее, ритмы танцев бесноватее, а страх еще животнее.

Приметы внешнего мира и внешней жизни в стихах Рериха очерчены достаточно четко. Но, разумеется, ими не исчерпывается содержание стихов. Оно глубже, тоньше, сокровеннее. В них запечатлен духовный и творческий поиск художника.

5

Поэтическое наследство Рериха невелико. Почти все стихи собраны в книге «Цветы Мории», изданной при жизни художника. Основу книги составили произведения «карельского» периода (1916—1918 гг.), созданные на переломном рубеже жизни. Но есть в книге стихи, датированные и более ранними и более поздними годами. Последняя и самая значительная вещь Рериха — поэма «Наставление ловцу входящему в лес» — написана в 1921 году. После этого известен лишь один случай, когда художник вновь обращается к поэтическому жанру:

стихи 1932 года «Орифламма». Но они преследовали локальную цель. Художник мыслил их как подпись к картине с тем же названием.

Книга «Цветы Мории» была издана в Берлине в 1921 году. Она вышла в трудное для Советской республики время, и средства, полученные от ее продажи, предназначались голодающим в России.

Книгу предваряет эпиграф. Он очень важен. Не только потому, что в строчках эпиграфа сконцентрировано содержание книги, но и потому, что здесь сформулирован незыблемый символ веры Николая Константиновича Рериха. Вот эти строки, ставшие девизом всей многотрудной жизни художника:

Поверх всяких Россий есть одна незабываемая Россия.

Поверх всякой любви есть одна общечеловеческая любовь.

Поверх всяких красот есть одна красота, ведущая к познанию космоса.

Глава вторая

„ЕСТЬ ОДНА НЕЗАБЫВАЕМАЯ РОССИЯ“

1

«Россия не только государство. Она... океан, стихия, которая еще не оформилась, не влегла в свои, предназначенные ей берега, не засверкала еще в отточенных и ограниченных понятиях в своем своеобразии, как начинает в бриллианте сверкать сырой алмаз. Она вся еще в предчувствиях, в брожениях, в бесконечных желаниях и бесконечных органических возможностях.

Россия — это океан земель, размахнувшийся на целую шестую часть света и держащий в касаниях своих раскрытых крыльев Запад и Восток.

Россия — это семь синих морей; горы, увенчанные белыми льдами; Россия — меховая щетина бесконечных лугов, ветреных и цветущих.

Россия — это бесконечные снега, над которыми поют мертвые серебряные метели, но на которых так ярки платки русских женщин, снега, из-под которых нежными веснами выходят темные фиалки, синие подснежники.

Россия — страна развертывающегося индустриализма, нового, невиданного на земле типа... Россия — страна неслыханных, богатейших сокровищ, которые до времени таятся в ее глухих недрах.

Россия не единая раса, и в этом ее сила. Россия — это объединение рас, объединение народов, говорящих на сто сорока языках, это свободная соборность, единство в разности, полихромия, полифония...

...Россия — могучий хрустальный водопад, дугою вьющийся из бездны времени в бездну времен, неохваченный доселе морозом узкого опыта, сверкающий на солнце радугами сознания...

Россия грандиозна. Неповторяема. Россия — полярна. Россия — мессия новых времен».

Я цитирую письмо Рериха, помеченное 26 апреля 1935 года. Но вот закончен абзац, и выясняется, что этот каскад ошеломительных образов принадлежит не Рериху, а его адресату, писателю Всеволоду Никаноровичу Иванову.

«Не странно ли, что в письме к Вам выписываю Ваши же слова. Но слова эти так верны, так душевны, так красивы, что, просто, хочется в них еще раз пережить запечатленные в них образы».

Всеволод Никанорович работал над книгой о Рерихе. Первую главу будущей книги он послал художнику. Поэтический пролог замыкали следующие строки.

«И Рерих — связан с этой Россией. Связан рождением, молодостью, первыми осенениями, образованием, думами, писанием, пестротой своей русской и скандинавской крови. И особливо:

— Связан с ней своим огромным искусством, ведущим к постижению России».

«Связан рождением, молодостью, первыми осенениями...»

Рерих родился в Петербурге в 1874 году. Летние дни мальчик проводит в имении отца, которое носит странное название «Извар». Скупая и торжественная красота русского Севера захватывает его воображение. Впоследствии в биографической повести «Пламя» он скажет устами главного героя:

«Вообще помни о Севере. Если кто-нибудь тебе скажет, что Север мрачен и беден, то знай, что он Севера не знает. Ту радость, и бодрость, и силу, какую дает Север, вряд ли можно найти в других местах. Но подойди к Северу без предубеждения. Где найдешь такую синеву далей? Такое серебро вод? Такую звонкую медь полуночных восходов? Такое чудо северных сияний?»

Небо и облака, которые почему-то в северных краях так заземлены и, как нигде, приближены к травам и деревьям, пробуждают в нем инстинкт художника.

«Среди первых детских воспоминаний прежде всего вырастают прекрасные узорные облака. Вечное движение, щедрые перестроения, мощное творчество надолго привязало глаз ввысь. Чудные животные, богатыри, сражающиеся с драконами, белые кони с волнистыми гривами, ладьи с цветными золочеными парусами, заманчивые призрачные горы — чего только не было в этих бесконечно богатых, неисчерпаемых картинах небесных...»

С детства Рерих воспитывается на лучших образцах русского реалистического искусства. В Академии художеств он попал в мастерскую Куинджи, замечательного художника и человека высокой нравственной чистоты. «Он-то понимал, — говорил о нем Рерих, — значение жизненной битвы, борьбы света со тьмою». До конца своих дней сохранил воспитанник благоговейную память о нем. Он называл его учителем с большой буквы, Учителем жизни.

В студенческие годы жизнь свела Рериха со Стасовым. Вряд ли это можно считать случайностью. К знаменитому русскому критику тянулось все подлинно демократическое, нова-

торское. С каким темпераментом, с какой страстной убежденностью отстаивал Стасов то, что было так близко юному художнику, — независимость русского искусства:

«Отчего русское искусство, как русская литература, во многом опередило мир? Оттого, что оно храбро и дерзко!.. В этой храбрости — главный русский характер...».

Конечно, в атмосфере полемики и споров, которые всегда бурлили вокруг неукротимого критика, высказывались и крайние мнения, рождались неожиданные парадоксы. Но трафаретные обвинения в адрес Стасова в узости и национальной ограниченности Рерих считал абсурдными. Цитируя слова Стасова «всякий народ должен иметь свое собственное национальное искусство, а не плестись в хвосте других, по протоptенным колеям по чьей-либо указке», художник говорит: «В этих словах вовсе не было осуждения иноземного творчества. Для этого Стасов был достаточно культурный человек; но, как чуткий критик, он понимал, что русская сущность будет оценена тем глубже, если она выявится в своих прекрасных образах».

Самобытность дарования Рериха проявилась рано. В качестве дипломной работы он представляет в Академию художеств полотно, написанное на сюжет древнерусской истории: «Гонец». Гонец в ладье спешит к древнерусскому поселению с важною вестью о том, что «восстал род на род». Картина стала настоящей сенсацией. Она поражала точностью психологического видения времени, тревожным напряжением красок. Тут же, на конкурсной выставке Академии художеств, она была приобретена для своей галереи П. М. Третьяковым.

В дела своего молодого друга властно вторгается Стасов. Он зовет его в гости к Толстому.

— Что мне все ваши академические дипломы и отличия? — гремит его голос. — Вот пусть сам великий писатель земли русской произведет в художники. Вот это будет признание. Да и «Гонца» вашего никто не оценит, как Толстой. Он-то сразу поймет, с какой такою вестью спешит ваш «Гонец».

2

До самых мельчайших подробностей запомнилась поездка. Москва. Тихий Хамовнический переулок. Старинный дом, отделенный от улицы двором. «Пахло не то яблоками, не то старою краской, не то особым запахом библиотеки. Все было такое простое и вместе с тем утонченное. Встретила нас графиня Софья Андреевна. Разговором, конечно, завладел Стасов, а сам Толстой вышел позже».

Разумеется, цепкий профессиональный взгляд художника сразу схватил внешние черты облика писателя: «...белый, в светлой блузе, потом прозванной «толстовкой». Характерный жест рук, засунутых за пояс, — так хорошо уловленный на портрете Репина».

Но Рериха интересует то главное, то внутреннее, что дару-

ет такую притягательную силу всему облику Толстого. Он пытается понять это главное.

«Только в больших людях может сочетаться такая простота и в то же время несказуемая значительность. Я бы сказал — величие, но такое слово не полюбилось бы самому Толстому, и он, вероятно, оборвал бы его каким-либо суровым замечанием. Но против простоты он не воспротивился бы. Только огромный мыслительский и писательский талант и необычайно расширенное сознание могут создать ту убедительность, которая выражалась во всей фигуре, в жестах и словах Толстого. Говорили, что лицо у него было простое. Это неправда, у него было именно значительное русское лицо. Такие лица мне приходилось встречать у старых мудрых крестьян, у староверов, живших далеко от городов. Черты Толстого могли казаться суровыми. Но в них не было напряжения, и само воодушевление его при некоторых темах разговора не было возбуждением, но, наоборот, выявлением мощной спокойной силы. Индии ведомы такие лица».

Наконец разговор перешел к картине Рериха. Художник привез ее фотокопию. Много слышал отзывов Рерих. Восхищались неожиданным свечением красок. Молодого художника объявляли родоначальником исторического пейзажа. Но Толстой подошел к картине с необычной стороны. Он увидел в ней и в художнике то, чего не увидели другие. Он действительно понял, с какою вестью спешит «Гонец».

«Толстой говорил: «Случалось ли в лодке переезжать быстроходную реку? Надо всегда править выше того места, куда вам нужно, иначе снесет. Так и в области нравственных требований надо рулить всегда выше — жизнь все равно снесет. Пусть ваш гонец очень высоко руль держит, тогда доплывет».

Эти слова уйдут в самую глубину сердца. Спустя много лет, когда Рерих будет всемирно признанным мастером, они воскреснут в его письме к молодому художнику.

«Будьте проще и любите природу. Проще, проще! Вы творите не потому, что «нужда заставила». Поете, как вольная птица, не можете не петь. Помните, жаворонок над полями весною! Звенит в высоте! Рулите выше!»

«Затем Толстой заговорил о народном искусстве, о некоторых картинах из крестьянского быта, как бы желая устремить мое внимание в сторону народа. «Умейте поболеть с ним», — такими были напутствия Толстого. Затем началась беседа о музыке. Опять появились парадоксы, но за ними звучала такая любовь к искусству, такое искание правды и заботы о народном просвещении, что все эти разнообразные беседы сливались в прекрасную симфонию служения человечеству».

Не однажды обратится Рерих к воспоминаниям о Толстом. В долине Кулу, в предгорье Гималаев, напишутся слова: «Священная мысль о прекрасной стране жила в сердце Толстого, когда он шел за сохою, как истинный Микула Селянинович древнерусского эпоса, и когда он... тачал сапоги и вообще искал прикоснуться ко всем фазам труда. Без устали разбрасывал этот сеятель жизненные зерна, и они крепко легли в сознании русского народа».

Образ Толстого так дорог Рериху, что сама мысль о нем,

подкрепленная живым воображением художника, на мгновение преображает весь окружающий мир.

«И сейчас записываю эти давние воспоминания, а перед окном от самой земли и до самого неба — через все пурпуровые и снеговые Гималаи засияла всеми созвучиями давно небывалая радуга. От самой земли и до самого неба!»

3

У искусствоведов бытует разделение творчества Рериха на два периода: «русский» и «индийский». Конечно, такое разделение имеет свое основание. Его диктует сама биография художника. И все же оно приблизительно и условно. В «русский» период он неоднократно обращается к индийским сюжетам, а на склоне лет, в разгар увлеченной работы над гималайской серией, он пишет знаменитые картины на русские темы: «Сергий-Строитель», «Святогор», «Настасья Микулична», «Богатыри просыпаются». Точнее существо дела выразил сам художник, когда внес в записную книжку знаменательные слова: «Повсюду сочетались две темы — Русь и Гималаи».

Никогда для Рериха не стоял вопрос в такой плоскости: Россия или Индия? Он решал эту проблему иначе: Россия и Индия, ибо вся его жизнь была подчинена стремлению найти общие корни двух великих народов.

Свое творчество художник считал неотъемлемой частью русской культуры. Статьи Рериха по справедливости зовут «духовными воззваниями». По-иному их и не назовешь: такой призыв к немедленному действию в них звучит. В одном из «воззваний», написанном, кстати, в «индийский» период, в 1935 году, художник вдохновенно формулирует свою творческую программу:

«И в пустынных просторах, и в пустынной тесноте города, и в песчаной буре, и в наводнении, и в грозе, и молнии будем держать на сердце мысль, подлежащую осуществлению, — о летописи русского искусства, о летописи русской культуры, в образах всенародных, прекрасных и достоверных».

Так называемый «русский» период (если уж принять для удобства схему, предложенную искусствоведами) — особая глава творческой биографии Рериха. Здесь исток всех истоков, начало всех начал художника.

Но постоянная устремленность Рериха к сокровенным глубинам национального искусства вовсе не означала узости и замкнутости его творческого поиска. Мировая живопись в лучших своих образцах питает воображение художника. Несколько лет он живет в Париже. Он учится технике рисунка у французского художника Кормона. Он с увлечением изучает картины Пювис де Шаванна, этого волшебника «скудной, как бы затертой, сдержанной краски, что делает его живопись похожей на гравюры». Национализм, дешевая фанаберия спекулянтов идеи претят Рериху. «Оставим зипуны и мурмолки. Кроме балагана, кроме привязанных бород и переодеваний, вспомним, была ли красота в той жизни, которая протекала

именно по нашим территориям. Нам есть что вспомнить ценное в глазах всего мира».

Стремясь открыть красоту русской истории для современников, Рерих становится археологом. Его раскопки северных курганов предметно воскрешали давно прошедшую эпоху. «Колеблется седой вековой туман; с каждым взмахом лопаты, с каждым ударом лома раскрывается перед вами заманчивое тридесятое царство; шире и богаче развертываются чудесные картины».

Рерих первым обратил внимание на работу наших древних иконописцев. Он первым заговорил о величайшем значении труда «богомазов», как пренебрежительно их звали в то время, для русской культуры. Он первым осмелился (именно осмелился) взглянуть на иконы со стороны чистейшей красоты. Отбросив предубеждение, он рассмотрел в иконах и стенописях не грубые, неумелые изображения, а «великое декоративное чутье, овладевавшее даже огромными плоскостями».

— Как прекрасны и гармоничны фрески древних храмов, — восклицает Рерих, — какое верное чутье величественной декорации руководило древними художниками!

Сейчас, когда весь мир оценил наконец художественное значение русской иконописи, это кажется азбучной истиной. Но в начале XX века это было неслыханной дерзостью. На уровне курьеза воспринимались предсказания художника. «Даже самые слепые, даже самые тупые скоро поймут великое значение наших примитивов, значение русской иконописи. Поймут, и завопят, и заахают. И пускай завопят! Будем их вопление пророчествовать — скоро кончится «археологическое» отношение к историческому и народному творчеству и пышнее расцветет культура искусства».

Обстановка не благоприятствовала начинанию Рериха. Сокровища народного гения были в постыдном и преступном небрежении. Когда в Индии в 1939 году художник узнал об объявлении Новгорода городом-музеем, он сказал: «А ведь в прошедшем это было бы совсем невозможно, ибо чудесный Ростовский Кремль с храмами и палатами был назначен к продаже с торгов. Только самоотверженное вмешательство ростовских граждан спасло русский народ от неслыханного вандализма».

Выступления Рериха в защиту русской иконы вызвали целый переполох. Борьбу пришлось вести сразу на нескольких фронтах. Художники и эстетические критики, ориентирующиеся на Запад, видели в иконах серые неуклюжие примитивы. Явно намекая на «версальского рапсода» Бенуа, с которым Рериха некогда формально объединял «Мир искусства», художник вспоминает: «Когда мы говорили о российских сокровищах, то нам не верили и надменно улыбались, предлагая лучше отправиться в Версаль. Мы никогда не опорочивали иностранных достижений, ибо иначе мы впали бы в шовинизм. Но ради справедливости мы не уставали указывать на великое значение всех ценностей российских».

С горечью художник замечает: «В неких историях искусства пристрастные писатели восставали против всех, кто вдохновлялся картинами из русской жизни. Потребовалось вмешательство самих иностранцев, преклонившихся перед рус-

ским искусством, перед русскою музыкою и театром и признавших гений русского народа».

Были и другие противники, еще более непримиримые, — церковники и официальные охранители традиций. «Омоложение» русской иконы, затеянное Рерихом, они считали кощунством и подрывом незыблемых устоев.

— Любопытно, кто первый направил палеховцев и мстерцев в область былинной иллюстрации? — спрашивал Рерих в том же, 1939 году. — Счастлива была мысль использовать народное дарование в этой области. Помню, как на нашем веку этих даровитых мастеров честили «богомазами». Впрочем, тогда ухитрялись порочить многие народные достояния. Доставалось немало за любовь к народному художеству. Правилен был путь наш. Не пришлось с него сворачивать.

«Омоложение» Рерихом русской иконы обозначило новый рубеж в отношении к культуре нашего прошлого. Взглядам людей открылся неведомый доныне мир, спрятанный в глубине веков. Впечатление было ошеломляющим. Современник Рериха пишет:

«Впервые мы услыхали не сухое, отдающее затхлостью мнение археолога о предметах святых и дорогих, а живой голос художника, уяснившего нам подлинное значение старых городов и городищ, древних церквей, древних церковных росписей, и вдруг воскрес живой смысл памятников отдаленных веков. Воистину воскрес, потому что Рерих первый подчеркнул художественную сторону красот древнерусского искусства... И вдруг наше искусство, остававшееся так долго под спудом, озаряется солнечным светом... Отсюда вытекает естественный вывод о громадном значении для нашего существования труда наших предков. Не уныние, не меланхолию, не укор вызывает деятельность прошедших поколений, наоборот, она влечет к ликованию и радости».

Чисто стилизаторские тенденции чужды духу художника. Прошлое не самоцель, утверждает он всей своей деятельностью. «...Когда зовем изучать прошлое, будем это делать лишь ради будущего... Когда указываем беречь культурные сокровища, будем это делать не ради старости, но ради молодости».

Автор монографии о художнике Е. И. Полякова, повторяя образное определение его творчества — «Держава Рериха», утверждает: «Сердце этой державы — прекрасная Древняя Русь». С этим можно согласиться, но отбросив эпитет. Просто Русь. Древняя. Современная. Устремленная в завтра.

4

В начале века Рерих вырастает в крупнейшего художника России. В 1909 году он становится академиком. Одна за другой появляются картины Рериха. В них причудливо сочетаются современность и история, фантастика и реальность. Современников восхищает одухотворенность его полотен, их поэтиче-

ская пластичность и целостность. Краски звучали, царствовала «магия знака, линии и цвета».

Это был мир ощутимой реальности, но лишенный прямолинейной и грубой конкретности натурализма, мир, насыщенный глубокой символикой. В марте 1914 года художник завершает очередную серию картин. В этой серии — полотно с откровенно аллегорическим названием «Град обреченный». Огнедышащий дракон окружил телом своим город, наглухо закрыв все выходы из него. «Короны». Три короля скрестили мечи, а с их голов снялись короны. Короны растворяются в синеве, превращаются в призрачные облака. Современники не раз вспомнят эту картину, особенно в конце войны, которая принесет крушение некогда могучим монархиям: российской, австро-венгерской и германской.

В 1915 году новые картины Рериха демонстрируются на выставке «Мира искусства». 12 февраля 1915 года выставку посетил Горький.

«Он очень хотел иметь мою картину, — рассказывает Рерих. — Из бывших тогда у меня он выбрал не реалистический пейзаж, но именно одну из так называемой «предвоенной» серии — «Город осужденный», именно такую, которая ответила бы прежде всего поэту».

Именно эта картина дала повод Горькому назвать художника «величайшим интуитивистом современности».

У Рериха есть биографический очерк «Друзья». Перебирая в памяти людей, с которыми он был духовно связан, Рерих пишет: «Кроме друзей из живописно-художественного мира, всегда были близки еще три группы, — а именно зодчие, музыканты и писатели... Из писателей — дружеские отношения с Горьким, Леонидом Андреевым и с некоторыми корифеями старшего поколения».

Общие дела и общие устремления рождали и общих врагов. «Нововременский Буренин как-то повадился в нескольких своих фельетонах в связи с Горьким и Андреевым ругать и меня. Мы, конечно, не обращали внимания на этот лай».

Дружба великого писателя и великого художника сразу приобретает (да иначе и быть не могло) творческую окраску. Рериху крайне дорого участие Горького в его литературной работе. «Дорогой Алексей Максимович! — пишет художник 4 ноября 1916 года. — Посылаю Вам корректуру. За все замечания Ваши буду искренне признателен. Хорошо бы повидаться: в словах Ваших так много озона и глаза Ваши смотрят далеко. Глубокий привет мой Марии Федоровне. Сердечно Вам преданный Рерих». Свои стихи, ценя высокий поэтический вкус Горького, он в первую очередь показывает ему. Впоследствии, будучи за границей, выпуская в свет сборник статей и очерков «Пути благословения», он озабоченно пишет из Индии своему рабочему секретарю Шибаеву: «Пошлите два экземпляра книги (в русском новом правописании) Горькому в Берлин с приложенным письмом (адрес в издательстве Гржебина)».

— Многие ценные черты Горького выяснятся со временем, — говорил Рерих. — Мне приходилось встречаться с ним многократно как в частных беседах, так и среди всяких заседаний комитетов, собраний. Во всем этом многообразии вспы-

хивали постоянно новые, замечательные черты характера Горького, подчас совершенно не совпадавшие с суровой наружностью писателя. Помню, как однажды, когда в одной большой литературной организации нужно было найти специальное решение, я спросил Горького о его мнении. Он же улыбнулся и ответил: «Да о чем тут рассуждать, вот лучше Вы, как художник, почувствуйте, что и как надо. Да, да, именно почувствуйте, ведь вы интуитивист. Иногда поверх рассудка нужно хватать самою сущностью».

Рериха и Горького роднило одно качество: оба они были работники в подлинном смысле этого слова. Оба они не чурались (хотя, казалось бы, заботы о собственном творчестве должны были их поглотить целиком) обычных и суровых дел повседневности. Художник вспоминает:

«Пришлось мне встретиться с Горьким и в деле издательства Сытина (Москва), и в издательстве «Нива». Предполагались огромные литературные обобщения и просветительные программы. Нужно было видеть, как каждая условность и формальность коробили Горького, которому хотелось сразу превозмочь обычные формальные затруднения. Он мог строить в широких размерах. Взять хотя бы выдвинутые им три мощных культурных построения. Имею в виду «Дом Всемирной литературы», «Дом ученых» и «Дом искусств». Все три идеи показывают размах мысли Горького, стремившегося через все трудности найти слова вечные, слова просвещения и культуры. Нерасплесканной он пронес свою чашу служения человечеству».

Горькому, несомненно, импонировало в художнике умение ладить с людьми, привычка самому делать черновую работу. Не случайно, когда в весенние революционные дни 1917 года была создана «Комиссия по делам искусств» и председателем ее был назначен Горький, пост своего помощника он предложил Рериху.

Расстояния разделили впоследствии писателя и художника. Но то, что их соединяло — их творчество, — было и над расстоянием, и над временем. В рассказе поэта Ходасевича о встрече с Горьким всплывает имя Рериха. «В один из приездов в 1935 году в Горки в столовой я увидел развешенными на стенах восемь картин Н. Рериха. Они озарили довольно неуютную большую столовую и поражали (как всегда рериховские вещи) каким-то свечением красок. Эти картины в основном запомнились по цвету — золотисто-лимонному, оранжевому и багряному. Как мне сказали, Рерих был проездом через СССР из Гималаев в Америку и оставил эти вещи в Москве. Картины эти нравились Алексею Максимовичу».

Об этом факте Рерих узнал позднее (из письма Грабаря). «Между прочим, он сообщает, что моя серия «Красный всадник» (привезенная нами в Москву в 1926 году) находится в Музее Горького в Горках, где он жил... Вдвойне я этому порадовался. Во-первых, Алексей Максимович высказывал мне много дружества и называл великим интуитивистом. Во-вторых, семь картин «Красного всадника» — Гималайские, и я почуял, что в них Алексей Максимович тянулся к Востоку».

Имя Горького нередко возникает в статьях и выступлениях

Рериха в обстановке, подчас накаленной и враждебной. «Помню, когда на одной лекции на Дальнем Востоке я тепло упомянул о Горьком, то раздалось человеконенавистническое рычание...»

Но для Рериха имя Горького прочно и ярко утвердилось «в Пантеоне Всемирной Славы». В статью, посвященную памяти Горького, он включает близкие ему по духу слова Ромена Роллана об их общем великом друге.

«Горький был первым, высочайшим из мировых художников слова, расчищавшим пути для пролетарской революции, отдавшим ей свои силы, престиж своей славы и богатый жизненный опыт... Подобно Данте, Горький вышел из ада. Но он ушел оттуда не один. Он увел с собой, он спас своих товарищей по страданиям».

5

«Случалось так, что Горький, Андреев, Блок, Врубель и другие приходили вечерами поодиночке, и эти беседы бывали особенно содержательны. Никто не знал об этих беседах при опущенном зеленом абажуре. Они были нужны, иначе люди и не стремились бы к ним. Стоило кому-то войти, и ритм обмена нарушался, и торопились по домам. Жаль, что беседы во нощи нигде не были записаны. Столько бывало затронуто, чего ни в собраниях, ни в писаниях никогда не было отмечено».

Действительно, жаль, что не были записаны эти «беседы во нощи». Даже по отдельным, отрывочным записям подчас воскресает такая яркая картина, с такими живыми подробностями, которые память, увы, не всегда сохраняет. Например, из коротенького очерка Рериха о Леониде Андрееве выясняется забавная сторона их общения. «...Во время наших бесед с Леонидом он говорил о своей живописи, а я — о своих писаниях... мы сами иногда от души смеялись, наконец заметив такую необычную обратность суждений».

А Блок? «Помню, как он приходил ко мне за фронтисписом для его «Итальянских песен», и мы говорили о той Италии, которая уже не существует, но сущность которой создала столько незабываемых пламенных вех». В журнале «Аполлон» готовились к печати «Итальянские стихи» Блока. Они были опубликованы в четвертом номере журнала за 1910 год вместе с рисунком Рериха, сделанным сухой кистью и тушью. За этим рисунком и пришел к художнику Блок.

Опираясь на стихи Блока, учитывая характер собеседников, можно с достаточной достоверностью судить о содержании их разговора. Главная «незабываемая пламенная веха» — это, конечно, эпоха Возрождения. Для обоих собеседников она олицетворялась могучей фигурой Данте.

Лишь по ночам, склонясь к долинам,
Ведя векам грядущим счет,
Тень Данте с профилем орлиным
О новой жизни мне поет.

— Почему-то... случалось, — говорит Рерих, — что общения наши всегда бывали какими-то особенными.

На вопрос Рериха, почему он перестал посещать модное в интеллигентских кругах Петербурга религиозно-философское общество, Блок отвечал кратко: «Там говорят о Несказуемом». Впрочем, этот лаконичный ответ имел внушительное добавление: пьесу «Балаганчик», где поэт беспощадно развенчал претенциозные мистерии русских последователей Штейнера.

Документов, где Блок говорит о Рерихе, сохранилось немного. Но они весомы и показательны. Вот телеграмма, присланная поэтом в юбилей Рериха в декабре 1915 года:

«Горячо поздравляю любимого мною сурового мастера. Александр Блок».

Вот письмо редактору журнала «Аполлон» Сергею Маковскому. Маковский просил у Блока на некоторое время рисунок Рериха к «Итальянским стихам» для нового воспроизведения в печати. Блок отвечает:

«Многоуважаемый Сергей Константинович!

Рисунок Н. К. Рериха вошел в мою жизнь, висит под стеклом у меня перед глазами, и мне было бы очень тяжело с ним расстаться даже на эти месяцы. Прошу Вас, не сетуйте на меня слишком за мой отказ, вызванный чувствами, мне кажется, Вам понятными.

Искренне Вас уважающий

Александр Блок».

Чтобы понять всю значимость такого отношения Блока, надо вспомнить, какою высокой и строгой мерой мерил он искусство. Артистка театра Комиссаржевской Веригина (кстати, одна из участниц блоковского «Балаганчика») рассказывает:

«Когда я по привычке делилась с поэтом впечатлениями от прочитанного талантливого произведения, он неизменно говорил. «Да, но ведь это не имеет мирового значения».

Для Блока представляло ценность лишь то, что «имеет мировое значение».

Живопись Рериха и стихи Блока соприкасаются на самых жгучих точках современного им бытия. В озарениях и предчувствиях они прозревают наступление Нового Мира. Они не только предвосхищают его (это еще полдела, и другие предвосхищали его, да только впадали от этого в отчаянье), но и принимают грядущие события с твердой душою. Они приветствуют их.

«В пене океанских волн каждый неопытный мореход находит хаос и бесформенное нагромождение, — пишет Рерих, — но умудренный опытом ясно различает и законный ритм, и твердый рисунок нарастания волны. Не то же ли самое и в пене смятения народов? Так же было бы недальновидно не различать гигантских волн эволюции».

В поэме Блока «Двенадцать» некий вития «говорит вполголоса»:

— Предатели!

— Погибла Россия!

Весь энергический строй и утверждающий пафос поэмы служат ответом насмерть перепуганному кликуше. Не погибла Россия! Погибла «кондовая, избяная, толстозадая»! «Поверх всяких Россий есть одна незабываемая Россия».

«К черным озерам ночью сходятся индийские женщины. Со свечами. Звонят в тонкие колокольчики. Вызывают из воды священных черепах. Их кормят. В ореховую скорлупу свечи вставляют. Пускают по озеру. Ищут судьбу. Гадают.

Живет в Индии красота.

Заманчив великий индийский путь».

Это написано Рерихом в 1913 году. Художник вынашивает планы научной экспедиции в глубины Азиатского континента. Гипотеза о единых корнях индийской и русской культур требовала материальных подтверждений и основательных доказательств.

«Ясно, — писал Рерих, — если нам углубляться в наши основы, то действительное изучение Индии дает единственный материал. И мы должны спешить изучать эти народные сокровища...»

Первая мировая война помешала планам художника. Помешала, но не сорвала их окончательно. После долгой и тщательной подготовки в 1923 году начинается экспедиция Рериха по маршруту Великого Индийского Пути. Ее целью было «проникнуть в таинственные области Азии, в тайны философии и культуры безмерного материка». «Кроме художественных задач, — пишет Рерих, — в нашей экспедиции мы имели в виду ознакомиться с положением памятников древности Центральной Азии, наблюдать современное состояние религии, обычаев и отметить следы великого переселения народов».

Сложная по задачам и характеру экспедиция разбивалась на несколько этапов. Маршрут «Великого Индийского Пути» Рериха пролег по территориям Монголии, Китая, Индии, Тибета. Проходил он и по азиатским областям Советского Союза. Завершающая стадия экспедиции готовилась в Монголии. Весной 1927 года, как только установилась караванная дорога, исследователи отправились в путь. В составе экспедиции Рерих, его жена Елена Ивановна, правнучка фельдмаршала Кутузова, унаследовавшая героический дух своего предка, их сын — известный ученый-востоковед Юрий Николаевич Рерих, девушки-казачки Богдановы Людмила и Ираида, связавшие свою судьбу с семьей Рериха, доктор Рябинин. Северное нагорье Тибета. До столицы Тибета — Лхасы — несколько переходов. И тут случилось непредвиденное.

20 сентября движение экспедиции останавливает вооруженный отряд тибетцев. Отобраны паспорта. Отобрано оружие. Район передвижения ограничен. Ни вперед, ни назад. Рерих и его спутники, по существу, на положении пленников.

Рерих шлет запросы в Лхасу. Он просит разрешить другой вариант движения экспедиции: минуя столицу Тибета, путешественники могут направиться в сторону индийского княжества Сикким. Тибетское правительство молчит.

Правда, спустя какое-то время оно не только не разрешит, но и потребует, чтобы экспедиция повернула назад. Но уже началась зима. Идти в обратный путь по ненадежным горным тропам в такое время года значило обречь людей на неизбежную гибель. Путешественники остаются на месте.

Они очутились в условиях суровой зимы на высоте четырех с половиной тысяч метров. Без теплых палаток. Без теплого белья. А морозы ударили жестокие.

Рерих пишет письмо в Ганток, столицу Сиккима, единственный доступный им пункт цивилизованного мира, английскому политическому резиденту Бейли, с которым он встречался ранее. Затем письмо тому же Бейли пишет Юрий Рерих. Письма остаются без ответа.

7

Что же случилось? Было ли трагическое положение экспедиции результатом бесчинства и самоуправства местных властей? Так полагал Рерих. Куда делись письма, направленные Бейли? Рерих думал, что они не достигли адресата. Но он ошибался.

В 1969 году советский журналист Митрохин, работая в национальном архиве в Дели, нашел эти письма. Он обнаружил их в папке, на которой стояло название «Дело Рерихов». Аккуратно подшитые документы проливали свет на таинственные перипетии давних событий. Бумаги содержали сведения о полковнике Бейли, которого Рерих считал своим знакомым и к которому в трудную минуту он обратился за помощью.

Кто же такой Бейли? Это был крупный английский разведчик, умелый мастер диверсий и провокаций. Достаточно сказать, что в 1918 году его направляют в Ташкент для подготовки контрреволюционного мятежа. Оставаясь в тени, он организует покушения на советских дипломатических представителей, убирает со сцены видных деятелей национального и революционного движения Средней Азии. Есть данные, что он причастен к расстрелу 26 бакинских комиссаров. В 1920 году он еле-еле унес ноги из Туркестана, чудом избежав ареста. 1927 год застает Бейли в Сиккиме. Выполняя официальные функции британского политического представителя в княжестве, он является резидентом английской разведки.

«Интеллидженс сервис» давно уже обратила пристальное внимание на Рериха. По меньшей мере странным казалось его поведение, ибо он отказывался узаконить свое положение за рубежом, получив так называемый нансеновский паспорт (официальный «вид на жительство» русских эмигрантов в то время). Исключил он для себя и другую возможность: стать подданным другой страны. При его известности это не составило бы особого труда. Но он продолжал считать себя гражданином Советской страны.

Далее. В декабре 1924 года, будучи проездом в Берлине, Рерих посетил советское полпредство и имел длительную беседу с советским представителем. Как явствует из ее записи, художник предложил предоставить в распоряжение Советского Союза все материалы, которые соберет его экспедиция. Он дал подробную информацию о положении дел в тибетском районе Азии, о методах проникновения англичан в Тибет, о расстановке политических сил в стране, о национально-освободительной борьбе народов Азии против чужеземцев.

По просьбе художника его сообщение, записанное почти дословно, было направлено в Москву наркому иностранных дел Чичерину. Английская разведка не знала подробностей встречи, но настораживал сам факт посещения советского полпредства. За Рерихом устанавливают тайную слежку.

Выяснилось, что весной 1926 года он поддерживает тесную связь с сотрудниками советского консульства в синьцзяньском городе Урумчи. Художник участвует в подготовке к открытию памятника Ленину: он делает эскиз пьедестала памятника. Рерих оставил нашему консулу завещание: в случае его гибели все имущество экспедиции и картины переходят в собственность советского народа.

Было еще одно убедительное подтверждение политической «неблагонадежности» Рериха: книга «Община». Она вышла в Монголии на русском языке с указанием, что «весь доход поступает в распоряжение республиканского фонда помощи беспризорным детям». Имя автора отсутствовало на обложке книги. Одни считали ее автором Рериха, другие — его жену. Но английских разведчиков не интересовали такие тонкости. Их интересовал текст книги, так или иначе связанный с именами Рерихов. А он гласил следующее:

«Учитель Ленин знал ценность новых путей. Каждое слово его проповеди, каждый поступок его нес на себе печать незабываемой новизны. Это отличие создало зовущую мощь. Не подражатель, не толкователь, но мощный каменщик новых руд. Нужно принять за основание зов новизны.

...Вспомним, что осужденное слово п р о р о к значит предрекающий. Ленин и Маркс были предрекающими течение событий, значит, это понятие не менее реально, нежели медицина и астрономия.

Махатма означает великая душа, вместившая явления нового мира.

Ленин и Маркс заботливо чуяли достижения знания. Коммунист должен быть открыт всем новым возможностям.

Тирания и военный империализм уже в зарождении носят признаки разложения. Короли, конституции могут вызывать лишь улыбку сожаления. Все комедии парламентов могут служить лишь назиданием бренности жизни. Все псевдосоциалистические гримасы могут лишь внушить отвращение...

Желающий посвятить себя истинному коммунизму действует в согласии с основами великой материи.

Почему на Востоке почитают Ленина? Именно за ясность построений, и нелюбовь к условностям, и за веру в детей как символ движения человечества.

Утверждающий общину способствует ускорению эволюции планеты. Всякое окаменение и неподвижность будут означать возвращение к первичным формам.

Обратите внимание на историю прошлого; вы увидите ясные толчки преуспеяний, вы наглядно увидите, что эти толчки совпадают с проявлением идеи общины. Разрушались деспотии, проникали достижения науки, возникали новые способы труда, сияли благие дерзновения, когда развертывалось знамя общины.

Если бы человечество чаще мыслило об общине, оно давно уже вступило бы в мировое понимание общего блага.

Община есть вместилище всех возможностей и всех накоплений. Каждый умаляющий границы и мощь общины становится предателем. Община — чаша солнечной радости!

Трудно рушится домик ветхих предрассудков. Прежде всего запомним, что невозможно удержать роды созревшего плода. Оглянемся на страницы истории. Пришло время освобождения мысли, и запылали костры, но мысль потекла. Пришло время народоправства, и загремели выстрелы, но воспряли народы. Пришло время развития техники, ужаснулись стародумы, но двинулись машины, пульсируя с темпом эволюции... Все инквизиторы, реакционеры, стародумы и невежды могут ужасаться, но возможность новых достижений человечества созрела во всех неисчислимых возможностях мощи. Инквизиторы и реакционеры могут строить тюрьмы и сумасшедшие дома, которые пригодятся для них же, в виде рабочих колоний. Но созревшую ступень эволюции отодвинуть нельзя».

И наконец — самое главное — британской разведке стал известен тайный визит Рериха в Москву. Уже на первых этапах экспедиции художника в Азию произошли встречи и события, которые заставили его на время отложить научные исследования. Прервав экспедицию, Рерих направляется в Москву. 13 июня 1926 года Николай Константинович, его жена и сын Юрий Николаевич прибыли в столицу Советского Союза. Состоялись встречи с членами Советского правительства — Чичериным, Луначарским, Крупской. Рерих передал Чичерину послание махатм (учителей) индийского народа.

«На Гималаях мы знаем совершаемое Вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы раздавили пауков наживы. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы избавили землю от предателей денежных. Вы признали, что религия есть учение всеобъемлемости материи. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы угадали эволюцию общины. Вы указали на значение познания. Вы преклонились перед красотою. Вы принесли детям всю мощь космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения домов Общего Блага!

Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным, также мы признали своевременность Вашего движения и посылаем Вам всю нашу помощь, утверждая Единение Азии! Знаем, многие построения совершатся в годах 28—31—36-м. Привет Вам, ищущим Общего Блага!»

Николай Константинович передал также Чичерину от имени тех же махатм ларец со священной для индийцев гималайской землей: «На могилу брата нашего махатмы Ленина». Так было сказано в послании.

Трудно сразу охватить факт во всей его глобальной значимости. С высоты нашего времени становится понятным, что это не было актом сугубо символического характера, это было актом пророческого предвидения, закладкой камня в фундамент индийско-советской дружбы, которая ныне является столь важным фактором мира во всем мире.

Вряд ли британская разведка знала содержание письма махатм. Но досье Рериха и без этого пополнилось новыми грозными обвинениями: поездка в Москву (сам Рерих полагал, что она осталась втайне), встречи с большевистскими лидерами... Вывод был сделан решительный: Рерих — «агент Коминтерна» и «большевистский эмиссар».

По официальным и тайным звеньям британского аппарата отдается распоряжение: всеми имеющимися средствами сорвать экспедицию, ни в коем случае не допускать ее появления в Тибете и Индии. Непосредственное руководство операцией поручалось Бейли.

Формально Тибет не входил в состав Британской империи, поэтому запретить экспедицию при помощи хитроумных законов колониальной системы английские власти не могли. Но англичане были фактическими хозяевами в Тибете. В Лхасу они посылали не просьбы, а приказы или рекомендации, имеющие силу приказа.

31 октября 1927 года из Лхасы на имя Бейли поступает сообщение, что экспедиция Рериха, во исполнение имеющейся договоренности, остановлена. В свою очередь, Бейли информирует Дели, что экспедиция «не угрожает» Британской империи, так как, следуя его указаниям, тибетские министры не допустят русских исследователей в Центральный Тибет.

А положение русских исследователей ухудшалось с каждым днем.

«Кончались лекарства, кончалась пища, — пишет Рерих. — На наших глазах погибал караван. Каждую ночь иззябшие, голодные животные приходили к палаткам и точно стучались перед смертью. А наутро мы находили их павшими тут же, около палаток, и наши монголы оттаскивали их за лагерь, где стаи диких собак, кондоров и стервятников уже ждали добычу. Из ста двух животных мы потеряли девяносто два. На тибетских нагорьях остались пять человек из наших спутников...»

Вынужденная остановка растянулась на пять с половиной месяцев. Но вот кончилась зима. Тибетские министры, полагая, что все, о чем их просили, сделано, разрешили продолжить путь в направлении индийского княжества Сикким. Узнав об этом, Бейли приходит в ярость. Он отправляет в Лхасу раздраженное послание:

«Нам не нужны эти люди в Индии, поэтому я телеграфировал, чтобы вы их отправили тем же путем, каким они пришли».

«Ганнибал у ворот!» Экспедиция Рериха приближается к индийской границе! В водоворот событий вовлекаются крупные политические фигуры страны.

19 апреля 1928 года вице-король Индии сообщает в Лондон о положении дел и высказывает мнение, что на определенных условиях экспедицию можно допустить в Индию, поскольку «это было бы менее вредным, нежели ее дальнейшее пребывание в Тибете».

Лорд Биркенхед, государственный секретарь по делам Индии в английском кабинете, получив сообщение вице-короля, обсуждает вопрос с Остином Чемберленом. Не без некоторых колебаний маститые государственные мужи приходят к заключению: экспедиции Рериха можно проследовать через территорию британской колонии.

В мае путешественники пересекают границу Индии. Рерих отправляет во все концы земли телеграммы и письма о судьбе экспедиции, которую многие (и не без оснований) считали погибшей. Агенты британской тайной службы негласно задерживают послания художника, Бейли шифром передает телеграммы Рериха в Дели (а в них излагалась трагическая правда об осаде и пленении экспедиции) и рекомендует арестовать корреспонденцию Рериха. Но вице-король отменяет распоряжения Бейли. «Наша задача, — объясняет он ретивому разведчику, — чтобы как можно дольше избегать риска раскрытия факта о нашем соучастии в так называемом бесчеловечном обращении тибетского правительства».

Распоряжения начальства не оспариваются. Приходится делать хорошую мину при плохой игре. Из путевого дневника Рериха: «После Сеполя мы спустились через Тангу и в Ганток и были радушно встречены британским резидентом полковником Бейли, его супругою и махараджею Сиккима».

8

Итак, пять с лишним лет напряженных трудов и опасностей позади. Закончена экспедиция, которая продолжила исследования великих русских путешественников — Пржевальского и Козлова. Участники экспедиции достигли таких пунктов Тибета и Гималаев, куда до них не ступала нога европейца. После нелегкой и длительной борьбы (на этот раз с казуистическим крючкотворством британской бюрократии) Рерих выговаривает себе право поселиться в долине Кулу у подножия Гималаев. На базе богатейших материалов экспедиции создается Гималайский институт научных исследований. Институт с поэтическим названием «Урусвати» («Свет утренней звезды») ставит целью объединить усилия ученых всего мира по изучению фауны и флоры Азии, по изучению истории и искусства Азии. Устанавливаются контакты с советскими учеными. Сотрудники Рериха посылают образцы

семян и растений директору Всесоюзного института растениеводства Николаю Ивановичу Вавилову.

Один из биографов художника говорил: «Для человека героического роста, как Рерих, земля не могла предоставить более подходящей рамки, нежели Гималаи, где он провел заключительную часть своей богатой и плодотворной жизни». Начинается «индийский», самый зрелый, самый насыщенный период творчества Рериха. Гималайская серия картин становится вершиной его мастерства. Впечатления от полотен не укладываются в сухие формулы и термины. Исследователь творчества Рериха вынужден то и дело переходить на язык поэтических образов.

«Временами горы Рериха напоминают гигантские минералы, излучающие цветовую энергию... От контрастного соседства воспламеняются, загораясь, краски. Полыхает красное марево диковинных горных закатов и восходов, интенсивно фосфоресцируют бархатисто-синие дали. Не случайно поэтому создается впечатление, будто художник пишет растертыми драгоценными камнями: кораллами, лазуритом, янтарем, изумрудами».

Художника величают Мастером гор. Но кисть его, разумеется, трудится не только над пейзажами. Его творческим воображением с новой силой владеют «всенародные, прекрасные и достоверные образы», ставшие легендарными в умах людей. Основная тема художника все та же — напряжение борьбы сил света и тьмы, столкновение светлых и темных стихий земли и неба...

Под давлением мирового общественного мнения британские власти были вынуждены отступить. Но это вовсе не означало, что они примирились с художником. С первых дней пребывания в Индии за ним учреждается полицейский надзор. Его имя, равно как и имена членов его семьи, были включены в списки подозрительных лиц. Рерих догадывался о слежке, да и трудно было не догадаться: полиция не утруждала себя тщательной маскировкой. Но, судя по письмам и выступлениям художника, его это не особенно тревожило. Правда, в некоторых письмах, в частности адресованных латышским энтузиастам из общества имени Рериха, он соблюдает осторожность, но делает это для того, чтобы не подвести своих корреспондентов. Живя в условиях буржуазной демократии, они по разным причинам не спешат пользоваться благами этой демократии. Поэтому договариваются о шифре. «Швеция» отныне будет обозначать Советский Союз, «Стокгольм» — Москву; «антишведская» значит антисоветская и т. п.

Впрочем, когда дело касается принципиальных вопросов, конспирация забывается. В 1937 году Рерих пишет специальное письмо о некой Дефрис (сейчас трудно установить, кто она такая и какой материал она пыталась предложить в юбилейный рериховский сборник: отмечалось сорокалетие его творческой деятельности).

«Письмо Клечанды, конечно, можно поместить среди приветствий, но троцкистское словоизвержение Дефрис, конечно, выбросьте совсем, имени ее не поминайте и, вообще, прекратите с ней всякие сношения. Эта личность сродни нью-

йоркским троцкистам, и мы дали ее адрес лишь, чтобы убедиться в троцкистских мировоззрениях...

Если бы троцкистка опять стала к Вам приставать, то Вы ответьте ей, что ее письмо вообще запоздало, чтоб на этом и кончить всякие сношения».

Замечательна четкость политических симпатий и антипатий автора письма. Знаменательно, что для Рериха, как и для всех советских людей, слово «троцкизм» — синоним предательства.

— Любопытное дело о нас хранится в архиве здешних начальников, — сказал однажды Рерих, — лишь бы не уничтожили — уж очень показательно.

Он оказался прав. Дело Рерихов, хранящееся в архиве, очень показательно. Если бы художнику удалось его перелистать, то прежде всего он наткнулся бы на предписание Британского департамента внутренних дел от 1 июня 1928 года: «следить за всеми передвижениями и деятельностью Рериха». За ним следовала инструкция, адресованная пенджабской полиции: в добавление к случайным и экстраординарным донесениям присылать в Дели детальные полугодовые отчеты о Рерихе и его научной деятельности.

Чины английской службы единодушны насчет Рериха. Помощник вице-короля Ачесон заявлял: «Основным фактом, который должен определять... отношение к Рериху в настоящее время, является его визит в Москву... Одно это должно убедить нас, что он потенциальный советский пропагандист и агент».

Английский посол доносил из Пекина, что, судя по эмигрантским слухам, Рерих давно является «членом партии большевиков». А глава британской разведки в Дели Уильямсон полагал: «Рерих просто-напросто временно замаскировался в Индии, чтобы развернуть в дальнейшем активную коммунистическую пропаганду». Поэтому Уильямсон ставит перед агентурой задачу выяснить, «не находится ли он в контакте с кем-нибудь из известных коммунистов в Индии».

Но венцом «детективной литературы» о художнике было фантастическое заявление (соответствующий документ аккуратно подшит к делу), в котором безапелляционным тоном утверждалось, что Рерих и его сын Юрий собираются возвысить «себя до уровня Далай-Ламы и установить большевистский контроль до границ Индии»!

9

— Чего только не было! — восклицает Рерих. — Всякие враги нападали, всякие грабители ограбляли, утрожали, разрушали. И опять битва становилась неизбежной. А злоречие-то! А зависти-то, зависти сколько!

Конечно, вокруг Рериха (как это всегда бывает с выдающимися фигурами) время накапливало апокрифические рассказы. Легенды о художнике могли бы составить целую книгу. В ней он предстал бы в фантастическом обличье «белого мага», от сурового взгляда которого седеют люди. По во-

де он ходит как посуху. Он выставляет навстречу ружьям грудь, а пули не могут поразить его (из рассказов тибетцев). А над его домом в горах каждую ночь горят огни наподобие огней святого Эльма.

— В разных странах пишут о моем мистицизме, — жалуется художник. — Толкуют вкривь и вкось, а я вообще толком не знаю, о чем эти люди так стараются... Все туманное и расплывчатое не отвечает моей природе.

В другом случае он говорит еще более резко: «Я не люблю слова «мистика» или «оккультизм», ибо и то и другое лишь синонимы невежества». В одном интервью на вопрос: «Считаете ли себя мистиком?» — художник ответил: «Я верю только в то, что существует в природе. На Востоке люди чувствительны — они знают внутренне больше, чем мы».

Несомненно, что увлеченность Востоком (там «знают внутренне больше, чем мы»), увлеченность восточной философией наложили определенный отпечаток на высказывания Рериха. Иногда они дают повод для обвинения художника в идеализме. Но каждому положению, дающему повод для такого толкования, можно противопоставить высказывание Рериха сугубо материалистического плана. Взять, например, ту же «Общину»:

«Существо материализма являет особую подвижность, не минуя ни одного явления жизни... Нужно до такой степени обосновать материализм, чтоб все научные достижения могли войти конструктивно в понятие материализма.

...Нужно заменить идеальные слюни твердым разумом.

Мы, материалисты, имеем право требовать уважения и познавания материи.

Друзья, материя не навоз, но вещество, сияющее возможностями. Нужда человечества от презирания материи. Построены храмы, где востребована помощь для обмана и убийства, но не воспеты гимны знанию.

...Нужно наконец усвоить явление реального материализма, как его учили Маркс и Ленин. А всякая невежественность должна быть реально обнаружена и удалена из коммуны. Обывательское мифотворчество не присуще коммуне.

Олимпы строили империалисты, и золотили их капиталисты. С нашей общиной могут идти понявшие реальность и материализм. Нельзя себе представить мистика и метафизика за нашей оградой. Метафизик, получивший удар, кричит: «Я поражен физически». Мистик протирает глаза от сияния жизни.

Зачем вы живете? — Чтоб познавать и совершенствовать. Ничто туманное не удовлетворит вас».

Так что же? Эклектика? Нет, не эклектика. Просто мы порой слишком прямолинейно подходим к Рериху, забывая о том, что он одновременно выступает в двух ипостасях: как художник и как ученый. Причем художник и поэт всегда берут в нем верх над ученым. Поэтому его формулировки подчас не терпят прямого толкования (иногда это может привести к неверным, по сути дела, выводам). Они не подчинены лишь строгой логике научного мышления. Как правило, любое положение Рериха, выдвинутое в виде лозунга или научного определения, содержит в себе образ или сим-

вол, которым художник хочет воздействовать на эмоции человека.

Невероятные легенды, когда они доходили до художника, поражали его своей абсурдностью. «Какой это страшный бич невежественности — говорить о том, чего не знаешь. И как многие, казалось бы, цивилизованные люди грешат этим».

Конечно, к полуфантастическому эпосу о Рерихе приложили руку и некоторые его экзальтированные друзья. Но главным образом здесь постарались недоброжелатели и враги.

Рериха всерьез интересует природа клеветы, природа чувства зависти, порока, по замечанию Бальзака, не приносящего никакой выгоды. Он подходит к проблеме с позиции ученого, пытаясь создать объективную картину. «Не ново существование клеветы. Не существование ее, но методы ее забавны и должны быть наблюдены». Рерих классифицирует эти методы.

«Клевета в своей тупости старается поразить утверждением, что писатель никогда не писал своих сочинений, а художник даже не притрагивался ни к одному холсту, а изобретатель, конечно, украл все свои изобретения.

...На каждого доброго жизнерадостного вдохновителя найдется десяток мрачных тушителей. Кто их знает, откуда они берутся?

Можно бы подумать, что всякие земные невзгоды притупили в них доброту и радость. Но среди тушителей найдутся и такие, кому живется неплохо. Казалось бы, и судьбой не обижены, и пути им не закрыты, никто их не ущемляет, а вот подите же! — сами из кожи вон лезут, чтобы хоть что-нибудь умалить. Выгоды никакой они не получают. Наталкиваются на чувствительные удары, но все же продолжают свое вредительство.

Кому вредят? За что вредят? Вероятно, и сами подчас не знают. Уж не болезнь ли особая? Может быть, «завистливая лихорадка» или «судорога ненависти»? Не придумать ли звонкое латинское название? Среди врачебной помощи можно прописать ледяной душ, пока не одумаются».

Но увы:

«Тушителей не исправить. Как неизлечимая мозговая болезнь. Кто знает — может быть, хроническое разжижение мозга. Но опасность в том, что эти носители микробов заражают все на пути своем. Как говорится: «И трава не растет на следу их!»

Они прикидываются авторитетами, запасаются иностранными терминами. Окутываются лживою ласковостью. Полны всяких уловок — лишь бы повлиять на слушателей, лишь бы протолкнуть разложение в мозг молодежи. Они особенно охотятся за молодежью.

Опасайтесь!»

Правда, Рерих понимает, что клевета, отрицание, умаление неизбежны (если человек творит большое, доброе и нужное дело). Враждебные наскоки являются даже своеобразным признанием заслуг. «Тот, кто не был преследован за благо, тот и не являл его. Было бы неестественно предположить, что истинные достижения приходят без борьбы». Одну из

статей Рерих иронически озаглавил «Похвала врагам». Но эта «похвала» отнюдь не означала примиренческого к ним отношения.

«Каждый совет не обращать внимания на клевету не есть истинный совет. На каждое явление нужно обращать внимание, на каждый ядовитый газ нужно иметь противогаз».

Когда речь заходит о клеветниках, Рерих не заботится о парламентских выражениях. Его голос обретает высокие ноты. Как некий судия, он повторяет суровое библейское выражение: «Клеветник, псу подобно, пожрет свою блевотину».

«При всем их многообразии в основе своей» клеветники и тушители «проявляют всю духовную нищету свою». Именно нищету, потому что ничего своего, творческого придумать они не могут. Могут лишь перевернуть вверх ногами, как переворачивают распятие, служа черную мессу. Могут лишь объявить белое черным. Чем грубее и примитивнее ложь, тем лучше. Нет нужды, что она вопиет против очевидности.

Житейские мудрецы давно заметили — «клевещите, клевещите всегда, что-нибудь останется».

И вот появляется такая характеристика Рериха: «Человек он был несомненно умный, хитрый, истый Тартюф, ловкий, мягкий, обходительный, гибкий, льстивый, вкрадчивый, скорее недобрый, себе на уме и крайне честолюбивый. О нем можно сказать, что интрига была врожденным свойством его природы». Эти слова принадлежат князю Щербатову, известному по преимуществу антисоветскими высказываниями. Воспоминания Щербатова (он знал Рериха до революции) опубликованы в 1954 году в Нью-Йорке. Они б не заслуживали никакого упоминания, если б не одно обстоятельство. В 1971 году в Ленинграде вышла книга воспоминаний о Валентине Серове. В первом томе помещены два очерка Рериха о художнике, с которым он был дружен. В коротенькой аннотации, предваряющей статьи Рериха, составители сочли необходимым (ведь нужно дать читателю «исчерпывающие» сведения о Рерихе!) поместить выдержки из мемуаров князя Щербатова с добавлением (теперь уже от себя), что человеческие свойства Рериха «большинству людей, с ним соприкасавшихся, не импонировали». Трудно понять и объяснить намерения редакторов. Ведь нужны специальные усилия, чтобы раскопать такое. И нужна определенная направленность, чтобы, раскопав такое, поверить и обрадоваться. Воистину: «Клевещите, клевещите всегда, что-нибудь останется».

Эмигрантская пресса (Щербатов — что, это еще цветочки!) вела травлю Рериха с особым ожесточением. У нее были свои причины не любить художника. Рерих прекрасно отдавал себе отчет, за что оказана ему столь «высокая честь».

«Вспоминались нападки фашистских газет. Экие ругатели! Главное обвинение было, почему я хвалю достижения русского народа. Мракобесы хотели, чтобы все достижения нашей Родины были стерты, а народ надел бы фашистское ярмо. Всякие радзаевские, вонсядские, васьки ивановы, юрии лукины, суворины, семеновы и тому подобные темные личности изрыгали всякую клевету и поношения на всех, кто не с ними. Но кто с ними? Подонки, потерявшие облик человеческий.

Счастье в том, если оказываются врагами те, которые в сущности своей и должны быть такими. А друзьями пусть будут те, кому и подлежит быть и кем можно гордиться. Представьте ужас, если б фашисты начали хвалить вашу деятельность. Но судьба хранит, и в списке врагов те, кому там и быть подлежит».

В списке врагов оказался и бывший редактор журнала «Аполлон» Сергей Маковский. Кампания против Рериха не прекратилась со смертью художника, и в 1956 году Маковский выступает в парижской газете «Русская мысль» со статьей «Кто был Рерих?». Можно подумать, что Маковский задался целью на более или менее современном материале воскресить сказки Шехерезады. Для начала он объявляет Рериха потомком «латыша-колдуна», унаследовавшего от своего прадеда мистические способности. Затем следуют картины одна ярче другой. Вот Рерих, словно монарх, раздает своим приближенным ордена, усыпанные бриллиантами. Вот в индийском дворце он восседает на троне, а у ног его ползают паломники.

Это ответ на вопрос: «Кто был Рерих?» А теперь ответ на другой вопрос: «Почему он рухнул?» Ибо, пытаясь выдать желаемое за действительное, Маковский утверждает, что Рерих «рухнул» как «художник-мыслитель и международный деятель». Почему? Маковский все знает: «Беда стряслась вскоре после того, как Рерих по дороге в Тибет побывал в Москве». Живуча память у ненависти. До сих пор не могут забыть, а тем более простить.

И опять показательно, как противник, увлеченно и яростно стараясь развенчать Рериха, приписывает ему мощь необычайную. «Сами не замечаете, как сделали Рериха не только всемогущим, но и вездесущим», — говорил в свое время о таких нападках Куинджи.

10

В 1926 году в Москве знакомые спрашивали Рериха:

— Николай Константинович, вы что, решили совсем перебраться на Родину?

Художник отвечал:

— Но ведь я же и не перебирался за границу. Я путешествовал и намечаю новые путешествия, а совсем уезжать из России — такого вообще не приходило мне в голову.

Подводя итоги многолетних странствий, Рерих записывает в дневник:

«В 1926 году было уговорено, что через десять лет и художественные, и научные работы будут закончены. С 1936 начались письма, запросы... Ждали вестей».

Война все перевернула: «...все кругом и загорелось, и замерзло, а то и просто провалилось».

«Нынче исполнилось четверть века наших странствий, — пишет Рерих, — каждый из нас четверых в своей области накопил немало знаний и опыта. Но для кого же мы все трудились? Неужели для чужих? Конечно, для своего, для

русского народа мы перевидали и радости, и трудности, и опасности. Много где нам удалось внести истинное понимание русских исканий и достижений. Ни на миг мы не отклонялись от русских путей. Именно русские могут идти по нашим азийским тропам».

— Если человек любит родину, он в любом месте земного шара приложит в действие все свои достижения, — утверждал Рерих. — Никто и ничто не воспрепятствует выразить на деле то, чем полно сердце.

Вдали от Родины, среди сверкающего великолепия гималайских снегов, художник ощущает себя полномочным духовным представителем своего народа. Разнообразнейших людей, встретившихся ему «среди странствий на полях культуры» и не только на полях культуры, он хочет делить по признаку душевного расположения к русскому народу.

Зарубежные издания предвоенных лет, отвечая растущему интересу к нашей стране, печатают пространные обзоры русского искусства и литературы. «Казалось бы, это должно радовать во всех отношениях». Должно, а не радует, а огорчает и заставляет выступить с отповедью.

«Вместо широкого и справедливого исторического обзора почти все иностранные авторы избирают себе одну какую-то группу и, фаворизируя ей, попирают и стараются умалить все остальное. Иногда избранная группа — модернична, другой раз избирается группа самая старая, но и то и другое не может дать чужеземным народам веское и справедливое представление о развитии искусства нашей родины. Совершенно непонятно, к чему некоторые писатели для прославления одного явления непременно должны охаять все остальное. Так или иначе все явления искусства имеют свою преемственность. Некоторые шаги новаторов бывают очень стремительны, и тем не менее для полного понимания их необходимо знать и все бывшее. Кажущиеся противоречия искусства делаются еще более обоснованными, когда мы знакомимся с их истоками... Поистине, распространение неверных сведений есть особо вредное невежество».

В современном мире «единственный жизненный пример — Россия». Мысли, изложенные в свое время поэтически возвышенным слогом в письме махатм и книге «Община», получают наглядное жизненное подтверждение. Рерих раскрывает английскую газету. Читает заголовок статьи: «Мир движется к социальному строю».

«Правильно, — замечает художник. — Но в чем же главная ценность этого строя? Конечно, в возрождении человечности, в культурности. Если бывало царствовал мрачный завет: «человек человеку волк», «человек человеку враг», то социальный строй решительно заявит: «человек человеку друг».

...Социальный строй не имеет примеров в прошлом. Попытки античной Эллады, где изгоняли и убивали лучших людей, — плохой пример. Рим не дал доброго примера... Уже не будем растравливать воспоминания жестокою судьбою великих учителей человечества.

...Демократия звучит недостаточно определенно. Недавно мы спросили одного видного деятеля: «Что такое демокра-

тия?» Он рассмеялся и сказал: «Это то, что в данное время удобно». Значит, понятие расплывчато. Но социальный строй это уже определительность. В значении слова уже заключены и союз и кооператив — словом, все, чем преуспела Русь».

Понятия «Россия» и «человечество», по словам Рериха, сочетаются разумно, «и в этом заключено такое достижение, которое и веками не достигнуть». В статье «Завет», которая является духовным завещанием художника, обращенным к молодежи, говорится:

«Любите Родину. Любите народ русский. Любите все народы на всех необъятностях нашей Родины. Пусть эта любовь научит и полюбить все человечество. Чтобы полюбить Родину, надо познать ее. Пусть познавание чужих стран лишь приведет к Родине, ко всем ее несказуемым сокровищам. Русскому народу, всем народам, которые с ним, даны дары необычные. Сокровища Азийские доверены многим народам для дружного преуспеяния. Доверены пространства, полные всяких богатств. Даны дарования по всем областям искусства и знания. Дана мысль об общем благе. Дано познание труда и бесстрашная устремленность к обновлению жизни... Шире дорогу! Идет строитель!..»

А международная обстановка накалялась с каждым днем. Полотнища с изображениями свастики развевались над Прагой и Варшавой. Гитлер позировал перед кинокамерами на фоне Эйфелевой башни.

«...Сердце болит за все бедствия мира, увы! подготовленные самими людьми... Само пространство вопиет. Планета тяжко больна. Равновесие мира держится лишь одной страной, и радостно, что там кипит строительство».

В торжественный день советского праздника Рерих настраивает приемник на московскую волну. «Если завтра война, если завтра в поход...» Под звуки марша начинается парад.

«Слышим встречу, приветствия, грохот артиллерии, танков, самолетов. Оборона Родины! «Мы все за мир, хотя готовы к бою». Жертвенно, бесстрашно готовы на подвиг, когда знают свое будущее, когда чуют, сколько созвучий рождается в народах всей земли...»

«По всем Гималайским раскатам, через все Памиры и пустыни гремит первомайское радио».

1 мая 1941 года. До начала Великой Отечественной войны оставалось пятьдесят два дня.

11

«Великая Родина, все духовные сокровища твои, все неизреченные красоты твои, всю твою неисчерпаемость во всех просторах и вершинах — мы будем оборонять».

И вот война! Скорбные вести об отступлении. Устрашающие заголовки газет. Но вера в победу не изменяет художнику ни на мгновение. Эту веру питает тысячелетняя история Родины от самых древнейших времен.

«В грозе и молнии кует народ русский славную судьбу свою. Обозрите всю историю русскую. Каждое столкновение

обращалось в преодоление. Каждое разорение оказывалось обновлением. И пожар и разор лишь способствовали величию Земли русской. В блеске вражьих мечей Русь слушала новые сказки, и обучалась, и глубила свое неисчерпаемое творчество.

Потрясения лишь вздымали народную мощь, накопленную и схороненную, как силушка Ильи Муромца».

В эту трудную годину художник старается быть посильно полезным Родине. Он организует выставку своих картин, чтобы деньги, полученные от их продажи, направить в фонд помощи сражающимся войскам. Его сыновья — Юрий и Святослав телеграфируют в Лондон советскому послу Майскому. Они просят принять их добровольцами в Красную Армию.

Май 1942 года. «Дни самые сложные». Газеты сообщают о наступлении советских войск под Харьковом, но оно окончится неудачей. Германский вермахт готовится к решающему броску. Впереди — Сталинград. В эти дни в дневнике Рериха появляется запись. «Неделю у нас Неру с дочкою».

«Славный, замечательный деятель. К нему тянутся. Каждый день он кому-то говорит ободрительное слово. Наверно, сильно устает. Иногда работает до четырех часов утра... Добро, добро около Пандитджи. Все чуют, что он не только большой человек, надежда Индии, но и честнейший, добрый человек. Эти два ощущения очень важны в наши дни. К доброму сердцу тянется все доброе естество. Мечтают люди о справедливости и знают, что она живет около доброго сердца. Трогательно, когда народ восклицает «Да здравствует Неру!». Идет к Пандитджи народ за советом. Добрый водитель каждому найдет ободрительное слово. Скажет о единении, о выносливости, о светлом будущем. В нынешние лукавые, истерзанные дни народ особенно чтит честное, доброе сердце, болеющее о благе народном».

Рерих выделяет главные аспекты взаимных бесед.

«Говорили об Индо-русской культурной ассоциации. Пора мыслить о кооперации полезной, сознательной».

Война в самом разгаре. Кто кого? — гадают газеты. Ставится под сомнение само существование Советского государства. А взгляд художника уверенно устремлен в будущее. Он считает, что настала пора думать о конкретных формах индийско-советского содружества. Он по-деловому озабочен этим. В предвидении новых времен Рерих начинает издавать на свои средства ежемесячник «Новости Советского Союза», дабы правдивые вести о Советской стране хоть в какой-то мере могли противостоять потоку дезинформации, замаскированной, а подчас и незамаскированной клеветы. Этот поток, увы, не смогла остановить даже война. Все обстояло не так просто, хотя Британская империя и числилась нашим союзником. Рериху приходилось порою объяснять азбучные вещи. Вот его ответ на чье-то послание.

«Вы пеняете, зачем я называю русский народ великим. Но как можете вы во дни величайшего русского подвига сомневаться в истинной сущности нашего народа? Вы судите прискорбно опрометчиво. Вы говорите о том, чего не знаете, а ведь это уже свойство несправедливости...

Ведь вы многого не знаете, но должны бы знать, что русская мощь разбила сильнейшую германскую армию. Без здоровья физического и морального такой подвиг не может быть совершен».

«Русские победы перевернули великую страницу истории». Узнав о крахе режима Муссолини, Рерих возвращается мыслями к своей предвоенной статье «Не замай!», предсказание которой начинает так блистательно сбываться.

«Не замай!» Слышите ли, не замай. Худо вам будет! Худо будет всем дерзнувшим против России. Эй, вы там: не замай!

«Тщетны Россам все препоны».

А вот «еще одно своеобразное признание русской мощи». Во время Тегеранской конференции руководители западных держав Рузвельт и Черчилль были вынуждены укрыться за стенами советского посольства, ибо на их жизнь фашистская агентура готовила покушение. Об этом они сами заявили корреспондентам. Рерих пишет:

«...Русский оплот оказался вернее. Под русское крыло притулились союзники не только на поле брани, но даже и в совещании.

Показательно, что союзники открыто, «для прессы» всего мира признаются в русской краеугольности. Пусть даже заподозрят их в робости, но они правду не скроют. Говорят всему миру: «За русским порогом — вернее. За русским щитом — безопаснее».

«Померялся русский богатырь с врагом страшным и одолел его. Мстислав Удалой грянул оземь косожского богатыря Редедю». «...Обновилась Русь. Во всенародном подъеме стала величайшей державой. В мощном потоке преуспеяния дружный Союз Народов явил победу неслыханную».

Упоительное чувство победы сменяется властным призывом к напряжению труда и созидания. «Воздвигся великий магнит труда доброго... Народы Союза весело перекликаются о новых трудовых победах». Рерих чутко прислушивается к мирному голосу мирной Москвы.

«В дальних, снежных Гималаях радуемся, что именно великая Русь победоносна и прежде всего мыслит о торжестве науки, о творчестве — о связи общечеловеческой.

Велико светлое будущее!»

Все, о чем когда-то дерзко мечталось, все, ради чего жил и творил Рерих, становилось явью. С восторгом узнает художник о словах видной американской газеты: «Грядущая эпоха будет Русским веком».

«Произошло явление неслыханное в истории человечества. Друзья всемирно наросли. Враги ахнули и поникли. Злые критиканы прикусили свой ядовитый язык. Не только преуспела Русь на бранных полях славы. Она успела в трудах...

...Народ Русский научился ценить прошлое. По завету Ленина Русский народ сбережет достижения старого знания, без них новой культуры не построить. «Знать, знать, знать», «учиться, учиться, учиться».

Война окончена. Теперь Рерих не видит препятствий к возвращению на Родину. Он хлопочет о въездных документах.

Упаковывает картины в ящики, готовит их к отправке в Москву. Среди радостных волнений его настигает болезнь. 13 декабря 1947 года художника не стало.

12

ПОДВИГ

Волнением весь расцвеченный
мальчик принес весть благую.
О том, что пойдут все на гору.
О сдвиге народа велели сказать.
Добрая весть, но, мой милый
маленький вестник, скорей
слово одно замени.
Когда ты дальше пойдешь,
ты назовешь твою светлую
новость не сдвигом,
но скажешь ты:
подвиг!

В стихотворении нет слова «Россия». Но прямого упоминания здесь и не требуется. Предвидение Рериха, облеченное в поэтическую форму, датировано 1916 годом. Тем же предреволюционным годом помечен его очерк «Неотпитая чаша», где говорится:

«...Пройдет испытание. Всенародная, всетрудовая Русь стряхнет пыль и труху. Сумеет напиться живой воды. Наберется сил. Найдет клады подземные.

Точно неотпитая чаша стоит Русь.

Неотпитая чаша — полный целебный родник. Среди обычного луга притаилась сказка. Самоцветами горит подземная сила.

Русь верит и ждет».

Впоследствии он прояснит свое понимание чрезвычайно важной для него мысли о подвиге.

«Еще не так давно люди говорили о сдвиге, но теперь исполнилась уже следующая ступень, и мечта о сдвиге превратилась в светлую мечту о подвиге».

«Слова «подвиг» почему-то иногда боятся и иногда избегают. Подвиг не для современной жизни, так говорят боязливые и колеблющиеся, но подвиг добра, во всем всеоружии, заповедан во всех веках. Не может быть такого века, такого года и даже такого часа, в течение которого подвиг мог бы быть неуместным».

Электрическая и духовная сила стихотворения сконцентрирована в слове «подвиг», слове, взятом из героического лексикона русского народа.

Не однажды Рерих будет сопрягать эти два высокие понятия «Россия» и «Подвиг». «Народы пойдут за примером Руси, ибо народ огненно запечатлел подвиг труда и славы», — скажет он во время Великой Отечественной войны.

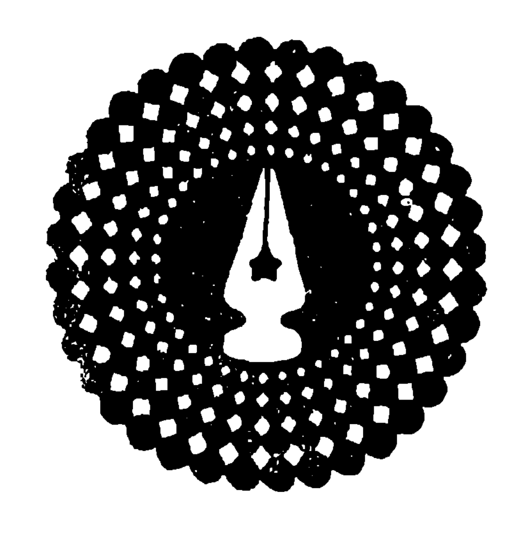
Стихотворение «Подвиг» биографично. Оно проникнуто ощущением важности новой миссии художника («О сдвиге народа велели сказать»). Выражение «маленький вестник»

в образной системе поэта Рериха имеет вполне определенное значение. Впрочем, его можно заменить или дополнить (это как угодно) русским словом «подвижник», тоже непереводимым на другие языки, ибо оно образовано от слова «подвиг».

В свое время Ромен Роллан заявил: «Я ставил перед собой парадоксальную задачу: объединить огонь и воду, примирить мысль Индии и мысль Москвы... Доктрина СССР и доктрина гандистской Индии представлялись мне (а Ганди это и сам признает относительно своей доктрины) двумя опытами, двумя самыми спасительными опытами, единственно спасительными, могущими предотвратить катастрофу, нависшую сейчас над человечеством».

То, что для Ромена Роллана было только предчувствием и далеким зовом, для Рериха становится программою действия. Вся жизнь художника, к которой приложим эпитет «подвижническая», была отдана сближению двух великих начал. И по справедливости в надписи, высеченной на памятнике-обелиске художника, стоят рядом имена двух стран, ради единения которых он жил и творил: «Здесь в декабре 1947 года было предано огню тело Николая Рериха — великого русского друга Индии. Да будет мир».





ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Владимир ТРОИЦКИЙ

ДЕСАНТ НА БУРЕЮ

БАМ — СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

На пути строителей Байкало-Амурской магистрали стоят такие грозные водные препятствия, как Лена, Витим, Зея, Селемджа, Бурея, Амур. Предстоит соорудить 142 больших моста через бурные таежные реки. Эти мосты должны быть в высшей степени надежными, потому что БАМ — железная дорога первой категории, поезда по ней пойдут скоростные, тяжеловесные.

Грандиозный проект, осуществляемый сегодня, — результат многолетнего напряженного труда проектировщиков и изыскателей. Предварительный поиск «северного варианта» Транссиба предпринимался еще до революции, а в тридцатых годах, когда создавались Днепрогэс, Магнитка, Комсомольск-на-Амуре, развернулись изыскания на всем громадном и почти не исследованном пространстве от Тайшета до бухты Ванино. Ветеран института «Гидропроект» имени С. Я. Жука Владимир Васильевич Троицкий рассказывает об одном из первых десантов разведчиков на реку Бурею.

Сейчас в среднем течении Буреи на Талаканском створе готовится строительство Бурейской ГЭС, а в верховьях близ Ургала уже выросли горняцкие поселки. Здесь, в Ургале, будет крупное локомотивное депо. Отсюда путейцы начнут прокладывать рельсы БАМа на запад — через Бурею к Тынде, и на восток — к Комсомольску-на-Амуре.

В конце апреля 1933 года вместе с моим другом Валентином Петровичем Розановым в составе гидрометрического отряда я отправился из Москвы на изыскания под мостовой переход через реку Бурею проектируемой будущей трассы Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

Выехали мы на экспрессе Москва — Владивосток и после утомительной поездки сошли на маленькой станции Бурея. К месту работы нам предстояло еще совершить путешествие по бурной таежной Бурее от пристани Малиновки, расположенной в четырех километрах от железнодорожной станции.

Помимо нас с Розановым, в Малиновку прибыли еще восемь москвичей: начальник отряда Василий Николаевич Флоров, Михаил Васильевич Фрунзе (молодой племянник прославленного полководца; позднее он строил железные дороги в районах военных действий и был тяжело ранен под Ленинградом), геодезист Григорий Иванович Багинов, завхоз отряда Александр Иванович Долинин и четверо старших рабочих.

Река вскрылась 1 мая. Вода была большая. В ожидании первого парохода, который должен был подойти снизу, из Благовещенска, наша десятка остановилась в пристанском поселке.

Малиновка пристань небольшая, возле нее не было даже своего катера. По пристанскому берегу тянулись штабели бревен, стояло несколько брезентовых палаток и два деревянных пакгауза.

Долгожданный пароход подошел в ночь на восемнадцатое мая. Для Малиновки это было большим событием. У пристани вскоре собралась толпа жителей. Утром под возбужденные возгласы провожающих с первыми пассажирами и партией груза пароход «Батрачка» снялся с якоря и отправился вверх по Бурее в первый рейс навигации 1933 года.

„БАТРАЧКА" ИДЕТ НА СЕВЕР

Издали, на плаву, «Батрачка» казалась даже привлекательной. На самом же деле это был старый, сильно потрепанный пароходишко, который давно следовало бы списать. Помещения его были очень тесные, на палубе встречные не могли разойтись. Металлические детали сильно потускнели. Видимо, их давно уже не драили.

На носу парохода, и тем более на корме, тоже было несладко: искры, вылетавшие из пароходной трубы, оставляли на одежде дырки, обжигали лицо, шею, руки. Но все мы были тогда молоды и не очень обращали внимания на пароходные неудобства, любовались сопками, которые вереницей тянулись справа и слева.

Над рекой реяли чайки. Равномерно шлепая плицами кормового колеса, плавно разрезая носом воду, пароход продвигался вперед, нарушая дремотную таежную тишину.

Капитан парохода — живой, энергичный мужчина средних лет — был облачен по традиции в темно-синий китель с золочеными пуговицами. На фуражке его красовалась золотая эмблема амурского речного пароходства. Боцман и лоцман были пожилыми людьми, а все матросы — исключительно молодежь, многие из них отправились в свой первый рейс. Угрюмый, неразговорчивый старик лоцман неизменно стоял в рубке сбоку от рулевого; порой касался штурвала и слегка поворачивал его вправо или влево.

Изредка пароход приставал к берегу, чтобы пополнить запасы дров. Поленницы, заготовленные загодя, виднелись то на правом, то на левом берегах. Капитан всякий раз вежливо и смущенно просил пассажиров помочь команде грузить дрова. Чтобы поразмять свои мускулы, мы с большой охотой растягивались цепью между поленницей и пароходом, образуя живой конвейер, по которому дрова быстро попадали с берега на пароход. Закончив погрузку, мы весело возвращались на борт «Батрачки», отряхивая на ходу одежду, побелевшую от березовой коры.

Чем дальше продвигался пароход, тем реже и реже встречались поселки. Единственными сносными путями сообщения в тайге в те времена и летом и зимой были реки. По давнишней традиции по берегам ставили одинокие рубленые избушки-зимовья — с длинными выступами бревен, с двускатной пологой крышей. Двери их иногда обивали снаружи сохатиной или другой шкурой. В избушках был очаг, кое-какая утварь и запасы соли, спичек, сухарей. Всякий усталый, голодный и замерзший путник находил в зимовье временное пристанище.

Нередко на шум приближающегося парохода из зимовья выходил человек. У его ног вилась собачонка, отчаянно лаявшая на «Батрачку». Таежный житель, облокотившись на прясло маленького огородика, долго провожал взглядом наш пароход.

Зимовья встречались все реже, зато чаще стали попадаться перекаты, и некоторые весьма крупные; перегруженная «Батрачка» не всегда могла их с ходу преодолеть. В таких случаях капитан просил пассажиров высаживаться на берег.

Однажды после погрузки дров капитан предупредил, что предстоит форсировать крупный затяжной перекат, белевший издали гребнями волн меж камней. Он попросил всех пассажиров высадиться и пройти вперед по берегу примерно километра три. Вереница людей, растянувшаяся по бечевнику, вскоре скрылась за ближайшим поворотом реки.

Но Розанов, Багинов, Фрунзе и еще трое любознательных,

в том числе и я, остались стоять на берегу. Нам очень хотелось посмотреть, как пароход начнет переползать через перекат.

Вечерело. Собрав сухой валежник, мы разложили на камнях у самой воды здоровенный костер. Огонь высоко взвился в воздух, роняя во все стороны снопы искр. «Батрачка» тем временем, перевалив к противоположному берегу, набирала пар. Она довольно быстро миновала начало переката и полным ходом двинулась вперед. Мы побросали горящие поленья в воду, а угли и золу тщательно засыпали землей и поспешили догонять пароход.

За одним из поворотов реки галька, по которой можно было шагать, кончалась, и мы уперлись в высокую, вертикально торчащую из воды скалу. Что делать? Куда идти?

Полезли наверх и попали сразу в дикий хаос леса и каменных нагромождений. Условились идти цепочкой, не далее двух шагов друг от друга. Вперед в качестве проводника мы пустили Багинова. Он был самым старшим в нашей группе, а главное, кому, как не ему — кавказскому человеку, проведшему жизнь в горах, — возглавить этот необычный для нас поход по сопкам.

Опасаясь диких зверей, мы говорили тихо. А что, если за нами следит тигр?

Идти было очень трудно. Часто спотыкались и падали, царапая лица и руки. Река осталась где-то справа, далеко внизу. Иной раз приходилось огибать скалу по очень узенькому уступчику. Мы цеплялись за всякий выступающий камень, за корешок, лишь бы не сорваться. Из-под ног куда-то в пропасть скатывались камни. К реке подойти не удавалось. Берег был слишком крут.

Мы особенно боялись за одного нашего молодого рабочего, обутого, как на грех, в сандалии. Но Багинов исправно исполнял роль проводника и в особо трудных местах даже перетаскивал этого парня на спине...

Во тьме послышались едва уловимые протяжные гудки «Батрачки». Ура! Значит, о нас беспокоятся. С новой энергией заторопились вперед. Призывный трубный глас придал нам бодрости и силы. Теперь мы знали, куда идти. Вслед за гудками раздались ружейные залпы. Нас вызывали. Но как дать знать о себе, о том, что мы всеми силами стремимся на борт милой «Батрачки»? Мы остановились и дали тройной залп из пистолетов. И тотчас же раздались далекие гудки. Нас услышали!

Начали спускаться с сопки. Деревья поредели, и взорам представилась освещенная огнями «Батрачка». Под ногами зашуршала высокая мягкая трава. Навстречу нам двигались какие-то огоньки. Догадались — с факелами встречают.

Плавание на «Батрачке» приближалось к концу. Мы благополучно миновали такие буреинские перекаты и скалы, как Сектагль,

Собор, Солдат-камень и ряд других. А перед самой Чекундой — конечной пароходной пристанью — из воды показались два огромных гладких камня — Два Брата. Они, словно близнецы, были чрезвычайно похожи один на другого, и казалось, что под водой держались за руки. Пароход опасливо обошел их стороной.

На девятые сутки пути поздним вечером мы наконец подошли к большому поселку Чекунда, раскинувшемуся по обоим берегам Буреи. Здесь находилась наша перевалочная база.

Картина природы резко изменилась: сопки отошли вглубь, берега стали низкими, река из узких каменных коридоров вырвалась на широкий плес.

«Батрачка» пристала к базе. С разрешения капитана мы провели еще одну ночь на пароходе и утром высадились на берег.

„ХУДАЯ ВОДА"

Начались сборы отряда в дорогу. Лодки-оморочи шпаклевали и смолили нанятые нами местные рабочие. К лодкам прилаживали кормовые весла, к их носам прикрепляли бечеву из каната с лямками. Приготовленные для нас лодки были весьма внушительными и достигали двенадцати метров в длину.

С утра работы было много. Требовалось получить продукты на отряд, сложить палатки, упаковать и распределить по лодкам весь наш груз. Надо еще заготовить побольше шестов и оковать их железными наконечниками. Шест — это главное при передвижении на оморочках. Он должен быть крепким, прямым, легким, подогнанным по росту и по руке. От него зависит весь успех плавания.

Из Чекунды снялись 31 мая. На базе к нам присоединилось сорок рабочих. Теперь наш отряд, состоящий уже из пятидесяти человек, отправился караваном в восемь мороч. В пяти передних сидели местные опытные лоцманы, в остальных наши, более или менее бывалые люди.

И только было отчалили первые оморочи, как вдруг буквально у самого берега одна из лодок сильно раскачалась, один рабочий вывалился из нее и очутился по пояс в воде. Сидевший в этой же лодке завхоз Долинин вцепился обеими руками в небольшой фанерный ящичек с двумя тысячами рублей. Побелев как полотно он диким голосом завопил:

—Не поеду никуда! Хоть убейте! У меня дома семья. Причаливайте к берегу, я сойду!

И те, кто оставался на берегу, и те, кто успел забраться в лодки, расхохотались. Флорову пришлось долго уговаривать завхоза.

Мы совсем не умели работать шестами. А ведь техника передвижения на оморочах с помощью шестов, казалось, была так проста! Требовалось, разместившись по всей длине лодки вперемежку — один у левого борта, другой у правого, — ритмично, всем враз, опускать шесты в воду и отталкиваться ими. На оморочах ходят только таким способом.

Течение Буреи оказалось настолько быстрым, что двигаться можно было у самого берега. Весла требовались лишь для переправы на другой берег или чтобы плыть вниз по течению. Мы шли медленно, шестами работали прескверно, едва передвигая перегруженные лодки. В первый день покрыли всего лишь семь километров. А нам предстояло преодолеть около ста.

Вечером, выбрав место поудобнее, пристали на ночевку. На берегу сразу же попали в комариное царство. Многим из нас с непривычки от комаров пришлось туго. Миша Фрунзе допустил непоправимую оплошность — обрил себе голову. И его, беднягу, на привалах так искусало комарье, что на голове образовался единый сплошной волдырь, съезжавший, подобно берету, на одно ухо. Мы и посмеивались над ним, и одновременно сочувствовали. Добродушный, он никогда не обижался на наши насмешки.

Прибрежная тайга огласилась стуком топоров. Все работали дружно: одни ставили палатки, другие разводили костры, готовили ужин. В палатках приятно запахло свежими еловыми ветвями.

Среди нас выделялся Розанов, среднего роста человек с широким открытым русским лицом. В прошлом году он уже побывал на изысканиях на одной из таежных рек Приамурья и потому обладал кое-каким опытом, был верным товарищем, готов был поделиться всем, что имел сам, и никогда не оставлял человека в беде. Флоров опирался на него и прислушивался к его советам.

Голос Розанова был слышен то здесь, то там. Иногда он даже покрикивал с досадой на тех из нас, кто, по его мнению, медленно исполнял какую-либо работу, но заразительно смеялся даже при любом мелком происшествии.

На привалах, вместе с дымом костров, к небу поднимался пар от мокрой одежды и кипящих котлов. Затем наступал долгожданный момент, когда затихал всеобщий гомон и лишь дружное чавканье нарушало вечернюю тишину. После напряженной работы шестами все просили добавки.

От костра не хотелось отходить. К тому же зловредные комары с нетерпением поджидали нас в местах, куда не достигал дым.

По берегам на сопках рос густой высокий лес — лиственницы, ели, сосны, березы. Изредка попадался кедрач. Если встречался подходящий песчаный или галечный пляж, мы шли бечевой. В таких случаях по два-три шестовика вылезали из лодок и, накинув

на плечи лямки, тянули оморочи на бечеве. Заплетаясь ногами в рыхлой гальке, наклонившись всем корпусом вперед, они медленно передвигались вдоль берега, как в стародавние времена бурлаки. И так по очереди: одни в лямках, другие — в лодках. Я наравне со всеми бывал то бурлаком, то отдыхающим.

Около часа дня обычно приваливали на обед. Лоцманы-якуты поражали нас своим проворством. Мы еще не успевали сварить себе обед, как они уже свертывали свое имущество и, недовольно поглядывая в нашу сторону, торопили:

— Надо идти! Идти надо! Моя пошел!

Одеты они были по-походному, как и мы. Имена их были тоже русскими: Спиридон, Василий и другие. Мне запомнился пожилой Спиридон. Его пожелтевшие старые зубы никогда не выпускали самодельной трубки. Курил он беспрестанно. Его трубка была сделана как-то по-особенному: во время сильного дождя он переворачивал ее огнем вниз, чтобы не замочило, и продолжал как ни в чем не бывало потягивать. Табак при этом из нее не высыпался.

На бурной со скалистыми прижимами Бурее постоянно попадались перекаты, и тогда нам было особенно тяжело передвигаться. Чем выше мы поднимались, тем больше встречалось перекатов. Еще издали слышался рокот воды. Мимо лодок проплывала взбитая пена, похожая на большие кипы ваты. Определив по этой пене и отдаленному шуму воды примерные размеры переката, мы останавливались где-нибудь в укромном местечке перекурить и набраться сил. А лоцманы тем временем долго советовались, где лучше и легче пройти препятствие.

Как-то у одного лоцмана сорвалось кормовое весло и лодка, вывернувшись носом вниз по течению, стремительно понеслась по водной глади. С остальных лодок это сразу заметили и с замиранием сердца начали смотреть, как оторванную от каравана лодку гнало и гнало вниз. Сидящие в ней гребли из последних сил, но их несло не к гальке, куда они стремились пристать, а ниже — под крутой скалистый берег на здоровенную корягу, торчащую из воды. Однако лоцман на полном ходу оморочи успел схватиться за сук зловещей коряги, лодка ударилась о ствол, но несильно, лишь немного зачерпнула воды, и ее хоть с трудом, все же удалось направить к берегу.

Каждый перекат доставлял нам большие хлопоты. Люди, выбиваясь из сил, сквозь рев воды пыхтели, сопели, скрежетали зубами, лишь бы удержать лодку и не дать ей сорваться с камней. Словом, работали отчаянно, зверски, ничего не замечая вокруг, но продвигались вперед еле-еле. Наконечники с некоторых шестов потерялись, и это осложнило работу. Каменное дно Буреи

изводило нас. Шест соскальзывал с подводных камней, грозя увлечь за собой и человека.

Лоцманы ходили от Чекунды до Усть-Нимана — нашего конечного пункта — за четыре дня. Конечно, нам это было не под силу. Мы так уставали, что поневоле и на обед, и на ночевку норовили пристать пораньше.

Наконец наступила последняя ночь. Подошли к берегу, под привычное гудение комаров закрепили лодки и, поужинав, завалились спать. Ночь преподнесла неожиданный сюрприз: начался паводок. Словно какой-то сверхъестественной силой лодки вздернуло кверху: небольшой остров, находившийся посредине реки, куда-то исчез. Лоцманы качали головами:

— Вода большая, худая вода. Не пойдем в Усть-Ниман!

Как быть? На летучем совете решили послать в поселок за дополнительной лодкой пешком двоих — Багинова и лоцмана-якута. Лишь к полудню следующего дня к нам прибыла спасительная оморочка. Вода спадала медленно. Переложив часть груза с наиболее тяжелых лодок на дополнительную оморочку, мы смогли тронуться дальше по большой воде и, обогнув длинную галечную косу на последнем отрезке пути, увидели поселок.

Лодки стянулись ближе, и путешественники, водрузив на головной оморочке — плавучей резиденции начальника отряда — красный флаг, в последний раз впряглись в лямки.

С берега бабахнул ружейный салют. С лодок ответили. Встреча была радостной. Сердечно пожимая друг другу руки, мы здоровались с пока еще не знакомыми нам людьми. Здесь в Усть-Нимане кончалось наше путешествие.

УСТЬ-НИМАНСКИЙ ПЕРЕХОД

На высоком правом берегу реки стояли небольшие янтарно-желтые недавно построенные избы последнего в верховьях Буреи поселка, кое-где были разбросаны разнокалиберные палатки якутского стойбища. За жильем стеной зеленела тайга. Чуть выше поселка виднелся остров, поросший чахлым кустарником. За рекой раскинулась пойма.

Только когда сошли с мороч на землю Усть-Нимана, мы впервые по-настоящему почувствовали, что такое гнус. С первого же момента комары и мошкá стали подвергать нас чудовищным пыткам, продолжавшимся до самого последнего дня работы в тайге. Спастись от этих злодеев можно было только на воде.

Знакомясь со стойбищем, мы узнали, что его жители только на короткое лето съезжались в Усть-Ниман, а зимой уходили да-

леко в глубь тайги промышлять пушного зверя. Почти все охотники мастерски выделывали меха, шили великолепные унты, красиво и пестро отделывали их. Помимо унтов, мы увидели художественно расшитые меховые туфли, перчатки, кисеты, шапки. Охотничьи атрибуты и трофеи были видны повсюду: и на самих якутах, и в их жилищах. Возле якутских палаток бродило много сильных и злых собак, с ними хозяева ходили на медведей.

Мы познакомились с живым и энергичным народом. Летний портрет якута рисовался примерно так: черная жесткая шапка волос, скуластое лицо с узким разрезом глаз, коренастая фигура, штаны по колено засучены, на поясе в деревянных ножнах самодельный нож. С ножом якут ходит днем, с ножом и спит. Тайга!

Тигров в тех местах, конечно, не водилось, но козы и сохатые довольно часто навещали поселок. Изредка приближались к жилью медведи, и тогда собаки поднимали неистовый лай. И уж дичи — рябчиков, тетеревов, уток и гусей — было вдоволь. Тайга изобиловала ягодами и грибами. В реке было полно рыбы. Недалеко от Усть-Нимана раскинулись совсем глухие, необжитые места, где не встретишь ни души.

Поселковые жители пригласили нас в клуб. В свободное от работы время мы помогали выпускать стенгазету, организовывали вечера самодеятельности, пели песни и декламировали стихи на клубной сцене. Вместе с нами пели якуты — о природе, о новой жизни, о Ленине.

Тогда в Усть-Нимане только-только организовывался колхоз, и якуты постепенно стали оседать в поселке. Они строили себе капитальные деревянные жилища, обзаводились скотом, начали коллективно обрабатывать землю, организовали детские ясли. На наших глазах зарождалась новая колхозная жизнь.

Отряд расположился на правом скалистом берегу Буреи в трех километрах выше поселка и в километре ниже устья реки Ниман — притока Буреи. Нам предстояло выполнить изыскания на участке мостового перехода в течение одного летнего периода. Первой задачей было уточнить ось будущего моста и заснять на план подходы к мосту по обоим берегам и прибрежные полосы. Вторая и главная задача — измерить по оси проектируемого моста глубины русла, определить скорость, расход воды и направление течения в реке. Вот ради чего нас направили за тридевять земель от столицы. Результаты нашей работы нужны были проектировщикам.

Надо сказать, что работа нас сразу увлекла. Прежде всего мы построили на скале, вдающейся в русло, прочную деревянную вышку и установили в ее центре тумбу — стационарный штатив для теодолита. С этой вышки — основного рабочего наблюда-

тельного пункта — хорошо просматривалась поверхность реки на полтора-два километра по обе стороны оси будущего моста.

Кроме того, мы установили на нашем берегу огромный ворот из толстенных бревен, а на пойме противоположного берега — высокую мачту. По оси проектируемого моста нам необходимо было перетянуть через Бурею трос. Тяжелую стальную змею распределили на все наши оморочи и, рискуя потопить трос, с криками, суетней и руганью переправили его на пойму, где с помощью лебедок подняли и закрепили наверху мачты. А конец, оставленный на своем берегу, мы намотали на барабан вóрота. Трос натянулся высоко над рекой.

Затем, соединив общим помостом две большие оморочи, мы соорудили подобие катамарана, укрепив на нем длинную стрелу из массивного деревянного бруса с лебедкой, а на конце стрелы — блок. Катамаран с помощью металлического поводка, скользящего по тросу, двигался поперек русла реки, управляемый большим кормовым веслом.

Глубинные скорости течения измерялись специальным прибором — вертушкой, которую опускали со стрелы на нужную глубину. Для того, чтобы вертушка держалась в заданной точке, подвешивали к ней стокилограммовый груз.

Поверхностная скорость течения определялась просто: мы распиливали толстые бревна на кругляши-поплавки и для лучшей видимости втыкали в их центры красные флажки. Один из наших лучших гребцов поднимался на легкой оморочке с поплавками выше створа километра на полтора.

С вышки ему сигналили большим флагом, и он бросал в воду поплавки. Розанов, как наиболее опытный, засекал с вышки теодолитом поплавки и диктовал помощнику отсчеты. Так он встречал и провожал мимо вышки каждый поплавок с момента его запуска и километра на полтора ниже створа.

В помощники, как правило, Розанов брал меня. Я очень этим гордился. Это значило, что он считал меня достаточно внимательным и расторопным. Работа на вышке была весьма напряженной. Розанов едва успевал ловить поплавки в крест нитей и диктовать градусы и минуты, а я — записывать множество цифр. Залог успеха этой работы целиком зависел от быстроты наших действий. Но мерзкий гнус изводил нас настолько, что Розанов, хлопая себя по шее или щеке, иной раз не успевал прочесть отсчет на теодолите, и никакие накомарники не спасали нас.

За лето мы пережили пять паводков, во время которых невозможно было выходить на оморочке для запуска поплавков. В таких случаях мы засекали плывущие коряги.

По вечерам мы с Розановым камеральничали — обрабатывали

полученный нами полевой материал, составляли поперечные профили реки и графики распределения скоростей. В общем, надо сказать, что весь отряд работал дружно и увлеченно. В этом, безусловно, сказалась заслуга Флорова. Василий Николаевич был спокойный, бесхитростный человек, но вместе с тем принципиальный, одинаково доброжелательный ко всем нам. У него, к сожалению, совершенно не сгибалась одна нога. Однако ходил он без костылей и без палки довольно уверенно и быстро и виду не подавал, что ему нелегко взбираться на скалистые кручи.

От гнуса больше всего доставалось нашим геодезистам. Ведь, чтобы работать с теодолитом или нивелиром, им приходилось снимать накомарники. Гнус доводил их до отчаяния. Мириады этих злющих насекомых сопровождали каждый шаг геодезистов.

Мы, десять москвичей, жили в избушке, которую сами срубили. Крышу ей заменяла древесная кора, а окошки вместо стекол были завешены марлей. Рядом с избой из камней сложили печь.

В избе было тесновато, но зато весело. Душой нашего общества был Багинов. Высокий брюнет с немного запавшими глазами, он говорил очень тихо, никогда не раздражался, нередко смешил нас, рассказывая какие-нибудь фантастические случаи из своей жизни. У нас была гитара, на которой немного бренчал Розанов, мандолина, принадлежащая Багинову, и, наконец, балалайка, на которой кто только не тренькал.

Комары нас мучили и в избе. Они проникали сквозь самые мельчайшие щели и дыры и не давали спать. От комариных укусов раздувались носы и губы, припухали веки глаз.

Иногда мы совершали прогулки на левый берег. Вырвавшись с шумного русла Буреи в тихую зеркальную гладь протоки, мы попадали в совершенно иное царство. Здесь не шумели перекаты, берега были низкие, сплошь покрытые кустарником.

По тропинке, вьющейся через миниатюрное овсяное поле, мы попадали на огород. На грядках был посажен укроп, лук, морковь, репа. Золотые шапки подсолнухов свисали от тяжести спелых семян. Под сенью шалаша гостеприимные сторожа угощали нас турнепсом и даже дынями.

Как-то раз я направился на базу. Со мной увязалась наша любимая собака Мальчик, взятая нами напрокат в Чекунде. Настроение у меня было отличное, я шел, насвистывая какую-то песенку. Мальчик, задрав хвост, гонялся вокруг меня за бабочками.

И вдруг он отстал. Я кричал, свистел, но он не отзывался. Сделав несколько шагов в сторону нашего лагеря, сквозь стволы деревьев я увидел его на тропе. С неистовым лаем он прыгал сразу на четырех лапах. У меня не было никакого сомнения в том, что он встретился со змеей.

Я не сразу нашел подходящую палку, и, когда бросился к собаке, чтобы отогнать ее от змеи, было уже поздно. В очередном прыжке Мальчик завизжал и тут же умчался в тайгу.

Он появился на следующий день. Бедняга приплелся к нам и повалился на бок. Он распух, как боров, низ его морды и шея напоминали бревно, из пасти тонкой струйкой сочилась слюна.

Сварили мы ему кашу-размазню и с опаской пододвинули к самой морде. Он лизнул раза два и отвернулся, полежав еще немного, поднялся, заковылял в тайгу и исчез.

Все следующие дни кто-либо из нас углублялся в чащу, кликал его, но он не отзывался. Прошло недели полторы. Мы уж стали постепенно забывать нашего друга. И вдруг однажды со звонким заливистым лаем он примчался в лагерь, стал бросаться к каждому из нас, лизаться. И мы радовались, что он с помощью каких-то трав и корней излечился от змеиного яда и опять оказался среди нас.

В паводки, когда по Бурее, словно во время молевого сплава, с большой скоростью плыли вырванные с берегов деревья, к реке и подойти страшно. А нам необходимо было знать и паводковые (пиковые) скорости течения. Решили рискнуть. В один из паводков на катамаране отправились четверо во главе с Флоровым. Отправился и наш бесстрашный Багинов, вдохновлявший всех своим личным примером. Мы с Розановым, как обычно, заняли места на вышке у теодолита.

Катамаран благополучно лавировал между плывущими по реке небольшими деревцами и сучьями, останавливаясь в нужных точках для спуска вертушки, а мы засекали эти точки теодолитом. Однако постепенно и как-то незаметно под палубу между оморочами набилось столько веток и коряг, что поводок, удерживавший катамаран на тросе, натянулся до предела. Создался колоссальный напор воды на это жалкое суденышко, корма стала тонуть. Все четверо сгрудились на носу палубы. И вдруг поводок лопнул. Катамаран тут же выровнялся, бешеным течением его понесло вниз. Палуба удерживала на плаву затопленные лодки, но с нее смыло все предметы и в первую очередь спасательные круги. Беспомощные люди стояли по колено в воде, держась за стрелу; со страшной быстротой их несло вниз.

С берега заметили неладное и все ринулись к лодкам. Розанов приказал мне вызвать сверху нашу быстроходную оморочку и направить ее также в погоню за катамараном.

Я, как мне показалось, долго сигналил флагом и до хрипоты орал в рупор. Наконец гребец понял и стремительно погнал оморочку вниз.

В оморочке находился наш лучший старший рабочий Трунович.

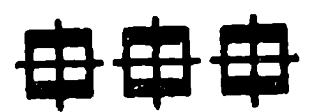
Волжанин, выросший у воды, он хоть и выглядел медлительным, однако любое дело исполнял обдуманно, поэтому всегда успевал.

В бинокль мне хорошо было видно, как спасатели, в том числе и Трунович, догнали катамаран и зацепились за него. Теперь я следил, хватит ли у людей сил увести его к берегу до поворота, за которым начинался перекат? Ведь там катамаран неминуемо разобьется в щепки. Люди отчаянно гребли. До берега было все ближе и ближе, наконец катамаран пристал...

В конце лета к нам подошли сухопутные топографы и состоялась «стыковка» проектируемой магистрали с мостовым переходом. На встречу с ними, расположившимися на левом берегу, отправилась наша делегация во главе с Флоровым, и надо отдать должное теплоте этой встречи.

Поздней осенью, выполнив полностью программу изысканий, мы стали собираться в обратный путь. Похолодало. Укладываясь, вынесли вещи из палатки, стоящей возле нашей избы, и только хотели было вытащить лежащий в дальнем ее углу брезент, как под его складками с ужасом увидели клубок змей. Сколько их там извивалось — не сосчитать. Схватив лопаты и ломы, мы начали сражаться с гадами.

Наконец загрузили оморочи, сели сами, отдали на прощание из всех ружей салют Усть-Ниману и поплыли вниз по Бурее на веслах. Подхваченные рекой оморочи летели со скоростью экспресса. Мы, первые изыскатели БАМа, любовались дремучей тайгой и мечтали о том времени, когда в этот край придет большая дорога.



Георгий ЯКОВЛЕВ

НЕИСТОВЫЙ КОМИССАР

Новые страницы из жизни районного организатора комсомола Н. Островского

На линии огня

Секретарь окружкома Федотов не забыл своего обещания: через месяц после их первой встречи Николая вызвали в Шепетовку и утвердили политруком Всевобуча в Берездовском районе. Окружной военный комиссар подписал Островскому мандат и сказал на прощание:

— Тебя уже инструктировали, не стану повторяться. Из районов в армию идет плохо подготовленная, не имеющая никаких воинских навыков молодежь. Я уже не говорю о том, что она поголовно вся неграмотная. Обрати на это внимание...

В Шепетовку возвращался Николай верхом на гнедом жеребчике из райисполкомовской конюшни, к которому привязался за веселый нрав: и не кормлен вдоволь, а идет — танцует, словно каждый шаг ему самому удовольствие доставляет. По дороге, как и обещал председателю сельсовета Закусилову, заехал в Корчик — маленькое местечко, утопающее в садах. Сельсовет размещался в хатке, свежевыбеленной, с большим плакатом: «Смерть врагам Советской власти!» Николай распахнул дверь.

В кабинете председателя стояли две женщины, покрытые до глаз платками, уже немолодые, в длинных темных юбках. Одна вытирала слезы, другая тянула ее за руку к выходу. Николай поздоровался, опустился на табурет, прислонил рядом карабин. Женщины с испугом посмотрели на него.

— Что тут у вас? — Николай старался не смотреть на босые, черные от пыли ноги женщин. Закусилов объяснил: у обеих сыны служат в Красной Армии, он

Окончание. Начало в № 9.

выписал им дров на зиму, а лесничий не дает, придется вот вызвать его, внушить...

— Скажи, чтобы запрягли твой экипаж, — попросил Николай, кивая на стоящую у крыльца повозку. — Я сам с ним поговорю.

Лесничий Ходовский, статный красивый мужчина с большими висячими усами, вышел из дому, спокойно прикрыл за собой дверь, пренебрежительно окинул взглядом юношу в гимнастерке и пыльных сапогах, спокойно ждал. Молчал и Николай, глядя на лесничего сузившимися глазами. Рука его непроизвольно легла на кобуру пистолета. Тут Ходовский дрогнул, рот у него приоткрылся, он нервно пошевелил спекшимися губами, округлил глаза.

— Вы знаете, что влечет за собой неисполнение решений Советской власти? — спросил Николай, медленно и отчетливо выговаривая каждое слово.

— Как же, как можно, — угодливо закивал лесничий, настороженно поглядывая на руку у пистолета. — Прошу пана объяснить мои нечаянные заблуждения.

— Узнаете? — показал Николай на женщин. — Они вам официальную бумагу предъявили, а вы что? Прогнали? Матерей красноармейцев? — Лицо у него побелело, нервно дернулись углы рта.

— Какая бумага? Я объясню, — торопливо заговорил Ходовский. — Была записка от этого голодранца Закусилова. Разве это его лес? Это народное имущество. И еще я сказал этим пани, — лесничий поморщился, — этим гражданкам...

— Отпустите, что приказано, — перебил его Николай, — и постарайтесь запомнить, гражданин, что, пока находитесь на государственной службе, Закусилов ваш непосредственный начальник, а не голодранец, как вы только что изволили выразиться.

— Добже, добже, — послушно кивал Ходовский. Все высокомерие сошло с него, и было неприятно смотреть на угодливое лицо. — А как прикажете о вас доложить, если ко мне будут вопросы?

— Политрук Островский, — коротко сказал Николай.

Он успел лишь коротко познакомиться с четырьмя парнями, рекомендованными Закусиловым для подготовки в комсомол. Рассказал им, что надо делать, оставил устав и спешно выехал в Берездов. Сдав гнедого в конюшню, зашел в райисполком. Лисицын составлял очередное политдонесение в окружком. Закончив, встал, потянулся большим мускулистым телом.

— С тебя бы, Николай Николаевич, памятник Спартаку лепить, — восхищенно сказал Николай, глядя на могучую шею и напруженные мышцы плеч и рук своего друга.

Он протянул мандат, полученный в Шепетовке, а потом рассказал о стычке с Ходовским. Добавил, что не верит людям, на глазах меняющимся, начинающим лебезить. Что-то затаил лесничий...

Через несколько дней, встретив Николая, Лисицын сказал ему:

— Арестовали Ходовского. Ты был прав: он имел связь с бандой через границу. Гостей оттуда принимал...

Политрук Всевобуча Николай Островский с радостью, которую не считал нужным скрывать, рассчитался в райкоммунхозе, заявив на прощание шурину, что снимает с себя почетные обязанности считать колодцы и сараи. Тот пожал плечами:

— Сидел бы. Место тихое. Ты ж хромать начал...

— А это уж не твоя печаль, — отрезал Николай.

«Значит, Катя не выдержала, рассказала, — думал он. — Просил ведь...» Однажды вернулся из местечка Поддубцы и завернул прямо к сестре, зная, что Соколова нет дома. Тяжело сел, попросил:

— Сними сапоги, сестренка.

Катя тянула изо всех сил, пока не вскрикнула:

— Слушай, у тебя ноги распухли...

Она принесла нож, опустилась на корточки, всхлипывая, стала разрезать голенища. Уложила Николая в постель, положила ему на ноги теплый компресс, долго сидела рядом, на кровати, поглаживая по голове, пока он не заснул.

Понеслись вскачь дни, до краев наполненные заботами. Больше двадцати населенных пунктов числилось в Берездовском районе. В них проживали сотни юношей, подлежащих в скором времени призыву на службу в Красную Армию. Каким будет это пополнение, во многом зависит от него, районного политрука Всевобуча Николая Островского. Кроме того, он райорганизатор. Многие хозяева держали батраков. Да, временно им было дано такое право. Но это уже не те батраки, что некогда, — бесправные, забитые, не имеющие своего голоса. Хозяин обязан заключить с каждым наемным работником трудовой договор, где твердо обозначены условия: обязательный выходной день, размер оплаты деньгами и продуктами, сохранение содержания при болезни... Только на этих условиях частникам пока разрешалось иметь наемных рабочих. Но они-то, наемные, не всегда знали об этом.

Комсомольцы, одетые пестро, но зато в одинаковых фуражках с красной звездой, ходили по богатым дворам, интересовались: есть ли в хозяйстве наемные, требовали договор, а если его не было, грозили суровыми карами.

Теперь каждое воскресенье допризывники маршировали на площади, отрабатывая ружейные приемы. Вместо ружей использовали лопаты. Уставшие, собирались в библиотеке — на двери ее красовалась табличка: «Берездовский районный комитет КСМУ».

Такие же учения проводились в хуторах. Николай часто ездил «инспектировать войско», как в шутку говорил Лисицын, оставляя берездовский взвод на попечение Юрко Корсуна, обожающего строевые учения.

Николай возвращался еще засветло на своем гнедом жеребчике. Он умел внести даже в беседу об уставных обязанностях бойца живую шутку, расцветить ее примером из своей службы в Первой Конной. Обращались к нему допризывники почтительно: «Товарищ Островский». Сам он, кого уж очень уважал, называл «братишкой», и тогда суровость сходила с лица, тепло смотрели карие глаза, появлялась на лице улыбка.

Однажды у Лисицына, когда они, окончив вечерние занятия, мирно, без обычных споров пили чай, Мария сказала неожиданно:

— Вам надо чаще улыбаться, Коля. Красивый вы юноша. Заглядываются, наверное, девушки?

— Я этим не интересуюсь, — сухо ответил Николай.

— Напрасно, вам нужна девушка, и обязательно с хорошими манерами, — поучительно продолжала Мария. — Знаете, женское влияние очень благотворно сказывается на мужчинах.

— А я замечаю, что и на интеллигентных женщинах сказывает-

ся положительное влияние пролетариев, — в тон ей ответил Островский.

Мария вспыхнула, вышла из комнаты. Лисицын беззвучно смеялся, показывая Николаю большой кулак.

С Нюшенькой, сестрой Лисицына, у Николая установились ровные товарищеские отношения, несмотря на то, что звала она его первое время дядей Колей, а потом, чувствуя неловкость, обращалась безымянно на «вы». Николай еще при первой встрече заметил на шее у Анны тонкий золотой крестик. Сразу заподозрил влияние Марии, но Николай Николаевич сказал, что жена тут ни при чем, а крестик этот — подарок матери, и у него лично рука не поднимается снять его с сестренки, которая до сих пор плачет, вспоминая родительницу. Николай стал приглашать Анну на воскресные комсомольские вечера. Она приходила, робко садилась в уголочке, поглядывая искоса на парней, слушала малопонятные речи о политике, зато расцветала, когда хлопцы затягивали новые песни.

А было так. После собрания актива Шепетовского окружкома девчата звонко запели «Варшавянку». К ним присоединились хлопцы. И звучали в старом доме полные кипучей энергии революционные песни о красном знамени, о паровозе, у которого в коммуне остановка. После актива Николай подошел к Федотову, укоризненно сказал:

— Здесь-то мы поем. А на селе таких песен ребята даже не слышали.

Федотов на следующий же день отправил управделами Дрешу записку с просьбой выслать берездовским комсомольцам тексты новых песен. Их и пели теперь ребята.

Однажды Островский рассказал Анне о школьном священнике Акрамовском, из-за которого вынужден был в одиннадцать лет оставить школу. Летом 1920 года во время ночной облавы в Шепетовке, предпринятой ревкомом, они задержали группу заговорщиков, в ней оказался и Василий Акрамовский. Заговорщики намечали поднять восстание, перебить активистов прямо в квартирах, вместе с семьями — для устрашения других.

— А сам внушал на проповедях: «не убий», — сказал Николай. — Вот и подумай, кому религия нужна.

Анна слушала. Крестик она вскоре сняла, хранила его бережно в коробочке вместе с источенным от времени материнским обручальным кольцом.

...Долго потом будет вспоминать Анна этот вечер. По предложению Островского ее избрали в президиум собрания. Она смущенно вышла из своего, облюбованного еще с первого посещения библиотеки уголка, села за покрытый красным кумачом стол. Николай зачитал заявление Анны Лисицыной с просьбой принять ее кандидатом в ряды комсомола. Собрание проголосовало единодушно. Анну поздравляли. Она смутилась еще больше, опустила голову, пряча заалевшие щеки. Анна была первой девушкой, принятой в комсомол в Берездове.

...Гнедой жеребчик, как укоризненно сказал Николаю райисполкомовский конюх, «спал с тела» от частых пробегов. Осунулся и ездок, только глаза его всегда живо поблескивали. По вечерам Островский рассказывал Лисицыну о поездках. По его просьбе написал Николай Николаевич в окружком партии, попросил помочь берездовским комсомольцам с одеждой. Но то ли просьб таких

было много, то ли попала бумага к равнодушному человеку, но даже ответа он не получил.

— Бюрократы, чиновники, — возмущался Николай. — Зажирели...

— Только обобщать не надо, одергивал его Лисицын. — Конечно, в стаде не без худой овцы. Попали в партийное кресло кое-где и бюрократы. Не усидят долго...

— И я про это, — не сдавался Николай. — Был в Шепетовке, зашел в отдел исполкома, что контрабандистами занимается. Сидят все в заграничном барахле. Не выдержал, спрашиваю: «У вас что, прямые связи с контрабандистами?» Смеются, гады. Точно ведь, конфискованным пользовались. Мы так могли бы весь районный актив одеть. Не одеваем же.

— Снова ты перегибаешь, — тяжело вздыхал Лисицын. — Ну, помогли людям, обносились они. Что ж им, в тряпье сидеть в окружном органе Советской власти? Какое же уважение к самой власти будет? — говорил Лисицын.

— Уважение надо своим отношением к работе добывать, — спорил Николай. — А тут как раз и подумают нехорошо — руки, мол, греют, до власти дорвались. На знамени не должно быть пятен...

В Корчиках, как и в других хуторках, старики судачили, что вот ездит «завзятый комиссар», в комсомол записывает. Сыновья вовсе от рук отобьются, в церковь уже ходить не хотят, а еще слух есть, что вроде бы этот самый комиссар пригрозил закрыть все церкви и в них устраивать непотребные веселья под гармошку. Набожные жители плевались. Но у неистового комиссара находились и заступники.

— Насчет церкви не знаю, а вот мой Михайло сказывал, что ругаться им запрещено и самогон пить тоже возбраняется, — говорил Карплюк, дымя толстенной самокруткой.

В Корчике после ареста лесничего Ходовского жители говорили, что «завзятый» за народ болеет и власть имеет большую. Так что родители даже благословили своих сыновей, пожелавших вступить в комсомол. Об этом и рассказывал сейчас Николаю Закусилов. Парни сидели тут же, слушали: им пришлось выдержать немало споров со стариками.

— Комсомольцы должны заслужить уважение авторитетными делами. Уполномочь их обойти все дворы, — обратился Островский к Закусилову. — Пусть составят список нуждающихся в сельхозинвентаре. Ну там кому нужны вилы, грабли, топоры... Достанем через кооперацию. А может, кому надо помочь в огороде или хату подремонтировать...

Такие рекомендации он давал всюду, стараясь, чтобы зарождающиеся ячейки сразу заявляли о себе нужными людям делами, без чего никакой авторитет немыслим. И парни, смекнувшие, что и они теперь вроде бы при власти, с удовольствием работали в чужих дворах, а на обидчивые замечания домашних огрызались, ссылаясь на приказ политрука Островского.

Бюро Шепетовского окружкома приняло кандидатами в комсомол еще двенадцать парней-допризывников и постановило утвердить ячейки в хуторах Поддубецком, Малопраутинском, Корчике. Позже такие же ячейки по четыре-пять человек по предложению Островского были созданы в Красноставе, Печиводе. Собрания проводились объединенные, на них обсуждались все текущие дела.

С информацией о событиях в районе выступали Богомолец или Лисицын.

На смотр допризывников района в Берездов приехал Леонид Плоскер, окружной политрук Всевобуча.

Договорились о порядке смотра, во все хутора послали комсомольцев с приказом ко всем допризывникам явиться к семи утра в полной боевой готовности. Потом пошли купаться. Николай с облегчением стащил сапоги, белую рубашку, потянулся, жмурясь от солнца, сверкающего зеркала речушки. Повернулся к Леониду, и его взяла оторопь: на смуглых руках, на груди и даже на ногах окружного комиссара он увидел рубцы страшных ран. Плоскер перехватил его взгляд, улыбнулся:

— Боевые награды.

— На фронте?

— Не совсем, — ответил Леонид, ложась на горячий песок.

Год назад все случилось, здесь же, на Волыни, в Любарском. Леонид Плоскер был райорганизатором комсомола. Создали они молодежный клуб. Политбеседы проводили, струнный оркестр организовали. Грамоте молодежь учили, а чтобы слушатели не заскучали, в конце занятия самодеятельные вечера с песнями устраивали. Засиделись однажды, было это в январе. Подъехала к клубу группа конных — все в шинелях, буденновских шлемах, с красными бантами на груди. Распахнулась дверь, стремительно вошел командир — высокий, в бекеше и смушковой шапке, в руке маузер. Глянул по углам, грубо спросил:

— Что за сборище?

— Это же комсомольский клуб, — ответил Леонид. — Песни революционные сейчас разучиваем.

Высокий повернулся к своим, гаркнул:

— Хлопцы, а ну уничтожить комсомольскую заразу.

Леонид отскочил в угол, схватился было за учебную винтовку — другого оружия не было. И тут же упал, пронзенный штыком. Бандиты перекололи всех, даже девушек не пощадили. Не стреляли, чтобы не поднимать шума. Уцелел один Леонид — он получил четырнадцать штыковых ран и чудом выжил. Позже узнал, что это была банда, которая перешла границу. Бандой руководил петлюровский офицер Соломинский. Пограничники убили его в ту же ночь...

Николай напряженно слушал, не выдержал, обнял Леонида за плечи, сказал с чувством:

— Братишка... Никому нас не сломить.

Смотр прошел отлично. Прибыли в Берездов почти все подлежащие осеннему призыву. У каждого в руках сумка или мешок, в них краюха хлеба, кусок сала, ложка и кружка, миска, полотенце. Длинной колонной промаршировали по улицам, вышли на опушку леса, сделали привал в пионерском лагере, где уже был сварен густой полевой суп и компот. Плоскер произнес речь, призвал быть всегда начеку. Играл оркестр. Разъезжались допризывники, правда, несколько огорченные: они-то думали, что тревога настоящая, и они, получив винтовки, ринутся в бой на врага...

Комсомольцам нравилась в Николае Островском его любовь ко всему, связанному с армией: полувоенный костюм, пистолет на ремне, пристрастие к словам «фронт», «строй», «мобилизоваться», «победить». Он стал частым гостем у пограничников. Присутствовал при вечерних построениях, проводил в казарме беседы о речи

Ленина на III комсомольском съезде. Мог разобрать и собрать пулемет «максим». Командир погранотряда не раз говорил ему:

— Ты, Николай, прирожденный военный, есть в тебе эта косточка. Давай в Киев, в училище красных командиров...

Слышать такие слова было приятно, Николай соглашался, что действительно надо будет поговорить об этом с Лисицыным. Вот окрепнут ячейки в районе, на будущий год можно будет попытаться поступить в училище. А сам думал о бумаге, спрятанной на дно сундучка. И все равно не верил в приговор врачей. Заглушая мысли о своей упорно не уходящей болезни, упрямо твердил себе: «Я здоров».

Он без устали носился по району на своем гнедом, загорелый, пропыленный, всегда стремительный и юношески открытый для всех. Допризывники называли Островского «комиссаром». Так же называли его и враги, прятавшиеся кое-где по хуторам.

В День молодежи все допризывники вновь собрались в Берездов, девчата надели вышитые блузы, ленты. Николай Островский на площади принимал парад. Он стоял на крыльце в буденновском шлеме. Мимо проходили шеренги парней, четко державших равнение.

За несколько месяцев в районе произошли большие перемены. В хуторах открылись избы-читальни, в них шли уроки, посещаемые даже бородатыми дядьками, проводились беседы о Советской власти, о текущем моменте. Шла широкая кампания по ликвидации неграмотности. Комитеты незаможников вместе с вновь созданными в хуторах сельсоветами решали самые важные вопросы: о продналоге, топливе, торговле. Складывались первые коллективные ячейки — товарищества по совместной обработке земли. Во всех этих делах, важных и существенных для населения, в той или иной форме участвовали и комсомольцы.

Во время поездок в Шепетовку Николай обязательно встречался с Федотовым, проникался все большим уважением к этому немногословному, всегда ровному и приветливому в общении человеку. Федотов, зная о независимом и самолюбивом характере Островского, относился к нему внимательно и дружелюбно, не скрывал в разговоре своих взглядов по поводу тех или иных происходящих в стране событий, критически оценивал некоторые, неправильные, на его взгляд, действия губернских властей. Такая откровенность находила отклик у Николая, он раскрывался в разговоре, с радостью чувствовал установившуюся между ними дружескую близость. Федотов тремя фразами подвел итог давнего спора Николая с Лисицыным по поводу личного облика партийца, его отношения к своему быту. Скажем, имеет ли право большевик держать в своем доме рояль и учить детей французскому языку?

— Что такое коммунизм? — спрашивал вроде бы сам себя Федотов. — Полное жратвы корыто — подходи и ешь вдоволь? Нет, друг, такой коммунизм нам не нужен. Высокое сознание и культура. Да, может быть, рояль и французский язык в каждом доме. Не сегодня, конечно...

Эти же проблемы волновали многих юношей и девушек, начинающих строить новую жизнь и жаждущих, чтобы эта жизнь была понятной для всех, как песня о летящем вперед паровозе.

И вот пришел день, когда бюро окружкома в числе других вопросов обсуждало заявление Островского с просьбой рекомендовать его в кандидаты КП(б)У.

— Не обижайся, если здорово гонять будут, — предупредил Федотов. — Требования жесткие — партиец должен быть не только политически, но и всесторонне развитым человеком, без путаницы в голове.

На бюро Николаю задавали много вопросов, но не по Уставу и марксистской теории, а о практике его работы, потому что рост комсомольской организации превышал показатели всех районов округа.

— Хорошо, — сказал наконец Федотов. — Есть предложение рекомендовать Николая Островского в кандидаты партии.

За это предложение проголосовали единогласно. После бюро Федотов поинтересовался, кто еще рекомендует Николая. Узнав, что Лисицын, одобрительно кивнул.

Пятилетие комсомола было решено отметить в Берездове всеобщим субботником, а затем завершить открытым объединенным собранием коммунистов и комсомольцев. Состоялось оно в самой большой комнате — кабинете Богомольца.

27 октября. «Выписка из протокола № 3 Районного собрания членов и кандидатов КП(б)У Берездовского района. Присутствовало: членов и кандидатов КП(б)У — 10 чел., членов и кандидатов КСМУ — 9 чел., беспартийных — 9 чел... Председатель: Лисицын, секретарь — Островский».

Повестка дня: О пятилетии РКСМ.

Островский сделал доклад. А затем Лисицын прочитал его заявление с просьбой принять в кандидаты партии. Обратился к собранию: есть ли вопросы к товарищу Островскому? Вопросов не было.

— Хочу пожелать молодому коммунисту, поскольку поручился за него, — сказал Лисицын после голосования, — чтобы его горячность никогда не шла во вред делу. И еще одно пожелание. — Он повернулся к Николаю, заговорил тихо, как будто только для него: — Никогда не забывай, что в партии нет командиров, что в партии все рядовые, на каком бы посту ни находились. В этом ее величие и сила...

В этот октябрьский день Лисицын и Островский со своими близкими встретились у здания райпарткома. Неизвестный фотограф снял их всех у могучего каштана. На скамейке, первый слева — Лисицын, лицо задумчиво, высокий лоб прорезали морщины, он во френче с накладными карманами, орденом Красного Знамени, без обычной кубанки. Рядом жена Мария, возле нее Нюра, очень похожая лицом на брата, с распущенными до плеч волосами, дальше Катя, сестра Николая. А за скамейкой стоят в приличном отдалении друг от друга Соколов, круглолицый, с пробором посредине головы, и Островский, без фуражки, в куртке, переделанной из шинели, лицо серьезное, пытливый взгляд. Усики сбрил еще перед собранием... Эта фотография сохранилась до наших дней. И по-прежнему рядом со зданием бывшего райпарткома, где ныне разместилась детская библиотека, высится тот самый могучий каштан.

* * *

«Протокол № 20. Октябрь 1923 г. Принимая во внимание, что тов. Островский по постановлению комиссии по медосвидетельствованию членов и кандидатов КП(б)У и КСМУ имеет по здоровью балл — 2 и нуждается в климатическом лечении, дать тов. Островскому месячный отпуск».

Уехал Николай до Октябрьских праздников, не предполагая, что не вернется больше в Берездов. Лисицын на прощание стиснул его в объятиях, бодро сказал:

— Отдохни хорошо, смотри, какой ты тощий стал. Ничего, мы с тобой еще покажем себя.

Резво неслась тачанка по лесной дороге. Сидел на сене Николай Островский, в шинели, надвинув низко буденовку, смотрел на мелькающие по сторонам могучие деревья. В голове не укладывалось, что болезнь может его побороть, та, притаившаяся в тайниках тела болезнь, о которой он никогда не говорил даже Лисицыну. А уж его он любил больше всех на свете.

Новое назначение

Только к началу весны отступила болезнь. И Ольга Осиповна, лечившая сына все эти месяцы народными средствами, впервые улыбнулась, когда Николай, опираясь на палку, вышел во двор. Книги помогали ему коротать время, уходить от тревожных мыслей о своей инвалидности. Приезжал Лисицын, заходили ребята из окружкома — ко всем обращался с одной просьбой: «Принесите что-нибудь почитать». Как маленький, радовался каждому гостю, жадно выпытывал новости.

В Берездове секретарем ячейки избрали Евгения Поливанова. Росли, набирались сил комсомольские организации в местечках, все ярче разгорался огонек, зажженный «завзятым комиссаром» в сердцах первых берездовских комсомольцев. Николай долго смеялся, узнав, что собрание ячейки по предложению Ивана Киреева приняло решение: просить райисполком присвоить одной из улиц Берездова имя Островского.

— Пришлось отклонить, тезка, — говорил Лисицын. — Ты уж на меня не сердись. — Дружески подмигивал, хлопал его могучей рукой по плечу. В его присутствии Николай всегда ощущал прилив энергии. Лисицын говорил ему, что не позволит дольше валяться в кровати, поскольку ждут их обоих дела в новом районе.

— Каком еще районе? — удивился Островский.

— Много будешь знать, скоро состаришься, — загадочно улыбался Лисицын. — Сам сообщу...

И действительно, через несколько дней объявил:

— Утвержден я председателем Изяславского райисполкома. Так-то, братишка. В одном городе тысяч десять живет, это тебе не Берездов. В общем, поработаем...

Весна словно вливала силы в Николая. С каждым днем он чувствовал себя все лучше, уже начал выходить на улицу — ноги не так опухали. И в первый раз самостоятельно дошел до окружкома комсомола.

Его тотчас обступили, жали руки, забросали вопросами. Николай, видя искреннюю радость своих товарищей по комсомолу, оживленно, как когда-то, широко, по-мальчишески улыбался, шутил. А они нападали, обвиняли в лентяйстве, дезертирстве, назы-

вали барчуком и лежебокой, зная, что эти слова для него сейчас действеннее всех лекарств на свете.

— Для революционных дел еще не гожусь, — шутливо возражал Островский, — надо боевую форму обрести.

Договорились, что он будет пока выполнять отдельные поручения бюро, по мере сил поможет шепетовской ячейке. Ну а когда почувствует себя лучше — пожалуйста, место в окружкоме всегда для него найдется. Домой Николай вернулся веселым, сказал с порога:

— Сожгу я когда-нибудь эту проклятую палку.

* * *

«25 марта 1924 года, г. Бердянск, ул. Славянская, дом № 27.

Люси! Далекая, почти забытая, но славная воспоминаниями нескольких минут, хорошая Люси. Жизнь разнесла нас так далеко, но воспоминания так живы...

Я помню вокзал и ваш уход — первый раз в жизни мучительное состояние, — уходящая ваша фигура — и впереди пустота и опять борьба за жизнь... Помню ваши волосы — черные-черные и глаза черные, единственные в моей жизни пролетария. Я не знал женщин, и не приходят они ко мне так, как пришли вы...

Сам пролетарий, сын рабочего, всю свою жизнь, хотя короткую, борющийся за жизнь своими руками, — и я имею право на место в той семье, что зовется коммунизмом.

Не знаю ваши мысли, наверно, вы в противном лагере, но пишу не убежденной буржуазке или мещанке, а пишу той Люси, которая уходила тогда, милой и дорогой...»

Воспоминания о Люсе вновь нахлынули в эти долгие зимние месяцы вынужденного покоя. Николай никому никогда не рассказывал о Люсе, даже матери, даже Лисицыну, хранил образ девушки в потаенном уголке сердца. Вспоминал встречи, ее смех, прощальный поцелуй на вокзале. Она была для него как легенда, как Прекрасная Дама для Дон-Кихота, нуждавшегося в светлом и лучезарном путеводном образе.

Он полюбил эту девушку, дорисованную воображением до некоего идеального образа, еще и за чистоту своих отношений с ней. Когда-то, работая кухонным мальчиком при вокзальном ресторане, Николай не раз видел, как унижали девушек-судомоек, как развязно и бесцеремонно обращались с ними наглые официанты. Он еще тогда всем своим существом восстал против осквернения святых для человека чувств. И всегда мечтал о любви светлой, необыкновенной, поднимающей человека. Позже, работая в среде грубоватых рабочих парней, служа в эскадроне, не прощал пошлых шуток, не терпел сальных анекдотов.

Теперь Люся стала для него как бы символом такой чистоты. Но он даже самому себе не мог бы ответить на вопрос: хочет ли снова увидеть ее?

Впрочем, уже некогда было задавать себе такие вопросы. 21 мая 1924 года состоялась вторая Шепетовская окружная комсомольская конференция. Делегаты подвели итоги работы городских и сельских ячеек, отметили большую тягу молодежи в комсомол, растущую активность юношей и девушек. Здесь Николай Островский встретил берездовских друзей — Женю Поливанова, Юрко Корсуна, Ивана Киреева. С жадным любопытством расспрашивал о делах. На вопрос Юрко, когда же он вернется, со-

крушенно развел руками, улыбнулся, сказал, что уже «сосватан». Незадолго до конференции Лисицын пожаловался в Шепетовском окружкоме партии, что некому работать с молодежью, настойчиво попросил направить в Изяславский район Николая Островского. Согласие было получено. Это и имел сейчас в виду Николай.

В белой рубашке с отложным воротником, похудевший и бледный после болезни, он выглядел совсем юным. Когда вышел и встал за кафедрой, оставшейся от старой гимназии, смущенно улыбнулся, сразу расположив к себе всех в зале, то стал совсем похож на школьника. Он говорил о сложностях комсомольской работы, о тех гигантских задачах, которые предстоит решать им, молодым. Закончил свое выступление словами: «В окружком надо избрать таких комсомольцев, которые сами могут служить примером в работе и личной жизни». В числе других Островский был избран конференцией членом Шепетовского окружкома КСМУ, а через неделю, 27 мая, Николай приехал в старинный город Изяслав, радуясь, что вот и опять он рядом с Лисицыным, как будто и не разлучались.

На другой день Островский зашел к секретарю Изяславского райпарткома Якобчуку, коренастому, светловолосому человеку с приветливым лицом. Представился, протянул мандат, выданный ему в окружкоме партии. Якобчук повертел в руках документ, читать не стал, сказал, что все знает со слов Николая Николаевича, предложил приступать к своим обязанностям. Посмотрел на кобуру с пистолетом, усмехнулся:

— Значит, с оружием в руках, по-американски?

В секторе учета на Николая заполнили карточку — прибыл 27 мая 1924 года, кандидатская карточка № 1113. Заходя в свою комнатку, Николай вспомнил слова Якобчука, пожал плечами: «При чем здесь Америка?» Позже Лисицын пояснил, что Якобчук недавно вернулся из Соединенных Штатов.

Деревянный двухэтажный дом на каменном фундаменте глядел окнами на широкую базарную площадь. Сюда по воскресеньям съезжались крестьяне из ближних сел и хуторов, торговали зерном, птицей, салом. С площади к дому шла каменная лестница. С просторной веранды — две двери. Прямо — вход в райком. Одну из комнат, высокую, с окнами в тенистый уголок улицы, занимал секретарь райкома Якобчук с семьей. Налево маленькая прихожая, у стены две винтовки, а дальше — комнатка с камином, с тяжелым деревянным брусом поперек потолка. В ней нехитрое убранство — простой стол, два топчана, два стула. Здесь и жил Иван Юрин, посланный Шепетовским окружкомом партии для работы среди двух расквартированных в Изяславском районе полков червонных казаков. Один из топчанов занял Николай Островский.

Первое собрание молодежи Островский назначил на 30 мая. По спискам в районе насчитывалось около шестидесяти членов и кандидатов комсомола. На собрание пришло человек сорок. Хлопцы в зале, как сразу понял Николай, хорошо знали друг друга — громко переговаривались, преувеличенно шумно встречали вновь пришедших, смеялись каждой сказанной шутке. И демонстративно не обращали внимания на худощавого темноволосого парня с бледным лицом, одетого в старенькую гимнастерку, потому что уже дважды разочаровывались в присылаемых «сверху» чужаках.

Собрание открыл Иван Юрин, секретарь городской ячейки. Не представляя Николая, он сразу начал говорить о недостатках в комсомольской работе. Политзанятия посещаются плохо, организации на местах малочисленны, много девушек ходит в костел.

— Нет у нас в активе ярких дел, — говорил Юрин. — Поэтому и не тянутся к нам, не замечают нас... — Махнул рукой, сел.

Наступило неловкое молчание, и этой паузой воспользовался Николай.

— У меня есть вопрос. — Он поднялся, заложил пальцы за широкий армейский ремень. — Представьте, что сегодня ночью враг перейдет границу. Что вы, комсомольцы, будете делать?

Вопрос прозвучал неожиданно. Молчание затянулось. Красивая черноглазая девушка весело и зло бросила:

— Мамкам под юбки попрячутся...

В клубе поднялся шум, какого еще не слыхивали его старые стены.

— Ты не очень разоряйся...

— Позоришь комсомольцев...

— Обсудить Гутман за умышленное оскорбление! — кричали парни, перебивая друг друга и размахивая руками. А Нина Гутман, насмешливо улыбаясь, вышла к столу, подняла руку:

— Тихо, не на ярмарке. Обиделись, значит? — подалась вперед, спросила: — А почему на субботник в Клембовку никто не явился? Мы трое целый день работали, кирпичи таскали. Райком партии постановил всей молодежи принять участие в восстановлении сахарного завода. Разве голод нам не враг, разве с ним не надо бороться комсомольцам? Если уж на субботник испугались выйти, то чего другого от вас ожидать, — закончила она решительно.

В комнате снова поднялся шум.

— Правильно, Нина, начинать будем с дисциплины, — сказал Островский. — Опоздал на собрание, не вышел на субботник — дезертир. Без железной дисциплины мы ничего не сможем сделать.

Вперед, только вперед

Стояли сухие, жаркие дни. Черная кожанка Николая давно висела на гвозде, в вещмешке хранилась гимнастерка. А сам он ходил в белой рубашке, которую Ольга Осиповна сшила еще зимой. Николай приезжал в Шепетовку обычно в субботу. Мать с радостью замечала, как сходит бледность с его лица, вновь гибкими и энергичными становятся движения. Приезжал Николай вечером, весь в пыли, бросал сумку, шел в сад и долго плескался у бочки с водой. Возвращался в дом сияющий, с аппетитом набрасывался на оладьи, выпивал чуть не целую кринку молока.

Вот только ноги... Он теперь не мог носить галифе, сапоги, не мог долго ходить без палки. На осторожные вопросы матери о здоровье отшучивался:

— Да что вы, мамо, волнуетесь. Документ могу вам представить. — Он доставал новенький военный билет, читал гром-

ко: — «Личный номер 2568, очередь призыва — первая, адрес — райпартком, кем работает — райорганизатор, должность — стрелок...» — сами понимаете, в армии больным нет места. А я еще повоюю...

Он обнимал мать, кружил ее по комнате. Ольга Осиповна, конечно, не могла догадываться о том, что военный билет был выдан Николаю без медицинского освидетельствования, на основании чоновского удостоверения. Радовалась, подолгу не сводила с сына любящих глаз.

Дома Николай долго не задерживался. В Изяславе по воскресеньям всегда намечались какие-то мероприятия в рабочем клубе: собрания, антирелигиозные диспуты. В городской ячейке уже был свой струнный оркестр, и вечера заканчивались танцами и песнями.

Всю свою работу Островский загодя планировал, каждый день был расписан: «Воскресенье — экскурсии, понедельник — политзанятия, вторник — украинский язык, среда — свободный день, четверг — партдень, пятница — комсомольские сборы, суббота — политзанятия». Этот план утвердило общее собрание, и он стал законом для всех ячеек района. Частым гостем на комсомольских вечерах был Николай Николаевич. Этот суровый, немногословный человек преображался здесь. Мог неутомимо рассказывать о гражданской войне, пел вместе с молодежью, шутил... Расходились часто за полночь.

Николай больше не ездил верхом. Лисицын, догадываясь о его болезни, почти всегда выезжал в села района в пролетке, а накануне как бы ненароком говорил:

— Что-то лень верхом, просил на завтра запрячь гнедых.

Знал, что Николай обязательно попросится:

— И я с тобой.

Ночевать они всегда возвращались в Изяслав. Иван Юрин обычно дожидался его с горячим чаем. Часов до двенадцати читали, разговаривали. А в семь утра оба были на ногах — и начиналась обычная круговерть.

Как-то на комсомольском собрании Николай передал просьбу райкома партии провести субботник по восстановлению Клембовского сахарного завода. В Клембовке жило немало парней. Костя Паламарчук по заданию Островского готовил здесь целую группу к приему в комсомол. Его тоже пригласили на это собрание, и Николай прямо спросил:

— Как твои кандидаты, выйдут?

— Ручаюсь, — торжественно ответил Костя.

Утром в райком вбежала Нина Гутман, оживленная, красивая, с яркой лентой на голове.

— За двадцать человек ручаюсь, — сказала она. Огляделась: — Прямо монашеская келья у вас, и чистенько так. Эх вы, холостяки бездомные! Как, товарищ Островский, вы смотрите на любовь? — спросила она с кокетством.

— Слишком серьезно, чтобы ее обсуждать.

Она испытующе посмотрела на него, пожала плечами:

— Прости, совсем не хотела тебя задеть. Но ты, Коля, ведь и правда как монах. Все один да один. Хоть бы за мной поухаживал. Или не нравлюсь? — Черные глаза ее смеялись, яркие губы растягивались в улыбку, влажно поблескивали зубы.

У окна зазвучали голоса.

На субботник явились двадцать два комсомольца, да Нюра Лисицына привела одиннадцать парней и девушек из юнсекции, готовящихся вступить в кандидаты. У крыльца дежурила пролетка, запряженная парой гнедых.

— Секретарь ячейки, возглавь колонну, — сказал Николай Юрину.

Тот кивнул:

— Хорошо... А ты садись в пролетку.

Островский, не отвечая, встал в последний ряд, спросил:

— Ну что, друзья, споем? — И затянул песню.

Семь километров до Клембовки шли без остановок. Короткими показались эти километры. У завода их ждал Костя Паламарчук с двумя десятками парней с красными бантами на груди и лопатами в руках. Полдня разбирали завалы, сносили в кучу искореженные детали машин, битый кирпич, очищали цехи. Николай раскраснелся от работы, шутил, обещал похлопотать, чтобы участникам воскресника выдали по головке сахара из первой продукции завода.

Всех участников воскресника накормили обедом. Здесь же, в главном цехе, устроили летучий митинг, подвели итоги дня.

Назад Николай идти не мог. Стиснув зубы, сел в пролетку, кучеру коротко приказал:

— Поезжай сзади всех...

Когда укладывались спать, Николай сказал:

— Горький писал, что есть только две формы жизни: горение и гниение.

— Ты это к чему? — не понял Юрин.

— А к тому, что если не гореть, то лучше сразу пулю в лоб...

— Зачем крайности? — возразил Иван. — Есть много скромных, незаметных людей, честно исполняющих свой долг, свои обязанности.

— Слишком ты рассудителен сегодня, — Николай вскочил с топчана. — Кто революцию делал? Люди с пылающим сердцем. Такие, как Данко. Твои честные обыватели кулеш с салом ели и дверь крестили, чтобы никто не ворвался в их тихий мирок... На любом месте можно гореть, болеть за людей, бороться со всякой пакостью, разложением. Мне на днях один райисполкомовский служащий анекдот пытался рассказать. О женщинах. Не знаю, как я удержался, не ударил. Испугался он, побелел весь, просит: «Вы Николаю Николаевичу не скажите, анекдот же...» Не сказал, конечно, не доносчик. Но не могу я слушать такое. Сам знаешь, я не кисейная барышня, многое повидал. Может, поэтому не могу, когда о женщине плохое слышу... — Он зачерпнул кружкой воду, жадно пил. Перевел дух, уже мирно закончил: — От обывателей, равнодушных ко всему на свете, кроме собственного брюха, пользы мало.

Вскоре Николай уехал в Житомир, где открывался восьмой Волынский губернский съезд комсомола.

Съезд работал три дня — с 25 по 28 июня 1924 года. Вопросы обсуждались всем понятные и близкие: о сельской молодежи, военно-патриотической подготовке и шефстве над армией, работе с батраками, девушками из религиозных семей, об отношении к кулаку и частным торговцам...

В Изяслав Николай вернулся возбужденный, полный планов. На собрании городской комсомольской ячейки он рассказал о выступ-

лениях делегатов, решениях съезда, призвал комсомольцев личным примером в работе увлекать за собой несоюзную молодежь...

Вечером Николай долго сидел у Лисицына. Мария вязала в уголке, не вмешивалась в разговор.

— Я горьковского Данко прямо живым вижу, хоть он и из легенды, — с жаром говорил Николай. — Каждый партиец таким должен быть, его сердце не ему принадлежит — партии, а значит, народу. Не имеет права он даже думать о личном благополучии, пока не будет построен коммунизм...

— Люди не ангелы, — не выдержала Мария. — Вы, Коля, слишком идеализируете все. Нет людей без недостатков.

— Я не против устроенной личной жизни, поймите, я о другом... Если личное в человеке занимает огромное место, а общественное крошечное, тогда трагедия в личной жизни почти катастрофа. Тогда у человека встает вопрос — зачем жить? Этот вопрос никогда не встанет перед бойцом...

— Что значит «перед бойцом»? — не выдержала Мария. — Напускаете на себя, Коля, ненужную суровость. Моего повелителя копируете, — кивнула она на улыбающегося мужа. — Кому нужны эти железные маски? Вы ведь добрые, сердечные люди. Это даже по вашему отношению к чужим детям видно. А были бы свои...

— Это, между прочим, наши дети, — сказал Николай. — Мы за них в ответе. Правильно, Николай Николаевич?

Лисицын улыбнулся, потеплел глазами.

Мария имела в виду, когда говорила о детях, два детдома, созданных недавно в Изяславе. В первом, что был на Майдане в доме богатого торговца, собрали осиротевших местных ребят, чьи отцы погибли на фронтах. В другом разместили привезенных из Поволжья сирот. В двух этих домах было около полутораста рано повзрослевших детей.

Мария была права — эти два дома притягивали обоих Николаев. Чуть не через день Островский, всегда неожиданно, появлялся в одном из детдомов, шутливо командовал:

— Смирно, — брал под козырек фуражки, докладывал заведующей Кларе Брамник: — Прибыл для прохождения дальнейшей службы.

На что Клара серьезно отвечала:

— Приступайте к своим обязанностям.

Детвора немедленно окружала Николая. Между ними уже давно завязались самые дружеские отношения. Здесь суровый комиссар преображался. Он часами мог петь, шутить, рассказывать смешные истории. Особенно любили ребята его рассказы о гражданской войне, о конных атаках буденновцев. В такие минуты все затихали, слушали с жадным вниманием.

Нередко заглядывал сюда и Лисицын. Говорил ребятам о Советской власти, что дала она людям, какие задачи ставит, чего ждет от них, юных граждан.

Однажды Островский привел с собой замызганного мальчонку с улицы, босого, давно не стриженного.

— Что, ребята, примем Колю в нашу семью? — спросил Островский. — Тезку вот нашел.

— Грязный он очень, — сказала девочка.

— Это не беда, — улыбнулся ей Николай. — Отмоем его, оденем — и будет как все.

Мальчонка никак не хотел отпускать руку Островского. Пришлось Николаю самому купать его, помочь одеться, вместе сели обедать. И только тогда начал оттаивать Коля. И позже, когда приезжал Островский, он первым бросался к нему.

— Давай вместе с тобой тут жить, — просил он.

— Нет, тезка, ничего не получится, — засмеялся Николай. — Большой очень вырос, не возьмут меня сюда. Да ты не волнуйся, я приезжать буду.

* * *

«8 августа 1924 г. Бердянск, Славянская улица, дом № 27.

Слишком с перебоями мы пишем друг другу. И не знаю, но мне кажется — становимся чужими. Правда, мы слишком далеки друг от друга... В чем суть дела? Если бы спросить кого-нибудь из нас, то он, наверное бы, не ответил. Когда я получил от вас одно письмо, последнее, то оно меня разочаровало, слишком мало о себе и своей жизни говорите в нем. Если не хотите писать, то это другое дело, но писать так редко...

Я спотыкался много раз... Но я спотыкался потому, что шел к лучшей жизни. Много нас... желающих лучшего как для себя, так и для других своих собратьев, которые входят в борьбу, активно отдаются ей же... ведут других и сами идут к цели...

Спросите меня... что у меня осталось сейчас родного, дорогого, — только одна партия и те, которых ведет она. Вы мне писали, что дает она мне? А дает то, что я не имею: это то, что движет нами — сильное, могучее, чему мы преданы всей душой...

Кто знает, если бы мы теперь встретились, то, может, были бы чужие...»

Это письмо было последним. Николай написал его накануне события, ставшего затем праздником всей его жизни.

День пламенеет

Секретарь райпарткома Якобчук резво сбежал по ступенькам, выскочил на базарную площадь, глянул по сторонам и, убедившись, что она еще почти пустая, стремительно ринулся вниз по узкой улице. Он бежал легко, пружинисто отталкиваясь от земли, ритмично работая руками. Николай стоял у открытого окна — уже одетый, аккуратно причесанный, восхищенно смотрел, пока бегун не скрылся за поворотом.

— Железная воля у Якобчука, — сказал он Ивану. — Каждый день на Горынь купаться бегает, как на работу, минута в минуту...

— Это он в Америке привык, знаешь, как у них: «Время — деньги», — сонно протянул Юрин. Он лежал на узком топчане и наслаждался тем, что сегодня нет срочных дел, требующих вот сию секунду стремглав вскакивать, трястись на бричке, глотая пыль.

— Насчет денег ты тонко подметил, — охотно отозвался Николай. — Он вчера до полуночи, по-моему, сапоги себе чинил.

— Ну и глупо, — возразил Юрин. Он уже сидел на топчане, тянулся, напруживая мышцы груди и плеч. — Не положено

партийному лидеру в драных сапогах ходить. Люди, брат, все замечают, — продолжал назидательно. — Он где-нибудь на собрании станет о светлом будущем расписывать, а ему вопросик: «Уж коли ваша власть своих руководящих товарищей обуть не может, так когда же до нас, рядовых граждан, очередь дойдет?»

Николай насмешливо смотрел на приседающего Юрина, чувствуя, как, помимо его воли, в голове начинает клубиться ярость. Такое состояние всегда предшествовало жарким спорам на собраниях, со случайным попутчиком или даже с тем же Иваном Юриным, с которым они делили кров и леденцы к чаю, пекли вместе картошку в этом камине. Сегодня ему не хотелось спорить, но уже не мог совладать с собой и сказал, что на этот «вопросик» легко ответить. Только тот может считать себя настоящим партийцем, кто в первую очередь думает о людях, их благе, их столе и гардеробе, а потом уж о себе. Что же касается латки на сапоге секретаря райпарткома, то она будет лучшей визитной карточкой в глазах незаможников, да и вообще пролетариата.

— Возьми Лисицына, — говорил Николай, нервно сцепив руки. — Ему еще перед Бероздовым предложили экипироваться. Один товарищ из губкома его в склад с изъятым у буржуев барахлом привел, тоже вроде тебя рассуждал: «Руководить районом будешь, оденься солидней да и потеплее — февраль на дворе». А знаешь, что ему Николай Николаевич ответил? «Это аппаратчикам, — говорит, — солидность нужна, чтобы в кресле хорошо выглядеть. А у меня седло вместо кресла. Да и совесть революционная должна греть получше вот этих чужих шкур». И ничего не взял. Ему даже выговор хотели объявить — чиновник этот нажаловался, вроде бы Лисицын нанес губкому оскорбление. Но Лисицына все же знают...

Гнев бесследно прошел, и Николай улыбался, поблескивая темными карими глазами. Его оживленное лицо, как всегда, поразило Ивана выражением какой-то особой доброты, будто идущей изнутри, прямо от сердца.

— Ладно, — примирительно сказал он, — пойдем завтракать. И стал натягивать сапоги.

Дверь неожиданно распахнулась, и Якобчук, закрывая собой весь проем, широкий, весь розовый после бега и купания, с мокрыми крупными прядями светлых волос, бодро крикнул:

— Сегодня я вам запрещаю пользоваться милостями частных предпринимателей. Завтрак будет подан в моих апартаментах ровно в семь ноль-ноль, как выражается предрика товарищ Лисицын.

— А по какому праву нам запрещается? — строптиво спросил Николай.

— По праву сильного, — отрезал Якобчук и легко подхватил на руки обоих. И шепотом добавил: — Моя миссис оладьев напекла. Со сметаной будет подавать. Так-то, холостяки.

Зная, что Иван и Николай питаются кое-как, всухомятку, лишь изредка посещая частную чайную Грабовского, Якобчук частенько приглашал их к себе то на оладьи, то на особо приготовленную картошку, обжаренную на сухой сковороде «по-американски», как шутил хозяин.

Якобчук приехал на Родину в двадцатом году из Америки, попросился на передовую. Воевал с петлюровцами, белополя-

ками. Да так и остался на Украине. Об Америке вспоминал охотно, рассказывал удивительные истории о товарищах по партии и работе, их трудолюбии, аккуратности, верности слову, гостеприимстве и добродушии. Любил поговорку рядовых американцев: «Мое богатство — это чистота». Жена его наглядно демонстрировала, что можно сделать в доме при помощи обычной швабры и воды.

Она добровольно приняла на себя обязанности уборщицы и следила за чистотой во всем здании райпарткома, оттирала деготь с полов, занесенный сапогами. И эти повседневные хлопоты не мешали ей быть самой всегда чистой и опрятной. Николай не уставал восхищаться ею. Эта начитанная женщина, любящая музыку, доверительно призналась ему однажды:

— Знаете, Коля, часто просто сил не хватает, но я заставляю себя. Пусть дети поймут, что нет грязной работы, что всякая работа уважаема.

На этот раз они едва успели выпить чай, как в дверь постучали и ездовой вежливо доложил:

— Кони поданы, товарищ секретарь.

Садясь в бричку, Якобчук крикнул:

— К началу обязательно буду! А вы зря не нервничайте...

На сегодня, 9 августа, было назначено собрание коммунистов Изяславской партячейки. Этого обычного для всех собрания, наметившего обсудить текущие дела, с особым нетерпением и волнением ожидали и Юрин и Островский. В объявлении, вот уже неделю висевшем в райпарткоме, последним пунктом значилось: «Разбор заявлений — тов. Юрина И. М. о приеме кандидатом в КП(б)У, тов. Островского Н. А. — о переводе в действительные члены КП(б)У».

Николай сидел у окна, задумчиво смотрел на площадь, куда съезжались возы, сказал вроде бы про себя:

— Удивительное все-таки совпадение. Как раз девятого августа, в девятнадцатом, я в Красную Армию записался...

* * *

Собрание Изяславской партячейки, куда входили коммунисты всех районных организаций, как и всегда, началось после работы. В кабинете Якобчука собралось человек тридцать. Вначале разговор шел о районных буднях: как улучшить торговлю в райцентре, пресечь проявления бюрократизма при приеме посетителей в райкоммунхозе, лучше провести День урожая.

— Предлагаю поручить это Островскому, — сказал Лисицын. — Молодежь повеселее урожайный праздник отметит.

Предложение приняли... Часам к десяти подошли к последнему в повестке дня вопросу. Председательствующий зачитал заявление Николая Островского, перечислил поручителей: Лисицын Николай Николаевич, член партии с 1918 года, Бойко Михаил Михайлович, член партии с 1918 года, и Калиновский Адам Яковлевич, член партии с 1919 года. Сообщил, что бюро ячейки уже рассмотрело этот вопрос, рекомендует тов. Островского. Положил бумаги на стол, спросил:

— Какие будут предложения?

— Расскажи биографию, — попросили с места.

Николай Островский стоял вытянувшись, как в строю. Говорил медленно, подбирая слова:

— Родился в 1904 году, 29 сентября, в рабочей семье. Обра-

зование низшее. По найму стал работать с двенадцати лет: кубовщиком, рабочим материальных складов, подручным кочегара на электростанции, помощником электромонтера. В комсомол вступил в девятнадцатом году. Участвовал в гражданской войне. В 1922 году участвовал в ударном строительстве по постройке железнодорожной ветки для подвоза дров, где тяжело заболел, простудившись и поймав тиф. По выздоровлении, с начала 1923 года, был снят с производства. Уехал в Берездов... По направлению окружкома комсомола прибыл в Изяслав...

Последняя строка из протокола собрания коммунистов: «Тов. Островского Н. А. перевести из кандидатов в действительные члены КП(б)У. Принято единогласно».

Единогласно все проголосовали и за перевод Ивана Юрина из комсомола в кандидаты партии.

Домой пришли поздно. Распахнули окно в непроглядную темень южной ночи, сидели оба в белых рубашках, молодые, подтянутые. Спать не хотелось.

— Есть слова, которые трудно произносить, — взволнованно говорил Николай. — Но их надо повторять... Часто — мысленно, про себя, редко — на людях, чтобы не заподозрили в неискренности. Но я тебе скажу — для меня без партии нет жизни. Я не знаю, что готов сделать, только бы быть со всеми заодно. Свою принадлежность к партии надо делом доказывать. Я сегодня сказал на собрании — образование низшее. Разве имеет право партиец оставаться с низшим? Да на что он такой партии нужен, чему он других научит? Ваня, братишечка мой, я в себе такую силу чувствую... Честное слово, инженером стану. Пусть военная дорога для меня закрылась — черт бы побрал всех врачей на свете... А инженером буду. Железнодорожником. Мы с тобой еще такого понаделаем, что внуки нас добрым словом помянут...

Встали они с петухами. Над сонным городом медленно поднимался красный диск солнца. Под его лучами вспыхивали окна, голубели кроны деревьев. Николай вскочил с топчана:

— Смотри, братишка, какой день пламенеет...

Иван поднялся, глянул в окно, степенно произнес:

— Революционный будет денек.

* * *

Считанные недели оставалось прожить Николаю Островскому в Изяславском районе. Еще проведет он Праздник урожая, еще будут поездки в сельские ячейки. А 31 августа бюро Шепетовского окружкома партии утвердит решение Изяславской ячейки о переводе Н. Островского в действительные члены КП(б)У. После этого по настоянию медицинской комиссии его направят на лечение в Харьковский медико-механический институт, где ему осторожно скажут, что, возможно, здесь придется задержаться на несколько месяцев... Начнутся самые тяжелые годы в жизни «неистового комиссара». И он, непокоренный, удивит мир железной выдержкой, целеустремленностью, не укладывающейся в рамки обычного понимания. Книги Н. Островского станут учебниками жизни для миллионов.

Все это будет позже. А сегодня, накануне своего двадцатилетия, принятый товарищами-коммунистами в свои ряды, он был полон энергии, планов, светлых надежд. И был готов к любым испытаниям.

К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

Вал. КОРОВИН

МЯТЕЖНОЕ СЕРДЦЕ ПОЭТА

Когда-то Александр Блок горько сетовал: «О Лермонтове еще почти нет слов — молчание и молчание». И тут же утверждал: «Лермонтовский клад стоит упорных трудов».

Тревога поэта понятна: не помнящие предков сами лишаются памяти потомства. Святая обязанность новых поколений — хранить наследство, беречь высочайшие достижения национальной культуры.

Лермонтова у нас любят и чтят. О нем сказано уже много слов, и будет произнесено и написано еще больше.

Великий поэт был наделен от природы пронзительным пророческим даром. Он угадал безгеройное время 30-х годов и возвысил голос в защиту прав и достоинства личности, в защиту героического типа человека. Мальчик, выросший в тихой барской усадьбе, окруженный заботами бабушки, мечтал о подвиге. До него доходили рассказы о пугачевском восстании, докатившемся до Пензенской губернии, о ратной доблести русского народа в 1812 году. Он был современником революционного выступления декабристов против твердыни самодержавия. Какие величественные исторические события! И как полно проявился в них богатырский героический дух русского человека!



Гравюра А. ТРОИЦКОГО по рис. художника Н. ИЛЬИНА.

Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!

Сам Лермонтов, однако, не знает того эпического состояния слитности каждого друг с другом, того героического подъема духа, о котором говорит в «Бородино» солдат-артиллерист и при котором смерть («И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали мы в Бородинский бой!») воспринимается как долг перед отечеством.

Героическая эпоха, а вместе с ней и личная героика ушли в прошлое. Лермонтов опоздал родиться или родился рано, «до срока», «до звезды». Когда-то еще наступят славные времена!

Поэт был обижен на судьбу. Он жаждал принять участие в исторических событиях, но вокруг жуткая тишина и глухая темень реакции.

В этих условиях надо было обладать исключительным мужеством, чтобы не изменить идеалу свободы. Лермонтов готов на любые жертвы ради свободы. Пусть он одинок и обречен, но ничто не усмирит в нем вечного беспокойства души:

А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой.

Лермонтовский протест породил титанические по своей трагичности поэтические образы и первый в их ряду — Демон.

Поэта всегда привлекали цельные личности, подобные Степану Калашникову, но он видел и роковую раздвоенность человека в современном ему мире. Однако его идеалом всегда оставался героический тип, исполненный достоинства и гордости, Лермонтова не могло остановить ни вынужденное одиночество в борьбе, ни жестокое преследование, ни мысль о смерти. У него рано возникло предчувствие безвременной и насильственной гибели, предчувствие, так трагично сбывшееся в 1841 году. Он чувствовал, что его призвание — пасть «за общее дело». Он видел свой долг в пробуждении сознания современников. Эту свою пророческую и гражданскую миссию он исполнил до конца.

Служение поэта в России всегда было особым. Поэт на Руси не тот, кто слагает гладкие вирши или ловко рифмует строки. Поэт — это пророк, вещающий истину. Он говорит суровую, нелицеприятную правду. Ничто не заставит его слукавить. Поэт — это голос народа. Ему доверено выражать чувства и мысли, витающие в народной среде.

Такое отношение к своему искусству требует необычайной силы воли, суровости к себе.

Взыскательность Лермонтова известна: почти все ранние произведения при жизни поэта не были напечатаны. Только достигнув зрелости, Лермонтов начал выступать в журналах. Он всегда ставил перед собой большие задачи — угадать дух времени и через него приобщиться к общечеловеческому.

Не щадя себя, он не щадил и свое поколение, представ его грозным судьей в «Думе» и бросив ему гневное обвинение:

Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию — презренные рабы.

Он не потакал низменным вкусам обывательской толпы, не рассчитывал на легкий успех. Он знал цену поэтического слова, оплаченного муками души, страданиями сердца.

Как художник Лермонтов оттачивал свое поэтическое оружие, добиваясь блеска выражения и разящей остроты смысла.

Уже на исходе короткой творческой жизни Лермонтов понял, что «спасение» от ужасов крепостнического рабства «можно найти только в народе». Его любимой идеей стала идея соединения России образованной с Россией народной. Он чутко прислушивался к голосам простых людей — бедного армейского офицера («Завещание»), милой девушки, мечтавшей о воле («Соседка»), вникал во внутренний мир старого капитана Максима Максимыча («Герой нашего времени»). Он открыл жизнеспособные элементы внутри национального бытия, в русской деревне, в жизни мужиков. Лермонтовская «Родина» с необычайной поэтической силой запечатлела эту новую, «странную» для самого поэта «любовь» к бедной, истерзанной деревенской России. Это открытие Лермонтова предопределило и некрасовскую поэзию, и многие мотивы в лирике Блока. Поэтизация русской деревни, жившей нехитрыми трудовыми заботами и радостью короткого праздничного отдыха, в устах Лермонтова примечательна. Слывший скептиком и по уверениям иных его критиков не имевший каких-либо положительных взглядов, поэт прямо и открыто выразил свою затаенную, заветную мечту.

В сознание многих поколений Лермонтов вошел трагическим поэтом, погруженным в напряженные раздумья о судьбах личности, мятежником, чей удел — бескомпромиссное отрицание феодальной морали и самодержавного порядка. Энергия его отрицания поистине удивительна. Дух свободы и независимости присущ ему в высшей степени. Но есть и другой Лермонтов — нежный и пленительный лирик, восхищающий неземной музыкой:

На воздушном океане
Без руля и без ветрил

Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил...

Есть Лермонтов, завораживающий звуками, зовущий в надзвездные миры. Такому Лермонтову мало земли. Ему нужна вся вселенная. Поэт открывает человеку безмерность и необозримость мироздания. Раскованному, свободному человеческому духу нет преград. Возможности его безграничны. Но идеал Лермонтова не насилие над природой, не власть над ней, подобная власти победителя над побежденным, а гармония человека с природой. Только в этом случае природа раскроет свои тайны, а человек сможет прикоснуться к ним. Корыстное, грубо утилитарное отношение к природе так же немыслимо для Лермонтова, как немыслимы эгоистические вожделения в любви и дружбе.

Сквозь временные рамки железного века поэт — сын гармонии — прозревал сущность совершенного бытия людей, живущих в согласии друг с другом и с природой.

Лермонтовская эпоха, однако, меньше всего предрасполагала к спокойному созерцанию. Она требовала активного размышления и действия. Поэзия Лермонтова аналитична. Мысль, «дума» придают ей философический характер, но никогда не отягощают сухой рассудочностью. В основе его творчества — непосредственное наблюдение над жизнью: живое и трепетное чувство взывает к действию, к личному вмешательству. Лермонтов жаждал согласить свои убеждения с героическими деяниями. Он хотел жить так, чтобы слова не расходились с делами. Лермонтов тосковал, не видя поприща для борьбы. Он завидовал Байрону, воспевшему свободу и погибшему ради нее.

Но недаром сказано, что слова поэта — его дела. Как бы строго ни судил себя Лермонтов, мы, его далекие потомки, знаем о совершенном им поэтическом подвиге.

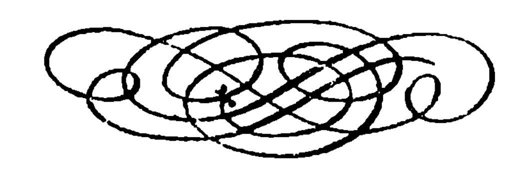
Лермонтовские произведения рассчитаны на умного читателя. Поэт грустно иронизировал над современной ему критикой и наивными вкусами толпы, верившей, будто созданные им герои — точные копии его самого. Он ждал иного читателя. Незадолго до смерти Лермонтов написал стихотворение «Журналист, Читатель и Писатель», в котором создал образ идеального читателя, понимающего толк в литературе. Такой читатель ценит серьезную мысль, глубокое чувство и высокое мастерство литератора. Он недоволен содержанием современной ему литературы:

Стихи — такая пустота;
Слова без смысла, чувства нету,
Натянут каждый оборот;

Притом — сказать ли по секрету? —
И в рифмах часто недочет.
Возьмешь ли прозу? — перевод.
А если вам и попадутся
Рассказы на родимый лад —
То верно над Москвой смеются
Или чиновников бранят.

Лермонтов ждал от читателя активного, заинтересованного отношения к своему труду, первостепенную роль отводя и критике, обязанной просвещать публику.

Нынешний читатель Лермонтова, погружаясь в необычный мир автора «Мцыри», «Демона», «Песни про купца Калашникова», «Даров Терека», «Свиданья», «Трех пальм», «Русалки», «Морской царевны» и других гениальных созданий, покоряясь власти рожденного «из пламя и света» вдохновенного слова, не может не испытывать наслаждения. Каждый открывает для себя «своего» Лермонтова. И это прекрасно, потому что чтение поэта-пророка — незабываемое счастье. Лермонтов — поэт молодости духа, страстного порыва к свободе, в бескрайние просторы вселенной. Его поэзия, возвышая душу и пробуждая творческие силы человека, помогает крепче любить землю.



К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. С. НИКИТИНА

Егор ИСАЕВ

В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

Есть такие вершины, которые, сколько ни отходи от них, никогда не теряются из виду. Больше того, насколько отойдешь от них, настолько же они впереди. Надо только вглядеться, войти в цепь времен и почувствовать: горы — они в тебе, в сердце твоем, в твоей повседневной памяти.

В географическом смысле такое чувство, как это ни странно, больше всего свойственно степнякам. Равнинные, они, сами того не замечая, сызмала носят в себе чувство гор, как мечту, как надежду: доведется ли увидеть?

А в историческом смысле?

И в историческом смысле происходит нечто подобное. Человек, любой человек — знать бы только, что хороший, — чаще всего не догадывается, насколько он глубже и богаче самого себя. При нем все: руки, ноги, умная голова... И в людях он, человек: любимая работа, уважение в коллективе, дом, семья... Все, казалось бы, да не все. Зайдет, к примеру, разговор о Пушкине, — он всегда поддержит этот разговор. Если не словом, то обязательно своим искренним, глубоко заинтересованным присутствием. Возможно даже, что он не знает Пушкина так, как знают люди, близкие к литературе. Но знание не равно чувствованию.

Можно хорошо знать и слабее чувствовать. И наоборот. Есть, например, всеобъемлющее чувство Родины. Всю ее одному узнать нельзя, а любить ее всю одному можно, зная хорошо лишь какую-нибудь малую часть ее, а все остальное лелеять в себе, как мечту, как надежду: доведется ль увидеть, доведется ль узнать?

Так и с Пушкиным. Чувство Пушкина равно чувству Родины.

Так и с Толстым, с Некрасовым... Так и с Кольцовым, с Никитиным...

Прошлым летом, помню, мы с одним коршевским трактористом уговорились порыбачить. Встали рано, когда еще не свет, а чуть светочек — и на Битюг. Есть такая прекрасная река на Воронежщине. Баркас был неважный, но позиция под окуня хороша. Клев еще не начался, а красота!.. Красота, вот она, вокруг, еще неясная до первого луча, глубокая еще, тайная... И вот он — первый луч! И я вдруг как выдохнул:

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар по лугам расстилается.
По зеркальной воде, по кудрям лозняка
От зари алый свет разливается.

Откуда это? От Никитина или от светающего утра? Сосед молчал, тайный тоже весь. С минуту прошло, пока он отозвался, как эхо, с того конца баркаса:

— А хорошо!

— Что хорошо?

— Да то, что ты сейчас сказал.

Заметьте: не «прочитал», а «сказал». Он с ходу ощутил органичность прочитанного мной и тут же отнес его прямо к жизни. И тут же рывком откинулся:

— Ого! Вот он, полосатый. Прямо из-под зари, из-под воды зеркальной, из-под кудрей... Хор-ро-ший! — и улыбнулся, зубы белые-белые, — а ты дальше говори, Лександрыч. Для озара говори.

«Озар» — что это такое? Расспрашивать было некогда: окунь пошел один за другим. И лишь потом, перед тем, как искупаться и идти домой, я спросил: а что такое «озар»? Он усмехнулся:

— Подловить меня хочешь? В неграмотности уличить? — и, довольный собой, повел свой урок. — Я ведь тоже знаю, что такое азарт. Это — когда горячо, спорно в работе или же в игре. Но «озар» — лучше! Он к душе больше подходит — заря в нем есть, мягкий огонь — светлость особая, которая не слепит, а глубже видеть дает.

Я поразился: как точно он чувствует Никитина. И, чтобы не

смазать картину, осторожно спросил: а знает ли он, чьи это строчки, которые я так удачно прочитал?

— Чьи не чьи, а все равно наши, — ответил он. — Пушкина, наверно.

— Да нет же, — говорю. — Никитина. Нашего земляка!

— А Пушкиным хорошего не испортишь, — нашелся он.

Потом он признался: Никитина он читал, но давно, в шестом или седьмом классе, а потом — война, голова была другим занята. Не мудрено и позабыть.

— А ведь все равно вспомнил, а? — обрадовался он вдруг. — Если не головой, душой вспомнил! А иначе как бы я на озар вышел!

Радость его подхлестнула меня, и я стал читать «Соху»:

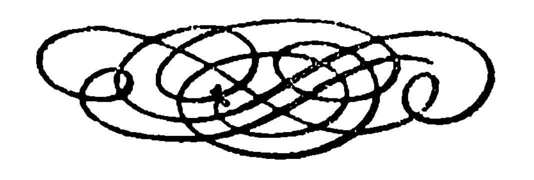
Ты соха ли, наша матушка,
Горькой бедности помощница,
Неизменная кормилица,
Вековечная работница!..
Ах, крепка, не знает устали
Мужичка рука железная,
И покоит соху-матушку
Одна ноченька беззвездная!
На меже трава зеленая,
Полынь дикая качается —
Не твоя ли доля горькая
В ее соке отзывается?

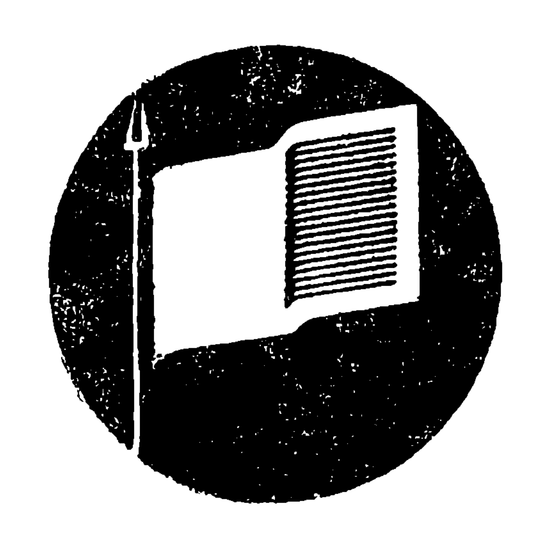
И тут он тоже рассудил по-своему:

— Соха сейчас вещь редкая. Ну разве что разок-другой пройдет по огороду, когда картошку роют, а так весь год где-нибудь под плетнем лежит. Но не о том тут речь. Речь тут, как я понимаю, далекий прицел имеет. Это бы стихотворение нашим трактористам читать, чтоб железо меньше рвали. В железе она тоже, душа, лежит.

Мы взошли на гору. Он повернулся лицом к пойме, которая лежала внизу — с рекой, с лесом до того горизонта — и медленно, как по гриве невидимого коня, провел перед собой рукой:

— Вот! Разве это все запомнишь? — И в раздумье добавил: — Запомнить все и не запомнишь, а и разлюбить — не разлюбишь.





ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Юрий СЕЛЕЗНЕВ

...ЕСЛИ СКАЗКУ СЛОМАЕШЬ

Испокон веков искал человек такие способы и формы передачи самого насущного из своего опыта познания и освоения мира последующим поколением, чтобы этот опыт был доступен даже восприятию ребенка, не теряя при этом самой мудрости. Тысячелетиями отсеивалось ненужное, отбиралось, продолжало жить самое надежное, позволяющее органически слить простоту и сложность человеческого опыта. Так возникли предания, легенды, загадки, пословицы, песни и сказки.

Не случайно Пришвин сказал: «Сказка — это связь приходящих с уходящими...

Стал я на тропу и знаю наверное, что рано или поздно пройдет по ней другой человек. Слушаю сказку и знаю, что другой человек придет и будет слушать ее. Тропинка и сказка в родстве, это сестры, одну в природу отдали, другую в сердце человека».

Тысячелетия шло человечество тропою сказки, мудро сохраняя в ней самое главное — ее целостность, ее мироотношение, утверждающее победу добра, красоты, истины. «В сказке благополучный конец есть утверждение гармонической минуты человеческой жизни, как высшей ценности жизни. Сказка — это выход из трагедии» (Пришвин).

Сказка не забавка, это большая литература малыша. Истинная сказка, народная или литературная, формирует душу, открывает ее добру и красоте мира. Заставляет детское сердце сопереживать, сострадать и через это сострадание приходить к радости. Сказка — школа воспитания чувств.

Душа, прошедшая школу сказок Пушкина, Жуковского, Лермонтова, В. Одоевского, Ершова, сердце, принявшее в себя трагедии и их преодоление героями «Аленького цветочка» Аксакова, андерсеновского «Гадкого утенка», будут подготовлены и к восприятию трагедий и радостей героев «Войны и мира», «Анны Карениной», «Преступления и наказания», «Тихого Дона». Потому что тропинка сказки ведет к столбовой дороге большой литературы, к вершинным проявлениям человеческого духа, к мудрости мира, воплощенной в слове.

Наша послеоктябрьская отечественная литература для детей имеет богатые традиции, позволяющие говорить о ней как о большой, серьезной литературе, а следовательно, и предъявлять ей самые высокие требования. Достаточно вспомнить таких писателей, как М. Горький, А. Толстой, М. Шолохов, М. Пришвин, А. Платонов, А. Блок и С. Есенин, многие произведения которых давно уже стали детской классикой. Неизменной любовью не одного поколения ребят пользуются книги А. Гайдара (и среди них его «Сказка о Мальчише-Кибальчише»), «Доктор Айболит» и «Мойдодыр» К. Чуковского, «лесные» сказки и истории В. Бианки, сказки и стихи С. Михалкова, книги с рисунками Е. Чарушина и многое, многое другое.

Добрым подарком стали появившиеся в последнее время книги для детей В. Астафьева и В. Белова. Особенно хочется отметить удивительные по своему живому, сказочно-былинному языку книги В. Старостина, Б. Шергина.

Словом, наша большая детская литература заслуживает самых добрых слов благодарности. И все же... Все же нельзя не сказать и о тех тенденциях, которые проявляются сегодня в некоторых произведениях для детей, настораживая и вызывая чувство тревоги. Читаешь такие книги, особенно сказки и стихи, и невольно задумываешься: всегда ли детские писатели отдают себе отчет — для кого и во имя чего они пишут? Видят ли перед собой живого, реального ребенка с его восприятием, интересами, жаж-

дой познания самого главного, самого существенного, самого прекрасного в мире?

В последнее время отдельные писатели как бы разрушают сказку «изнутри». Развенчивается именно сказочность сказки, и это определенным образом влияет на формирование психики ребенка, на его складывающееся мироотношение. Разрушение идет по разным направлениям, но наиболее характерно следующее: используются сюжеты, герои, сцены знакомой детям народной и литературной классики, но так, что привычные образы теряют свою сказочность и привлекательность.

Характерен и прием, когда известная сказка приспосабливается к современному быту, «осовременивается». При этом, как правило, ребенок не открывает необычное, прекрасное, удивительное, то есть сказочное, в самом быту, в повседневной реальности, а, напротив, сказочное низводится до обыденного, до быта.

Хочу остановиться на одной из сказок Э. Успенского «Вниз по волшебной реке». Она не лишена выдумки, автор, безусловно, обладает фантазией, но фантазия его, как мне представляется, не всегда обеспечена «высокой страстью», ответственностью перед детьми, хотя упомянутая сказка и получила в критике достаточно лестные отзывы... Мальчик Митя поехал летом в деревню к бабушке. Та посылает его снести гостинец ее двоюродной тетке — Егоровне, которая «старая совсем стала. Того и гляди, в Бабу-Ягу превратится». Митя согласился, и тут-то начались сказочные события. Только вошел в лес, откуда ни возьмись Серый Волк.

«— Здравствуйте, — проговорил он человеческим голосом. — Вы случайно не видели здесь козлика? Серенького такого?..

— Нет...

— М-да, — задумчиво протянул Волк, — значит, быть мне сегодня без завтрака... А вот девочка вам не попадалась? Такая маленькая, с корзиночкой? В красной шапочке?

— Нет...

— М-да, — еще задумчивее протянул Волк, — значит, быть мне сегодня без обеда!..»

Вы узнаете Волка? Ну как же, это тот, что оставил «от козлика рожки да ножки», который слопал Красную Шапочку вместе с ее Бабушкой... То есть здесь еще не слопал, только еще ищет их, хочет слопать. А вместе с тем этот Волк вежливый стал, культурный, на «вы» разговаривает, даже не скажет «козел», а «козлик», не «корзинка» — «корзиночка». Симпатичный, в общем. Узнав, что Митя идет к Бабушке, он усмехается: «Для тебя она, может, и бабушка... а для меня... ну даже ни капельки», — прозрачно намекая, что он и ее попытается слопать.

Словом, если б не его «современная» утонченность обращения, это был бы вполне знакомый детишкам Серый Волк, жестокий, «нехороший» Волк, которого потом лесорубы убьют... Не родня другому, «хорошему» Серому Волку, из волшебных русских сказок — тому, что Ивану-царевичу службу сослужил... Дети хорошо отличают одного Волка от другого. Впрочем...

Впрочем, в сказке Успенского эти два образа совместились.

Вот дети узнают из сказки, что Волк уже съел козленочка. И все-таки Волк «добрый» — он «хотел как лучше»; бабка сама все причитала: «Ах ты, такой-сякой! Да чтоб тебя волки съели!» «Вот мы с товарищем одним взяли и... выручили старушку». Как видите, Волк вполне усвоил современную манеру диалога «с подмигиванием». Может быть, автор, так сказать, разоблачает «лисью хитрость» Волка? Да нет, Волк-бандит действительно добр до сентиментальности. Слопал козлика (Красную Шапочку, Бабушку и других тоже съел — правда, не в этой сказке, но напомним сам принцип построения ее на ассоциациях с другими, известными ребенку сказками), и теперь совесть его заела, жаль бабку. Митя (сообразительный мальчик, но не наблюдательный — по вине автора) выручает его, советует: «Вы... поймайте зайца... и отнесите к тому озеру, из которого пить нельзя. Выпьешь — козленочком сделаешься! Вот этого козлика и можно будет бабке отдать». Ей-то, может, и все равно, а ребенку? Как ему разобраться в своем отношении к Волку (впрочем, и к остальным персонажам)? Вот Митя просит Волка покусать Лихо Одноглазое, которое выглядит в сказке так: «В платье и в то же время в брюках, с длинными седыми волосами — не то мужик, не то баба», словом, этакий современный хиппи — таково Лихо и на иллюстрациях к сказке. Волк посмотрел на Лихо и говорит: «Я там вижу какую-то женщину в брюках». И заупрямился — он ведь добрый волк: «Не могу... Пожилая женщина. Даже ничья не бабушка. Неудобно». Вот бабушку — другое дело, он бы с радостью слопал, наш добрый Серый Волк, а «женщину в брюках» даже и укусить неудобно... «Современный» волк, разбирается!

Но как разобраться ребенку в подобных «хохмочках»? Или авторы рассчитывают на «современное» сознание и восприятие ребенка? А что это за волшебное озеро, из которого выпьешь — козленочком станешь? Вы скажете, автор волен по-своему интерпретировать народный образ... Тем более что из «копытечка» не напоишь Змея Горыныча, чтобы он тоже козленочком сделался (это тоже выдумка Мити). Волен-то он волен, конечно. Но в народной сказке каждый образ имеет свою логику, включающую его в общую систему сказки. А сказка в целом является особой, сказочной формой народного мироощущения.

Почему нельзя было Ивашечке из копытца водицы напиться? (Тут и музыка, ритм!) Да потому, что из козлиного копытца напьешься — козленком станешь, из телячьего — теленочком... Какой же это козел копытом озеро сотворил?

Нет, я не собираюсь упрекать автора в незнании и даже в непонимании этой логики. Скорее совсем наоборот: автор сознательно ломает ее. Озеро — лишь одно из проявлений этого произвольного принципа. (На нем же основаны многие современные сказки.) Во всем модернизация, а по существу, ломка сказки, выхолащивание ее живой души, а следовательно, и определенно направленного воздействия на сознание, на весь душевный мир ребенка.

Соловей-разбойник, который наводил ужас даже на былинных героев (одному Илье Муромцу под силу было одолеть его), оказывается беззубым «незадачливым грабителем», которого бабушка Егоровна метлой загоняет «в дупло столетнего дуба...». И беззубый Соловей жалуется, что вставил бы новые зубы, да «жолото нушно». «Можно и железные», — советует Митя.

«Что я, из деревни, что ли!.. У нас, у ражбойников, только жолотые бывают. С железными зашмеют!»

Былинный образ низведен до мелкого мультипликационно-комедийного «незадачника». Может, оно и ничего? Подумаешь, «отрицательный» Соловей, так, мол, ему и надо. Но еще раз повторю — нельзя безболезненно разрушить часть, не разрушив целое. Соловей-разбойник в сказке Успенского, как и положено, боится одного только Илью Муромца, даже о Бабе-Яге справляется: «А кем она Илье Муромцу приходится?» Снижение, развенчание Соловья-разбойника вольно или невольно развенчивает и самого Илью Муромца. Действительно, чего стоит его подвиг, если Соловья старуха метлой побила? Поэтому-то, когда в «Битве на Калиновом мосту» (не в той, что мы знаем по былинам и сказкам, а той, что выдумал современный автор) русские богатыри бьются с «темными силами», в числе которых и Соловей-разбойник, Лихо Одноглазое, Кащей Бессмертный и другие — вся эта битва предстает опять-таки в сниженно-шуточном виде... Как и положено, перед битвой выезжает из стана самый сильный богатырь, вызывает на поединок богатыря из чужого войска.

Выехал от врагов «страшный Соловей-разбойник». Но помилуйте, после того как побили его метлой, этот беззубый, незадачливый грабитель смешон, а не страшен. Поэтому и сам поединок выглядит не былинно, не сказочно, а сниженно, пародийно.

Кстати, почему же, если уж автор так волен в «интерпретации» русского эпоса и образов его героев, не ввел он в бой с «темными силами» того же Илью Муромца? Забыл? Или, может

быть, все-таки не решился так, впрямую, выставить в «сказке-шутке» любимый народом образ богатыря, понял, куда может завести подобная логика произвола?

Выше уже упоминалось, как «умненький» мальчик Митя победил страшного Змея Горыныча, с которым, помнится, на равных бились самые сильные русские богатыри... Впрочем, при них еще не было выдуманного современным автором озера, из которого пить нельзя — козленочком станешь.

Другой сказочный образ — Кащей Бессмертный, хоть и просидел двести лет в одиночестве в подвале, тоже вполне современный человек, даже манеры у него вполне современные, говорит так, будто сказок сегодняшних начитался.

Вот заходит к нему, прикованному, в подземелье писарь Чумичка, чтобы освободить его и на престол царский пригласить:

«— Здравствуйте, ваше величество, — робко сказал писарь.

— Привет! — ответил Кащей».

Кащей этот (от слова «кость» — отсюда и вся логика этого образа), оказывается, «весь был сделан из железа». Кто же это сделал кость из железа?

Былинные и сказочно-волшебные образы включены в систему комического. Автор настоятельно заботится о комизме своей сказки. Митя приказывает избушке на курьих ножках маршировать: «Раз-два... Раз-два», бояре просят покататься и катаются на Змее Горыныче, и вообще все от царя Макара и до Соловья-разбойника — образы с «детским мышлением», ведут себя как детишки, только и думают (по воле автора), как бы «схохмить», как бы позабавить. Неловко повторять, что забавлять детей, делать «хохму» из Ильи Муромца и битвы на Калиновом мосту по меньшей мере странно.

Что же касается «детских слабостей» сказочных образов, то не следует забывать: сказочная серьезность возвышает душу, сознание ребенка до взрослых, больших чувств, переживаний, проблем на уровне, доступном восприятию ребенка. Подобные же современные сказки пытаются снизить высокую народную патетику былинно-сказочных образов, мудрость истинной сказки свести до уровня несерьезной шутки, забавки.

Сказочный народный образ «речки с кисельными берегами» Успенский, например, интерпретирует таким образом: «Было жарко. Жужжали мухи. От жары молоко кое-где скисало, и в затонах получалась простокваша».

Наивный, но прелестный образ «народного счастья», представление о хорошей жизни снижены в сказке. Или: поехали в избушке на курьих ножках Баба-Яга с Митей, «и поплыли навстречу озера, леса, поля и другие всевозможные просторы...». Явная иро-

ния не случайна — она отражение той иронико-комедийной, по сути своей издевательской интерпретации, которой подверглись образы русского фольклора в этой детской книжке.

А как говорят в сказке, как говорят!

Царь Макар: «Прошляпил я царство! Столько людей подвел...»

Гаврила, царский слуга, ставший теперь слугой Змея Горыныча, запирает царя в темницу: «Каких людей теряем! Каких людей теряем!»

Зато у Бабы-Яги язык, как известно, «истинно народный»: «царевичев», «ейный» и т. п.

Одним словом, «скоро только сказка сказывается... И телятина варится», — по меткому замечанию Егоровны из сказки...

Язык многих современных сказок безличен, мертв. Они перестают быть школой родной речи, школой приобщения ребенка через слово к душе, к миропониманию, к мудрости своего народа. Некоторые сегодняшние литераторы намеренно вводят в свои книги для детей, в том числе и в сказки, сомнительные бытовые обороты, жаргонные слова, речевые штампы, очевидно, для создания атмосферы «современности» и «непринужденности». Происходит это, как мне кажется, частью от вульгарно понятой задачи показывать ребенку жизненную реальность, а частью оттого, что сами авторы не обладают чувством слова.

Особенно настораживает отказ некоторых «сказочников» от веками сложившейся народной символики и образности и замена их надуманными или заимствованными, чужеродными, неорганичными истинной сути сказочной логики.

Не исключено, что авторы руководствовались самыми добрыми побуждениями. Но ложное понимание природы сказочного образа может привести и приводит нередко к неожиданным результатам.

Перед нами одна из сказок С. Прокофьевой — «Лоскутик и облако», в которой повествуется о некоем королевстве.

Король отнял у народа воду. Все, даже лошади, понимают — так жить нельзя. «Какой же это колодец, если из него нельзя напиться?» — подумала лошадь...» Понимают, но смиренно привыкают. Да и охраняют колодцы страшные бандиты: Рыжий Верзила и Рыжий Громила...

Но есть в королевстве мудрецы, обдумывающие, как отнять воду у короля. Самая же мудрая в сказке — огромная жаба Розитта. Живет она тайно в королевском саду и по ночам, когда никто не видит, пьет воду из королевского фонтана. Она, конечно же, «красавица! А уж умница!». Что же разумеется под словом «красавица»? «Она была похожа на старый, потертый кожаный кошель. Кожа складками сползала на короткие лапы. В лунном свете, как изумруды, сверкали ее бородавки». Извращенное соче-

тание естественной красоты, истинно прекрасного (изумруды) и безобразного (бородавки) становится уже как бы закономерным: вспомним хотя бы Прекрасную Жабу из сказки Заходера «Серая звездочка». С. Прокофьева, кажется, даже и не замечает, что «красота» ее Жабы поддельная: бородавки могут сверкать как изумруды лишь в холодном отраженном свете Луны... Может быть, поэтому подобные жабы и боятся появиться при свете дня, ибо их «красота», как и «мудрость», могут предстать в неприглядном виде? Но в чем же заключается эта жабья мудрость, которой в сказке восхищается даже художник? «Какая мудрость, какая сдержанность во всем! Надо обязательно написать ее портрет. Да, да! Я написал бы ее в профиль, освещенную луной». Так чтобы бородавки выглядели все-таки не бородавками, а «сверкали, как изумруды»? Сдержанность жабы небеспричинна: «Она с важностью, как старая королева, указала лапой художнику Вермильону на место возле себя».

По внутренней логике сказки жаба и есть истинная королева — ее место на троне. И не мыслями о «воде» для жителей королевства озабочена Жаба, а тем, как занять свое «законное» место. Она появляется в сказке нечасто. Не многие допускаются к ней, это нужно заслужить. Главное же действующее «лицо» сказки — Облако, которое может принимать любые формы, легко приспосабливаться к тем, «с кем поведется»: с Жабой — оно походит на жабу, с Филином — на филина, но когда разозлится или обидится — принимает образ змеи: «Облако вытянулось в длину и превратилось в огромную змею. Оскорбленно шипя и извиваясь, оно улетело».

Выбор этого «сказочного» образа не случаен: кроме легкого приспособления к внешним условиям, дабы никто не распознал его сути, Облако способно сохранять именно эту свою облачную сущность. Его нельзя убить, его «можно только заморозить». И еще боится оно испариться: «А думаешь, это приятно — испариться? Нет, теперь в ваше королевство не заманишь ни одно порядочное облако», — говорит оно Рыжей девочке. Как видите, Облаку в общем-то нет никакого дела до бед королевства — его сюда теперь «не заманишь», оно и ему подобные — чужаки здесь: «королевство» нужно им только затем, чтобы питаться его «водой». Ну а раз воды нет...

Но почему же это Облако все-таки задержалось? Этот же вопрос, естественно, вырвался и у Рыжей девочки (которую зовут Лоскутик):

«— А ты?

— Я — другое дело. — Облако придвинулось к Лоскутику. — В королевском саду живет мой друг старая жаба Розитта...»

Облаку тоже постоянно нужна вода, оно «водохлеб» по природе, поэтому-то его интересы и совпадают с кровными интересами жителей королевства. Само же Облако, как видите, «залетное», — сказочное королевство для него не родное, чуждое ему, но здесь его друг — Жаба.

В конце концов старания Облака, руководимого мудростью Жабы, приводят к крушению королевского дворца. Но не без помощи «бабки» Облака — Грозовой Тучи. Народ, вдохновленный Жабой и Облаком, тоже идет на королевский дворец. Но сокрушают его не мастеровые и не Жаба даже. Крушит дворец Туча, внезапно появившаяся над королевством. Если бы она не пришла вовремя на помощь Облаку и Жабе, даже они ничего не могли бы поделать. Туче тоже нет никакого дела до королевства, она носится над всей землей, питаясь водой. Она ведь даже не позволяла Облаку лететь в королевство: зачем, когда в других местах полно этой самой воды. У «тучек небесных», как известно, «нет родины», «нет и изгнания». Вернее, где хорошо, где можно хлебать — там и родина.

Освобождается «Великий источник» не из каких-либо высших интересов, не из сострадания к жаждущим жителям королевства. Нет, Тучу интересует только судьба родича — Облака: «Ах ты, негодное Облако! — ворчит Туча. — Вечно от тебя нет покоя старой бабке!»

В общем, «в высшем смысле» Облако просто «похулиганило», за что даже было наказано. Туча оттаскала его за ухо: «Будешь еще не слушаться старую бабку? Будешь летать куда не следует? А как надо, голубей за мной посылаешь!.. «Помогай, старая бабушка, выручай»!»

Народ королевства обижен на Тучу: «Бросили нас, не прилетали!» Да разве ж у Тучи только и дела, что беды какого-то королевства? У нее мировые запросы. Так и Жаба, пока суд да дело, по-королевски предпочитает «отдохнуть от суматохи и подумать о вечности...» (она же мыслитель!), а потом уже обещает прискакать «на *ваш* праздник».

Неизвестно, какое место займет теперь Жаба в освобожденном пришлыми силами королевстве и как распорядится Великим источником. Возможно, автор поведает об этом в следующей сказке. Что же еще? А вот что: художник, конечно, написал портрет Тучи. «Он был счастлив... Этот портрет и до сих пор висит в городском музее». Автор советует юным читателям обязательно заглянуть в музей и посмотреть портрет старой бабки Грозовой Тучи. Потому как Туча, «сделав дело», умчалась по своим «мировым делам», да и Облако с собой прихватила — нечего ему здесь делать. Рыжая девочка была бы рада за ним побежать, да, к со-

жалению, «девочки не бегают по всей земле за облаками...». Но огорчаться не следует: «Теперь облака будут часто прилетать в *вашу* страну». (Раньше, как вы помните, «ни одно порядочное облако» сюда не залетало.) Чего ж не прилетать: портрет Тучи в музее, Жаба — главный мыслитель, да и водицы есть где напиться... а что еще нужно «тучкам небесным»? Кстати, слова «ваш праздник», «ваша страна» лишний раз подчеркивают инородность и Тучи, и Облака, и Жабы, их чуждость празднику, да и вообще всей этой «суматохе», то есть радости народа по случаю освобождения Великого источника...

Ну а что же Лоскутик, Рыжая девочка, поверившая в дружбу Облака, в мудрость Жабы, в их бескорыстное стремление помочь ей и ее народу, освободить «источник» из-под власти короля и его Рыжих Громил и Верзил?

Она — девочка, ребенок, а «насколько проще с детьми. Всему верят...» — по словам ее «друга» Облака...

Не думаю, чтобы С. Прокофьева сознательно «интерпретировала» в своих сказочных образах определенные исторические ситуации. Но ведь логика сказки говорит сама за себя. Ребенок не будет, конечно, выстраивать исторические параллели, но именно сама логика, иерархия ценностей сказки наложит отпечаток на юное, доверчивое сознание.

«Искусство, — говорил Достоевский, — есть такая же потребность для человека, как есть и пить. Потребность красоты и творчества, воплощающего ее, — неразлучна с человеком, и без нее человек, может быть, не захотел бы жить на свете».

Но именно поэзия красоты исчезает из мира ребенка, все более подменяется в иных книжках и стихах «поэзией» пользы, рационально-холодного нравоучительства.

Не так давно со страниц «Литературной России» почему-то исчезла рубрика «Для наших маленьких друзей». А до этого здесь попадались прямо-таки удивительные шедевры. Кое о каких хочется напомнить. Зачем, скажут, ведь рубрика исчезла. К сожалению, да. Будем надеяться, что появится вновь, и с такими стихами, которые действительно захочется прочитать малышам. Сказать же о тех, что были напечатаны, стоит, потому что происходит странный процесс: так называемые стихи для детей сначала появляются на страницах популярных и широко читаемых изданий — той же «Литературной России», «Недели» и других. Затем эти стихи проникают в сборники, в хрестоматии детской литературы, а затем и в учебники для младших классов. Мало того, они заметно потеснили в этих учебниках классиков

и, по существу, стали там на равную ногу с редкими отрывками из стихов Пушкина, Некрасова, Тютчева...

Вот какие советуют читать детям «стихи»: «Хлеб — он дар большой работы, дар простой людской заботы, хлеб — он дар земли и неба; уважай краюху хлеба!» В еженедельнике «Литературная Россия» (№ 38, 1971) автор их, А. Кондратьев, разместил эти слова, конечно, по-иному: лесенкой — каждое слово одно под другим, — так они, по его мнению, видимо, больше похожи на стихи. Мысль, что и говорить, ценная: «Уважай краюху хлеба!» Непонятно только, почему эти рифмованные слова предлагают прочитать как стихи ребенку, а не повесить, например, в общественной столовой, там, где выдают хлеб к обеду? Подобные «рекламно-наставительные» поучения не безобидны (речь не только о приведенных выше, это один из первых попавшихся образчиков). Ребенок, чье сознание, чувство, вкус еще только формируются, начинает постепенно подобные подделки, личины стихов принимать за поэзию. Создается искаженное представление об истинных и мнимых ценностях. «Неделька» — раздел для ребят еженедельника «Неделя» (№ 35 за 1973 год) — предлагает малышам стихи «Жилетная история» Эммы Мошковской. О поэзии говорить не приходится — в последнее время она слишком редкая гостья в «стихах» для детей. Посмотрим хоть, о чем узнают дети. Стихи повествуют, как клоун раздевался перед врачом. И вот тут-то ребенка и подстерегает «радость познания», разнообразнейшего ассортимента... жилетов: «из кожи», «из мадаполама», «и крикнул доктор: — Мама! — И снял жилет из драпа. Воскликнул доктор: — Папа! — И был жилетик гарусный...» и т. д. Хватит, кажется, этого ковыряния в чужом белье («рваном», «дырявом», «из Парижа», «и цвета волны»...). Зачем устроен этот «богато рифмованный» («сукна — и на!») стриптиз? Какова тут, как говорится, мораль? В том-то и дело — никакой: клоун решил подурачить врача, а автор — детей.

В стихотворении «Квочкины «строчки» («Неделя», 1973, № 45, под рубрикой: «Неделя — малышам») Б. Заходер рассказывает о том, как куры «на желтом песочке» пишут «лапками грамотки». Б. Заходеру, в общем-то, нет дела до детей, он пытается извлечь из этих «куриных грамоток» хоть какой-то смысл для себя и — эврика: «А может быть, просто соседу-поэту хохлатки хотят намекнуть по секрету: «Пиши, хоть царапай, как курица лапой, но все же царапай, царапай, царапай!..»

«Царапай» — все равно, мол, напечатают, да еще и миллионным тиражом! В журнале «Детская литература» (август 1973 г.) рецензировалась книжка стихов Владимира Федорова «Федькино зеркало» (М., «Малыш», 1973). Автор рецензии В. Короленков

цитирует «стихи», давшие название книжке: «Трали-вали! Трали-вали! Любит маленькая Ляля напевать у зеркала! Подвязаться шарфом папы, мамины примерить шляпы — все перековеркала!»

Трудно из этих «трали-вали», из этих лишенных проблесков поэзии фраз понять, что «перековеркала» Ляля. И почему вообще «перековеркала»? Почему в другом стихотворении: «Пылесосят, пылесосят сестры *неспроста*. В две руки, не в две — в четыре. И стоит во всей квартире чудо-чистота».

Но по уверениям автора рецензии именно подобные «стихи» и учат «маленького человека любить природу, видеть ее красоту, неповторимость...», что они «приносят радость маленькому читателю, с их помощью он узнает, как интересен и многогранен мир, их окружающий...».

Нет, каждый автор, прежде чем решиться издать что-либо для детей, должен бы задуматься не о том, как уместить поменьше слов в строке, чтобы самих строк вышло побольше, а о ребенке, доверчиво ожидающем волшебного слова поэзии, слова, в которое он верит. М. М. Пришвин писал: «Испытанием таланта писателя для взрослых может служить маленькая вещица, годная в детскую хрестоматию...» Годная, а не случайно попавшая!

Примитивность художественного мышления, непосредственно отраженная в слове детской книги, нередко сходит за простоту речи. Нередко, ой как нередко это, по меткому определению народному, та простота, что хуже воровства. Ибо дети лишаются едва ли не главного — живого родного языка, с которым у ребенка складывается способ познания мира и отношение к миру. Что же тогда говорить о «стихах», написанных на уровне той же «простоты», но далеко не столь добродушных?..

Вот целая подборка «для наших маленьких друзей». «Лягушка у цапли спросила несмело: «Послушай, а если бы я тебя съела?» Но цапля лягушку легко проглотила: наверно, фантазии ей не хватило...» — Зато, как увидите, у автора этих «стихов» — Алексея Кондратьева — фантазия богатейшая: «Крабу невежливым кажется тот, кто подойти не отважится. Краб с удовольствием руку пожмет. И от ноги не откажется...» Дальше — лучше: «Под куполом цирка гимнастки летали! За ними внимательно львы наблюдали. Рычали они для острастки: «Не вздумайте падать, гимнастки!»

Вот вам... Ешьте, милые детки, стихотворные бутерброды, питайтесь бездуховной стряпней, которую приготовили — специально для вас! — взрослые дяди...

Может быть, это случай, как говорится, нетипичный? Ничего подобного. Вот перед нами другая подборка под той же рубрикой. Автор — Леонид Аронзон. Стихи называются «Игра»: «Вместо

утренней зарядки мы играли с мышкой в прятки. Я водил — считал до ста, потом искал во всех местах. В дырках, норках, в каждой щели, в сумке, в тумбочке, в постели, я смотрел во все глаза: нету мышки! Чудеса!.. До сих пор бы я искал, если б брат не подсказал: — Ты пока считал до ста, мышка спряталась — в кота!..»

«Черный юмор» для детей?! А чего, мол, их жалеть! Воспитывать надо! Так сказать, в духе... В каком же, с позволения спросить? В духе всеобщего поедания?

Вот другой стишок Аронзона «Стану выше всех» («Литературная Россия», 1971, № 10):

Завтра встану рано,
Встречу великана,
И как только встречу —
Прыг ему на плечи!
Вот когда я стану
Выше великана!

Что это — безделка, глупая фантазия? Если бы это изрек сам ребенок, ему, пожалуй, можно (да и нужно) объяснить ложность такого желания. Ибо, чтобы стать «выше всех», нужно самому расти духовно, самому стать великаном. Потому что быть «выше всех», смотреть на других «свысока», имея пигмейское сердце, не велика доблесть. И еще ему нужно было бы рассказать, что желание стать выше других за чужой счет недостойно человека. Расти, малыш, большой — сам будешь великаном.

И, думаю, ребенок понял бы... если только не успели исковеркать его сознание разнообразные бездуховные «безделки», не столь уж безобидные, какими могут показаться на первый взгляд.

В докладе на Всероссийском совещании по детской литературе председатель Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Н. В. Свиридов говорил: «В «Судьбе человека» М. А. Шолохова есть очень верные слова: «Не ранить сердце ребенка». Каждый пишущий для детей должен всей душой чувствовать эту благородную шолоховскую тревогу за судьбу детей».

Благородную тревогу... Всегда ли ощущается она даже и у признанных писателей? Далеко не всегда. Читаешь порою книгу писателя, которого уважаешь, которому доверяешь и вдруг...

«Очень забавляли меня такие, например, детские речения и возгласы, подслушанные в разное время». (Читатели узнали, конечно, — речь идет о книге К. Чуковского «От двух до пяти», выдержавшей более двадцати переизданий, ставшей едва ли не

настольной книгой многих родителей.) И вот среди «забавных» «толстопузых маминых ног» и «нахмурившихся папиных брюк», читаем: «— Бабушка, ты умрешь? — Умру. — Тебя в яму закопают? — Закопают. — Глубоко? — Глубоко. — Вот когда я буду твою швейную машинку вертеть!» Наивно? Конечно, — ребенок! Мило? Н-не очень чтобы... Но почему это «забавляет» взрослого человека?

«Жорж разрезал лопаткой дождевого червя пополам. — Зачем ты это сделал? — Червячку было скучно. Теперь их два. Им стало веселее...» Забавно? Подумаешь, какой пустячок — червячок! Стоит ли вообще говорить об этом всерьез? Червяк-то он червяк и есть... Но бабушка-то не червяк? Стоило бы задуматься над причиной подобной детской бесчувственности и даже холодной расчетливости, «забавных» в ребенке сейчас, пока он ребенок, но далеко не безобидных в своих потенциальных возможностях.

В главе «Новая эпоха и дети» автор этой же книги убеждает нас уже не в забавности, а в «пользе» и «необходимости» для ребенка осваивать современный мир техники. С этим нельзя не согласиться. Но как осваивать?

«Трехлетний мальчик, гуляя по городу, увидел остановившуюся на улице лошадь. — Верно, току у ней нет! — сказал он и обнаружил одной этой короткой фразой, что уже появилось такое поколение детей, для которого электропоезда, троллейбусы, трамваи привычнее (а значит, и понятнее) лошади».

Тревожит это автора книги? Нисколько. Процесс вполне объективный, иначе и быть не может. Да и не должно.

«— Давай посмотрим коров, — стадо идет.

— А что в них интересного? Если бы в них мотор был!»

«Городская девочка впервые в деревне. Увидела теленка: — А он заводной?»

Четырехлетний мальчик «нарисовал человека, а сбоку отдельно — нос, уши, глаза, пальцы и сказал деловито: — Запчасти».

Забавно? Ребенок начинает ценить вещи более чем живое. Само живое перестает быть для него живым, воспринимается детским сознанием как механическое, заводное, «с моторчиком», которое можно разобрать на «запчасти».

Чем же «забавляется» писатель? Троллейбус — понятнее лошади, «запчасти» к человеку «понятнее и привычнее», чем сам человек, покрутить вволю швейную машинку — господи, да тут и родную бабку в гроб вогнать не грех. Машина дороже («понятнее и привычнее») бабушки... Она ведь не заводная, без моторчика...

О том, что «удивление покидает мир», задумывался М. М. Пришвин. Задумывался с тревогой — не «забавляло» его то, что «да-

же воздухоплавание, даже радио и телевидение больше не удивительны... Сказка питается детством, и детство здоровьем, и здоровье дается землею и солнцем. Человеку надо вернуть себе детство, и тогда ему вернется удивление, и с удивлением вернется и сказка». Потому что «внутри сказки... таится правда, но если сказку сломаешь, как игрушку дети ломают, то правды не найдешь».

Между ломкой сказки, между подменой истинной поэзии зарифмованными суррогатами, живого трепетного слова — его мертвой личиной в современной детской литературе и тем, что «удивление покидает мир», — прямая, непосредственная связь. Нет, я не хочу сказать, что именно отдельные наши «сказочники» и «стихотворцы» — прямые виновники самой «болезни». Их вина в другом. Истинный писатель — всегда учитель, наставник. Да еще и духовный врачеватель (помните фетовское «родные врачевать сердца»?). Так вот, некоторые наши «духовные врачи» перед лицом явной болезни говорят: «Это и хорошо, болей! Мы тебе расскажем всю правду о твоей болезни, ничего не скроем». Да еще и гордятся этой своей «правдой», этой своей «искренней» заинтересованностью «открыть ребенку глаза на жизнь». Пусть, дескать, все знает. Нечего с ним сюсюкать.

Не сюсюкать нужно, а лечить больного, если признаки болезни налицо. Но то ли секреты поэтического, врачующего слова русской классики утрачены некоторыми авторами, то ли сил нет усвоить их — вот и выдается за «правду» явно беспомощная и тем не менее вредная ложь.

Но посмотрим, что еще «позабавило» автора «От двух до пяти»?

«Старуха рассказала четырехлетнему внуку о страданиях Иисуса Христа: прибили боженьку гвоздями к кресту, а боженька, несмотря на гвозди, воскрес и вознесся. — Надо было винтиками! — посочувствовал внук».

Ну и действительно, как не позабавиться над незадачливой старухой! Тут и порадоваться можно: вот, дескать, какие дети пошли, сознательные, образованные, их, даже и четырехлетних, сказочками о боженьке не проймешь. Не поверят.

Только при чем тут религия? Вдумаемся в ситуацию: ребенок, естественно, не понимает, кто такой «боженька», не в состоянии представить именно религиозную подоплеку рассказа бабушки. Как осознается ребенком этот рассказ? Один из самых близких ему людей, бабушка, рассказывает о каком-то человеке. Человек этот, по-видимому, неплохой — ведь бабушка рассказывает о нем с чувством благоговения, которое четырехлетний малыш прекрасно улавливает. Человек этот страдает. (Мальчик в этом

возрасте достаточно «опытен», чтобы представить себе, как это больно, как мучительно, если тебя приколотят гвоздями.)

И мальчик «посочувствовал»... Не тому, которого мучают, а тем, которые мучают.

Бездушность, сухая жестокость, бесчувственность к страданию другого (себя-то, будьте спокойны, и эти «забавные» детишки не станут разбирать на «запчасти» — больно. Значит, так же больно и другому. Но ведь это другой! Не я!) — простите, но это уже мироотношение. Тут бы ужаснуться, задуматься, как исправить, как образовать это маленькое, невинное пока в своей бездуховности, жестокости сердце ребенка. А писателю «забавно»! Может быть, он просто забыл взять в кавычки слово «посочувствовал», что могло бы хоть как-то намекнуть на отношение писателя к рассказу? Нет. Заключает раздел о милых детских речениях, столь позабавивших писателя, следующий вывод:

«Повторяю: вначале эти речения детей казались мне просто забавными, но мало-помалу для меня благодаря им уяснились многие высокие качества детского разума». Вот так — не больше и не меньше...

Образцы подобной, пусть редкой, но «высокой» безответственности писательского слова открывают возможности для проникновения в детскую литературу целого потока не столь «высокой», но зато массовой безответственной продукции.

В июньском номере «Детской литературы» за 1973 год опубликован обзор журнала «Букбёрд» — органа Международного совета по детской и юношеской литературе. Авторы обзора И. Медведева и Э. Фурманова отмечают одну из статей этого журнала: М. К. Икин (США) «Научно-технический прогресс и общественные науки».

Медведева и Фурманова говорят с удовлетворением, что эта статья «определенно и аргументированно... утверждает необходимость освещать в детских книгах самые различные стороны современной социальной жизни... Автор призывает детских писателей... раскрыть перед детьми мир во всей его сложности и противоречивости. В подкрепление своих позиций она приводит стихотворение Е. Евтушенко: «Не надо говорить неправду детям, не надо их в неправде убеждать. Не надо уверять их, что на свете лишь тишь да гладь, да божья благодать...»

Утверждая необходимость раскрывать перед детьми не только радужные, но и мрачные стороны жизни, автор подчеркивает, что книги не должны вызывать в детях чувство безнадежности...»

Не надо говорить неправду детям... Но что разуметь под «правдой»? Правду неприглядных сторон жизни, правду, разрушающую мир доверчивой, восприимчивой души ребенка, его сознания,

еще не способного правильно сопоставить, критически оценить истинное и ложное, большую правду бытия и маленькие правды быта? Или, может быть, сначала необходимо воспитать в ребенке чувство прочных истинных ценностей, раскрыть прежде всего целомудренное отношение к жизни, то есть мудрость целого?

Нет, не учить их смотреть на жизнь сквозь розовые очки. Но помочь им сквозь звериную шкуру «мрачных сторон жизни» прозревать красоту целого, красоту истины, добра, сочувствия горю и страданию другого человека. Вспомните «Аленький цветочек» Аксакова, и вы поймете, в чем смысл правды, которую необходимо открывать ребенку.

Сердце, воспитанное целомудренным, не поддастся чувству безнадежности при встрече с жизненными реалиями, не заблудится в сложности противоречий, не обманется «тишью да гладью».

Но для разрушенного в раннем детстве сознания, для «заводного» сердца весь мир останется разъятым на «запчасти», и «швейная машинка» всегда будет «понятнее и привычнее» живой жизни.

«Мир всегда одинаков и стоит, отвернувшись от нас, — размышлял Пришвин. — Наше счастье — заглянуть миру в лицо. В детстве, до моей памяти об этом, я постоянно жил в удивлении и созерцании вещей мира, какими они в действительности существуют, а не как меня потом сбили с этого и представили не так, как оно есть.

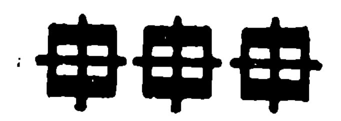
Последняя правда, что мир существует таким прекрасным, каким видели его детьми и влюбленными. Все остальное делают болезни и бедность».

В том числе, и прежде всего, — болезни разрушенной цельности сознания, духовная бедность сердца.

Задача детского писателя — воспитать сознание и душу ребенка так, чтобы его детская способность видеть лицо мира стала основой его мироотношения на всю жизнь. Так, чтобы целомудренность этого отношения не дала трагичным элементам жизни превратиться в ощущение безнадежности существования.

А. П. Чехов мечтал о том, как было бы прекрасно, если бы каждый человек посадил за свою жизнь хотя бы одно дерево — вся земля превратилась бы в цветущий сад.

И если каждый из истинных писателей, поэтов, понимая свою высокую ответственность, оставит детям свой «Аленький цветочек», свою «Дюймовочку», своего «Конька-Горбунка» — не покинет мир удивление, не порастет быльем тропа, ведущая ребенка к большой дороге познания добра и красоты.





НАШЕ ОБОЗРЕНИЕ

ШПИОНАЖ МЕНЯЕТ ЛИЦО

Чем занимается агент иностранной разведки? Вроде бы никому этого не надо объяснять: авторы детективов давно позаботились нарисовать своим читателям и зрителям лицо шпиона. Но вот перед нами книга * несколько иного плана — серьезная, если так можно выразиться, «обзорная лекция» о разведке. Она позволяет совершенно наглядно представить, как именно в настоящих условиях осуществляется агентурная работа. Во всяком случае, в этой книге — «Тайном фронте» С. К. Цвигуна — о шпионах говорится с подлинной бдительностью.

Программа мира, принятая XXIV съездом Коммунистической партии Советского Союза, во многом оздоровила атмосферу как на континенте, так и в наших отношениях с Соединенными Штатами Америки. Советский Союз последовательно и неуклонно делает все, чтобы содействовать разрядке напряженности и обеспечить действительно прочный мир на земле для многих поколений. «Мир в наших глазах — это высшее благо, к которому должны стремиться люди, если хотят сделать свою жизнь достойной, — говорил Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, выступая по американскому телевидению. — Мы верим в разум и считаем, что эту веру разделяют также народы Соединенных Штатов Америки и других государств. Если бы эта вера была потеряна, если бы ее заменило слепое упование на одну лишь силу, на мощь ядерного или какого-либо другого оружия, — тогда человеческую цивилизацию да и само человечество ожидала бы жалкая участь».

Однако пока сосуществуют две социальные системы, нужно сохранять бдительность. Ведь в условиях незатухающей идеологической войны, которую ведет против нашей страны, против мира социализма империалистическая пропаганда, она использует самые изощренные приемы и мощные технические средства.

* С. К. Цвигун. Тайный фронт. М., Изд-во политической литературы, 1973.

С. К. Цвигун пишет о коренном изменении поля деятельности вражеской разведки. Как известно, стандартная деятельность агентуры всегда состояла из сбора информации и диверсии. Формально и сейчас сохранились эти два вида разведки. Но содержание и характер видоизменились резко, почти до неузнаваемости.

В самом деле, возьмем сбор информации. Разведчик всегда собирал сведения политического, военного и экономического характера. Но существование двух социальных систем поставило перед иностранной агентурой сложную задачу. Не сразу, скрепя сердце, но нашим недругам все-таки пришлось признать, что многочисленные провалы в деятельности агентуры, заброшенной в СССР и социалистические страны, объяснялись прежде всего тем, что не принималась во внимание новая психология человека социалистического общества.

Вот и пришлось капиталистической разведке перестраиваться. Пришлось задуматься над тем, что социалистическая система развивается по своим жизненным законам. Разведка США, таким образом, оказалась едва ли не первым учреждением, которое не только признало социализм, но и стало серьезно считаться с ним. В таком духе «шутили» лидеры ЦРУ. Однако за этой «шуткой» стояла объективная реальность. Не только для того, чтобы научить агента работать в социалистической стране, но в еще большей степени для того, чтобы иметь возможность правильно обработать, дешифровать его информацию, капиталистической разведке пришлось изучать тенденции социализма. Так возникла смычка разведки и научно-исследовательских институтов.

С. К. Цвигун в разделе «Разведывательное сообщество» приводит некоторую информацию о структуре ЦРУ (о четырех управлениях Центрального разведывательного управления США), структуре РУМО (Разведывательного управления министерства обороны США) и тому подобных учреждений, дополняя ее сведениями о ЮСИА (информационном агентстве США, занимающемся пропагандой за границу). Но совершенно справедливо в этот же раздел книги «Тайный фронт» включены также Гуверовский институт войны, революции и мира при Стэнфордском университете, Русский исследовательский центр при Гарвардском университете, Исследовательский центр по проблемам коммунизма при Колумбийском университете в Нью-Йорке, Центр стратегических исследований Джорджтаунского университета, Центр русских и восточноевропейских исследований при Мичиганском университете, Институт по дальневосточным и русским делам и т. п. По свидетельству самой же американской прессы, все эти перечисленные научно-исследовательские институты и центры при университетах возникли большей частью в 50—60-х годах (пожалуй, кроме Гуверовского института, основанного в 1919 году), когда в них возникла сугубая заинтересованность ЦРУ и других разведывательных органов США. Именно разведывательные органы и финансируют все эти центры, хотя делается это «под крышей» частных фон-

дов (фонд Броуна, фонд Хобби, фонд Рубикова и др.).

Суть нового типа сбора информации, осуществляемого современным шпионом, заключается в том, что она поступает на обработку в НИИ. Здесь используется не только огромный штат ученых, но и вся современная техника, разумеется, включая ЭВМ. Машины способны из мельчайших сведений, собранных поодиночке, вылепить целое. Машины проводят фильтрацию. Машины готовят технические досье, но одинаково проводят они и обработку социологической информации.

Разведка противника сейчас уже даже и не скрывает, что она занимается не только сбором сведений, но и изучением внутреннего развития социалистических стран и социальных процессов, происходящих в различных слоях общества, изучением тенденций, характеризующих деятельность коммунистических и рабочих партий.

Конечно, современный разведчик не пройдет мимо секретных сведений об оборонных заводах. В книге С. К. Цвигуна «Тайный фронт» приведены многочисленные факты провала империалистической агентуры при попытках получить такие сведения. Но современный разведчик впитывает как губка всякую информацию, даже не сугубо секретную. Его не менее интересуют сведения по идеологии, чем сугубо секретные военные данные. Сбор информации стал всеобъемлющим.

В докладе специальной группы по науке и технике при президенте США, изданном в апреле 1970 года, прямо говорится, что важным аспектом научной политики США «является упор на агентурные сведения и прочную разведывательную информацию». Аналогичны и заявления других спецгрупп.

Доктрина разведки США является глобальной. Согласно установкам правящих кругов объектом ее подрывной деятельности служат все сферы классовой борьбы, все области общественной и государственной жизни социалистических, развивающихся и капиталистических стран, территория всего мира. И глобальная разведка осуществляется США не для того, чтобы просто знать, просто быть информированными, а для того, чтобы действовать на основе знания. В официальном документе конгресса США, изданном в феврале 1971 года, указывается, что правящие круги США считают недопустимым для своей внешнеполитической деятельности фактор внезапных и непредвиденных международных событий. Это, как справедливо замечает С. К. Цвигун, открытый намек американской разведке, на которую возложено своевременное выявление назревающих в различных районах кризисных ситуаций, а также создание в них выгодных условий для последующих действий американского империализма. Разведывательная информация реализуется в США, разумеется, не только при разработке внешнеполитической и военной стратегии, планировании и осуществлении политических, экономических, военных, идеологических и разведывательно-подрывных акций в отношении других стран (как, скажем, все мы знаем, это недавно произошло в Чили!), но и в

решении внутриполитических, социальных, экономических, военных и иных внутренних проблем.

Изменилось сейчас содержание и диверсионной работы. Диверсия старого типа, реализовывавшаяся во вредительстве и взрывах, теперь все более уступает место глобальной экономической и политической диверсии. Разумеется, вражеский агент не пройдет мимо возможности взорвать, навредить и т. д. Но в новых условиях активно используются и новые методы. Отсюда установка на экономическую «тихую» диверсию. Отсюда особая роль сугубо пропагандистских акций, рассчитанных на «организацию» общественного мнения.

Касаясь этой проблемы, С. К. Цвигун, думается, своевременно заостряет внимание на том, что «в нашей печати порой отождествляют идеологическую диверсию с подрывной империалистической пропагандой». Автор «Тайного фронта» полагает, что нельзя, например, считать обычными акциями идеологической диверсии попытки разведок и других специальных служб империалистических государств создать с помощью враждебной пропаганды подпольные группы и организации на территории социалистических стран и сочетать их действия с некоторыми другими подрывными акциями.

Речь в данном случае идет вовсе не только о терминологии, как может показаться на первый взгляд. Здесь за терминологией стоит вопрос о сфере ответственности и мере пресечения, о том, что идеологическая диверсия должна быть во внимании не только пропагандистских органов, но и органов безопасности. В подтверждение своей точки зрения С. К. Цвигун справедливо приводит заявление американского проповедника идеологической диверсии Г. Шпеера, который не скрывает, что главный смысл его работы в том, чтобы добиться «политически уместного оппозиционного действия», а конкретнее — «замедления работы, совершения диверсий, распространения слухов, организации тех, кто недоволен или занимается нелегальной деятельностью».

Надо трезво смотреть на изменившееся лицо диверсанта и отдавать себе отчет, пишет С. К. Цвигун, что «подрывная пропаганда, по расчетам идеологических диверсантов, и должна приводить к созданию таких политических и психологических ситуаций, которые могут вызвать желательное для империалистов поведение населения, его отдельных групп». Недавняя история с предателем Солженицыным показывает, что активно принятые меры пресечения при возникновении относительно закамуфлированной подрывной пропаганды равно необходимы, как и при старых, примитивных способах, выражающихся в разбрасываемых кем-то листовках. Необходимо твердо помнить, что диверсант нового типа мечтает не столько о каком-нибудь отравлении питьевой воды (что, разумеется, тоже не исключается), сколько об отравлении умов, что империализмом главная ставка делается ныне на тихую эрозию социализма.

В книге «Тайный фронт» автор приводит множество конкретных случаев того, как действует в тех или иных

ситуациях вражеский разведчик. Талант романиста (С. К. Цвигуна читатели хорошо знают по роману «Мы вернемся», в котором рассказывалось о действии советской разведки в тылу немецко-фашистских войск) помогает автору «Тайного фронта» нарисовать картину войны вражеских разведок против СССР и социалистических стран.

Не так давно, например, был арестован старший инженер одного из министерств Юров. Позарившись на вознаграждения, которые он получал в форме ценных подарков, Юров передавал иностранцам секретную информацию. Как установило следствие, ущерб нашему государству нанесен в размере нескольких десятков миллионов рублей. К уголовной ответственности привлечены Тилинский, Аносов, Судобин, Крейсик — бывшие работники различных учреждений; они также передавали разведчикам за вознаграждение секретные сведения научно-технического и экономического характера. Это примеры того, как, находя перерожденцев, буржуазные агенты осуществляли через них сбор информации.

Валютчики Даварашвили и Чачанашвили установили преступные связи с 22 крупными контрабандистами из капиталистических стран, скупили у них 40 000 золотых монет общим весом 325 килограммов, уплатив свыше 2,5 миллиона рублей. При аресте у преступников изъяли 500 тысяч рублей и 45 килограммов золота.

Только в 1969—1970 годах компетентными органами было пресечено более 10 000 случаев контрабанды со стороны иностранцев. Конфискован 1 миллион рублей наличными, 2 миллиона в иностранной валюте, 90 килограммов золота и другие ценности. Специальные службы капиталистических стран поощряют контрабандную деятельность, имея в виду, что это наносит серьезный ущерб экономике СССР, его денежной и кредитной системе.

О размахе идеологической диверсии против нашей страны автору этих строк уже приходилось писать в статье «Силуэт идеологического противника» («Молодая гвардия», 1970, № 3). В книге «Тайный фронт» приводятся некоторые новые данные.

«В последнее время, — пишет С. К. Цвигун, — среди большого количества идеологических подрывных акций против СССР и всего социалистического содружества постепенно раскрывается как организованная и постоянно координируемая операция диверсия сионистов.

Анализ фактов показывает, что эта операция носит многоцелевой характер. Во-первых, идеологические диверсанты от сионизма и действующие за их спиной империалистические круги пытаются таким путем отвлечь общественное мнение от агрессивных маневров международных сионистских кругов и Израиля на Ближнем Востоке. Во-вторых, они надеются ослабить революционизирующее влияние на трудящихся всего мира XXIV съезда КПСС и продемонстрированного съездом могущества СССР и миролюбивой политики Советского государства. В-третьих, империалисты рассчитывают привлечь внимание антисоциалистических сил к национализму, демон-

стрируя с помощью сионистов его возможности в решении различных подрывных и политических задач». Сионисты пытаются вбить клин между людьми различных национальностей, изображают дело так, будто бы так называемое «избранничество» пытаются приписывать себе по национальному признаку самые разные народы. Деятельность сионистов многолика. В одной из сионистских брошюр, заброшенных в СССР, прямо разъясняется: «Основной принцип постоянной работы сиониста очень прост: сионист должен быть сионистом на каждом шагу своей жизни. При всяком крупном или мельчайшем событии в своей жизни он должен вглядеться и задуматься над тем, нельзя ли как-нибудь использовать это событие для блага нашего дела. Ни одна встреча, ни одна прогулка не должны пропадать даром».

Как сообщает автор, «выявились и участники операции. Это разведка США, Англии, Израиля, некоторых других империалистических стран и многочисленные организации международного сионизма».

От идеологической диверсии, осуществляемой постоянно, сионисты порой нагло переходят даже к вооруженным акциям. На антисоветской националистической почве возникла и развивалась вплоть до совершения тяжкого уголовного преступления, например, деятельность группы сионистов, именовавшей себя «комитетом», чье судебное дело рассматривалось в открытом судебном процессе в Ленинграде в мае 1971 года. Преступники (С. Е. Кузнецов, М. Дымшиц и др.) до мельчайших деталей разработали сценарий захвата самолета, но были арестованы с поличным в аэропорту «Смольное».

Проискам вражеской агентуры противостоит бдительность всех советских людей. В книге «Тайный фронт» С. К. Цвигун убедительно показывает, что именно высокое патриотическое сознание каждого советского человека — главная преграда для подрывных акций.

Доктрина глобальной разведки, осуществляемая сейчас в США и ряде других империалистических стран, как известно, предусматривает небывалое в прошлом расширение функций разведки. При этом ее возросшая роль не только не маскируется, а всячески пропагандируется литературой и искусством в странах империализма. С экранов не сходят кинобоевики, показывающие «достижения» шпионов и идеологических диверсантов.

Книга С. К. Цвигуна «Тайный фронт» — это талантливо и увлекательно написанная лекция о бдительности. Лекция, особенно полезная для молодого читателя.

А. БАЙГУШЕВ

СИОНИЗМ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

В последние годы об истории, теории и практике сионизма все чаще появляются серьезные работы у нас и за рубежом. Достаточно назвать основательные книги Ю. Ива-

нова, Е. Евсеева, В. Большакова, польского автора Т. Валихновского и ряд других. Тем не менее в выходящей до сих пор антисионистской литературе преобладает больше публицистический материал, чем философско-теоретический. К тому же на каждое антисионистское выступление пока следует целый поток откровенно сионистских, просионистских и мнимоантисионистских публикаций. Уже поэтому должно приветствовать выход новой книги *, посвященной анализу теории и практики сионизма.

Как заметил редактор изданной в США антологии теоретиков сионизма Михаэль Зельцер, «сионизм — это сложное явление, как следует понимаемое лишь небольшой частью его критиков и еще менее значительной частью сторонников» («Против сионизма и израильской агрессии». М., 1974). Конечно, сочинения сионистов представляют подчас мешанину взаимоисключающих положений. В одних случаях это делается сознательно, в других — является результатом антинаучного в своих основах подхода. «Для «своих», — пишут авторы книги, — цели и средства их достижения проповедуются открыто. При обработке мирового общественного мнения склоняются на все лады высокие слова: гуманизм, прогресс, социальная справедливость, проповедуются моральные преимущества «иудейского образа жизни» для народов всего мира». Несомненно, что сионисты вынуждены скрывать свои взгляды и от тех, на кого рассчитана их пропаганда: многие лица еврейского происхождения давно отошли от наставлений талмуда, и раскрыть перед ними действительные цели сионизма — значит лишь укрепить их антисионистские и антииудаистские настроения. К тому же сионисты заинтересованы в существовании «естественной» оппозиции, когда лица и группы, вполне искренне убежденные в антисионистской платформе своей деятельности, лишь исполняют отведенную им сионистами роль.

Сионисты с большим искусством «подбрасывают» идеи для полемики даже против них самих, охотно демонстрируют и силу, и слабость (статьи о «банкротстве» сионизма, с одной стороны, и навязывание мысли о бесплодности и бесперспективности борьбы с сионизмом — с другой). «Вследствие различных перемен в действительности, — говорит один из руководителей Компартии Израиля, Вольф Эрлих, — сионистская пропаганда готова скрыть то или иное положение, заменить его другим положением, противоположным или непохожим, на срок длительный или короткий и даже отрицать эти положения, не усматривая в этом ничего существенного» («Против сионизма...», стр. 59). Имеются, однако, положения, которые сионисты готовы защищать всеми дозволенными и недозволенными средствами. Именно эти положения, составляющие сущность сионизма, и находятся в центре рассматриваемой книги.

При всей внешней сложности суть сионизма до крайности проста. Краеугольный

* Сионизм: теория и практика. М., Изд-во политической литературы, 1973. Ред.: В. В. Богословский, Г. Е. Глезерман, И. И. Минц, М. Б. Митин, Г. С. Никитина.

камень иудаизма — положение о «договоре евреев с богом». Отказ от этого положения означает фактический разрыв с иудаизмом, принятие его неизбежно ведет к разрыву с остальным человечеством. Это всегда понимали «свободомыслящие в еврействе» (Ф. Меринг). Достаточно определенно ситуация обрисована, например, в меморандуме «Антисемитизм и расизм», опубликованном одним из еврейских обществ США. «Антисемитизм, — говорится в меморандуме, — зародился в период, когда вождь евреев Моисей внушил нашему народу, что он избран богом... (бог) заключил с нами союз и обещал за выполнение своих приказаний господство над всем миром... Так был нанесен первый удар по остальному человечеству, а мы, евреи, были за это поставлены вне его законов... Несмотря на значительный прогресс мировой науки и техники, в нашем народе все еще живет идея, что он избран и предназначен господствовать над миром... Мы, дальновидные евреи, понимаем, что планы сионистов не только вредят большинству нашего народа, но и преступны по отношению к другим народам. Эти планы никогда не могут быть осуществлены, потому что они противоестественны, опираются на хитрость, насилие и фальшь. Не исключено, что это стремление к власти может довести до беспрецедентного в истории разгрома евреев. И тогда не будут различать еврея и нееврея, виноватого и невиноватого. Наш народ не избежит несчастья, если будет упорно верить в старые лозунги — об избранном народе, предназначенном править миром, — лозунги, которые и сегодня, и в будущем не могут быть осуществлены» (Т. Валихновский, Сионизм и еврейское государство. Катовице, 1968).

Авторы меморандума не свободны от иудаистско-сионистской терминологии. Они верят в легенду о Моисее, в особый «еврейский народ» (как биологическую категорию), называют «антисемитизмом» антииудаизм и даже идею мирового господства отвергают как неосуществимую и опасную для самого существования еврейства, а не как недопустимую в человеческом общежитии в принципе. Тем не менее они вынесли на обсуждение коренное положение, отношение к которому предопределяет рекомендации решения «еврейского вопроса».

Значительная часть сборника посвящена разбору теоретических положений сионизма. Классовый подход дает возможность авторам избегать «ловушек», поставленных сионистской пропагандой, пытающейся увести разговор в сторону обсуждением второстепенных вопросов или таких положений, от защиты которых сионизм в любое время готов отказаться. Работы основоположников научного коммунизма могут служить надежной методологической базой для научной постановки проблемы. К сожалению, высказывания К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина оказались рассеянными по всей книге, а в специально выделенной главе для некоторых коренных положений марксистско-ленинского решения вопроса не нашлось места.

Следует напомнить, что и К. Маркс и В. И. Ленин посвятили «еврейскому вопросу»

специальные исследования. И конечно, не случайно сионисты настойчиво пытаются либо отвести читателя от этих работ, либо бросить на них тень, либо просто фальсифицировать. В последнем случае, разумеется, пускается в ход псевдомарксистская фразеология, примеры которой, в частности, приводил Ю. С. Иванов. В этих условиях требуется особенно тщательное цитирование названных работ.

По-видимому, в связи с марксистско-ленинской постановкой вопроса следовало бы рассмотреть и основные положения, неизменно являющиеся объектом спекуляций сионистов: понятия «еврей», «антисемитизм» и другие. В книге имеется большой материал для позитивного рассмотрения этих понятий в свете работ К. Маркса и В. И. Ленина. Но поскольку он также распылен, читатель не вынесет вполне ясного представления, что означает то и другое.

В. И. Ленин совершенно недвусмысленно подчеркивал: «Еврейский вопрос **стоит** именно так: ассимиляция или обособленность?» Для В. И. Ленина было бесспорным, что ассимиляция — **«это единственно возможное разрешение еврейского вопроса, и мы должны поддерживать все то, что способствует устранению еврейской обособленности»**. Цитируя эти слова Каутского, когда он был еще марксистом, В. И. Ленин в статье «Положение Бунда в партии» выделяет их курсивом. Именно это четко обозначенное положение составляет существо марксистского подхода к «еврейскому вопросу». Марксисты неизменно считают ассимиляцию прогрессивным явлением, а для решения «еврейского вопроса» она оказывается единственно возможной положительной перспективой. На противоположной платформе, на позиции обособления евреев от основного населения страны стоят сионизм и антисемитизм, первый якобы в интересах евреев, ради осуществления их «конечных целей», вторые — якобы для ограждения интересов основного населения. Не случайно В. И. Ленин отмечал совпадение взглядов сионистов и бундовцев с настроением наиболее реакционных сил в Европе, стоящих за обособленность евреев. Не случайно идеи «еврейской нации» и еврейского государства всегда находили приверженцев среди антисемитов. Средневековые «гетто» обычно имели двойную стену: одна создавалась раввинатом ради ограждения «богоизбранных» от смешения с презренными «гоями» (неевреями), другая воздвигалась «снаружи» из опасения, что заветы израильских пророков начнут всерьез реализовываться. И сионизм, и антисемитизм в равной мере настаивают на «исключительности» евреев, лишь давая противоположную оценку самому факту «исключительности».

Основная борьба между сионистским и марксистским подходом к «еврейскому вопросу» развернулась вокруг тезиса об экстерриториальной «еврейской нации» или «еврейского народа». Только статут «нации» дает сионистам «приличное» знамя для сохранения обособленности в условиях крушения сословно-кастового строя, когда цепляние за общинные организации становилось недвусмысленным реакционным вызовом обществу. Только создание соб-

ственного государства давало какие-то основания для материализации идеи единой «нации».

Набор средств, используемых сионистами для реализации идеи обособления, исключительно широк. Примечательно, что, решая эту задачу, сионисты почти не упоминают своих основных целей, скрывая от объекта агитации, для чего вообще нужно обособление. Почти неизменно на первом плане оказывается «оборонительный вариант» сионизма: мы «гонимый народ», «невинные жертвы», консолидация в единую экстерриториальную нацию необходима для борьбы против «антисемитизма». Любые культурно-религиозные организации могут служить обособлению и являются своеобразными «подготовительными курсами» для сионизма: ведь если ставить вопрос об особой «еврейской культуре» всерьез, неизбежно придется становиться на позиции иудаизма с его идеями «исключительности» и «богоизбранности».

Никакими характерными для «нации» чертами «мировое еврейство», конечно, не обладает, и сионистам приходится придумывать особые «теории нации» или говорить об «исключительности» евреев и в этом отношении. Авторы книги приводят известные слова К. Маркса, бичующего ортодоксального иудаиста, который противопоставляет «действительной национальности свою химерическую национальность, действительному закону — свой иллюзорный закон, считая себя вправе обособляться от человечества, принципиально не принимая никакого участия в историческом движении, уповая на будущее, не имеющее ничего общего с будущим всего человечества, считая себя членом еврейского народа, а еврейский народ — избранным народом» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 1, стр. 383). Необходимо только уточнить, что эта критика адресована не «еврейскому буржуа», а приверженцам иудейского вероучения, поскольку для К. Маркса евреи — это не нация, а религиозная секта (ср. там же, т. 6, стр. 24).

Статья, в которой, по замечанию В. И. Ленина, «Маркс резко и рельефно подчеркивает... основные принципы всего своего мировоззрения», появилась в 1844 году, когда только началось разложение еврейских общин в Европе. Но уже в начале XX века В. И. Ленин отмечал в качестве неопровержимого практического доказательства реакционности совершенно несостоятельной в научном отношении идеи об особом еврейском народе процесс политической эмансипации евреев. Этот процесс сопровождался переходом их от жаргона к языку того народа, среди которого они живут, и вообще несомненным прогрессом их ассимиляции с окружающим населением.

Примечательно, что сионисты, стремясь любыми способами утвердить идею «еврейской нации», фактически вынуждены были признать провал этой своей затеи. Принятый израильским кнессетом в марте 1971 года закон «Кто есть еврей» закрепил многолетнюю практику определения израильского гражданства. Согласно закону «евреем является лицо, родившееся от матери-иудейки и не исповедующее другой веры, кроме иудейской, или лицо, обращенное в иудаизм». Как можно

видеть, в определении конкурентом иудаизма выступает только расизм, и только в этом направлении сионизм «эмансипировался» от ортодоксального иудаизма.

Разумеется, расовые особенности не имеют отношения к признакам нации. К тому же уже В. И. Лениным приводились бесспорные факты, свидетельствующие об отсутствии какой-то особой «еврейской расы». Расовой теории посвящен специальный раздел книги, где приводится большое количество новых данных о чрезвычайно пестром в расовом отношении составе приверженцев иудаизма. Это связано с особенностями распространения иудаизма в разных странах.

Собственно философии сионизма в книге отводится сравнительно мало места. Это объясняется отчасти спецификой изучаемой идеологии. Характеризуя «еврейство» как религию «своекорысти» и «практической потребности», К. Маркс подчеркивал: «**Еврейство** не могло дальше развиваться как **религия**, развиваться теоретически, потому что мировоззрение практической потребности по своей природе ограничено и исчерпывается немногими штрихами.

Религия практической потребности могла по самой своей сущности найти свое завершение не в теории, а лишь в **практике** — именно потому, что ее истиной является практика» (т. 1, стр. 411). Зато в использовании готовых философских схем сионизм проявляет значительную активность. В книге отмечается, что послушные сионистам «теоретики» предоставили на выбор «целый набор философско-социологических интерпретаций: от неокантианства и экзистенциализма до позитивизма и псевдомарксистских положений». Но такая суммарная оценка не удовлетворяет. Естественно, что неокантианство и позитивизм (их, видимо, следует взять за одни скобки) наиболее полно отражают мировоззрение прагматизма, «практической потребности». Экзистенциализм необходим для обоснования иррациональных сторон иудейских «мессианских» учений. Но заслуживает обстоятельного исследования, например, вопрос о том, как сионисты пытаются приспособить марксизм на службу своим интересам, лишая его диалектики или попросту подменяя марксизм позитивизмом.

Нечетко проведен тезис о различиях между двумя главными ответвлениями сионизма, одно из которых представлял Т. Герцель, а другое Ахад-Гаам. У авторов получается, будто на позициях расизма и шовинизма стоял только Ахад-Гаам, а Т. Герцель и М. Нордау просто стремились отвлечь трудящихся от борьбы за социализм. Между тем основное различие их заключалось в другом. Герцель и Нордау придавали большое значение, как средству обособления, «еврейскому государству». Ахад-Гаам же считал, что для того, дабы «Израиль охватил все страны земли», «сверхнароду» незачем собираться в одном месте. Конечные цели иудаизма и сионизма, по Ахад-Гааму, могут быть достигнуты только за счет усиления позиций иудейских общин в диаспоре (рассеянии), а государство должно играть подсобную роль как своеобразный хранитель «духовных ценностей».

Все современные течения сионизма так или иначе связаны с этими двумя идеями, причем между ними подчас идет острая борьба, в которой та и другая сторона может при случае представить свою позицию как «антисионистскую»: одни как противники собирания евреев в Палестине, а другие как противники возможности осуществления идеи мирбдержавия путем укрепления общин диаспоры.

Формулируя тезис о том, что «**общественная** эмансипация еврея есть **эмансипация общества от еврейства**» (Соч., т. 1, стр. 413), К. Маркс, между прочим, имел в виду взаимопроникновение иудейской религии и мировоззрения буржуазного общества. Отсюда вытекала и убежденность, что только социалистическое переустройство общества ликвидирует условия существования религии своекорыстия, эгоизма и практической потребности. Поэтому, может быть, в книге стоило бы иначе подойти к некоторым претенциозным заявлениям сионистских авторов, утверждающих, будто идеями «еврейского народа» проникся современный западный мир. Спорить стоит не против этого тезиса в общей форме, а против его конкретного наполнения. Несомненно, что многие отрицательные стороны капитализма, как это блестяще показано К. Марксом, ранее всего вызрели в лоне иудаизма, и не случайно термин «еврейство» К. Маркс берет как синоним «торгашества» и того, что он именует «антисоциальным элементом». Но происходящее в настоящее время в мире отрицание капитализма является вместе с тем отрицанием и идей иудаизма.

Вряд ли стоит оспаривать и тезис сионистов об «особой несовместимости советского режима с иудаизмом». Вполне уживаясь с практикой буржуазного общества, иудаизм, безусловно, несовместим с социализмом.

Замечание К. Маркса о том, что иудаизм находит свое воплощение не в теории, а в практике, относится к сионизму целиком и полностью. И материалы данной книги свидетельствуют о том, что с сионизмом в настоящее время связана значительная часть наиболее отвратительных преступлений против человечества. Поэтому важна оценка общей концепции преступной политики и практики сионистов. Сионистский принцип «исключительности» евреев и здесь лежит в основе. Преступление вообще — нехорошо. Преступление против еврея — неслыханное злодеяние. Любая преступная акция против «гоев» (в том числе и в особенности против «семитов» — арабов) не только оправдана, но и «священна». «Все другие народы, — отмечается в книге, — могут воевать друг с другом, любая небольшая страна может стать объектом агрессии, но человечество... должно лелеять и оберегать Израиль, гарантировать ему благополучие и процветание, хотя именно его руководители и создают напряжение в мире».

Деятельность сионистских организаций даже там, где они официально разрешены, в своих основных проявлениях остается подпольной. «Разжигание националистических страстей, шантаж, фальсификация материалов, провокации в отношении отдельных граждан, заведомый об-

ман общественного мнения... игра на человеческих слабостях и страстях, ликвидация неудобных лиц» — таков обозначенный в книге (и далеко не полный) арсенал израильско-сионистской разведки, деятельность которой — часть действий разбросанных по всему миру сионистских организаций в целом. Завеса из фальшивых заявлений, широко распространяемая контролируемой сионистами прессой большинства капиталистических стран, прикрывает эту преступную деятельность. «Никогда я не мог себе представить, — удивлялся в свое время руководитель корпуса наблюдателей ООН на Ближнем Востоке Карл фон Хорн,— чтобы правду могли искажать так цинично и с такой ловкостью».

Имеется область, в которой сионисты безусловно превосходят фашистскую разведку: это способность «естественным» способом пробираться на ответственные должности в несионистских организациях. «Государство Израиль, — цинично признавал бывший премьер-министр Израиля М. Шарет, — само по себе не отважится вести идеологическую борьбу в диаспоре... Вот почему широкое, мощное и влиятельное сионистское движение представляется жизненно важным для Израиля».

Для сионистов характерно многообразие способов действий и постоянное перемещение акцентов. В книге отмечается, что в 1961 году международный сионизм рекомендовал своим агентам «тактику умеренного поведения» по отношению к Советскому Союзу. В 1963 году началась «наступательная кампания». В 1964 году сионистские центры рекомендуют «проводить постоянный нажим на власти», привлекая «нееврейские силы». В 1965 году провозглашается тактика «обходного маневра». В 1970 году Г. Меир объявила о тотальном политическом походе против СССР. Изменение тактики может быть связано как с изменением политической ситуации, так и просто для дезориентации своих идейных противников и мировой общественности.

Большие надежды сионизм возлагает на свою агентуру в различных странах. Помимо простого сбора информации, сионистская агентура стремится изменить содержание революционного движения, выхолостить его марксистско-ленинское содержание, подбросить идеи ревизионизма и национализма, столкнуть разные течения и группировки, углубить имеющиеся разногласия, посеять семена недоверия. В отдельных случаях им удается подчинить задачам сионизма тот или иной отряд революционно-освободительного движения. Так в Израильской компартии долгое время подвизались в руководстве сионистские деятели Микунис, Снэ и некоторые их единомышленники. На ряде ответственных должностей (особенно в области пропаганды) оказались сионисты в Чехословакии в 1968 году и т. д.

Коллектив авторов подготовил содержательную и полезную книгу. Вместе с тем отдельные вопросы в ней только намечены, и мы вправе ожидать нового издания книги, исправленного и дополненного.

А. КУЗЬМИН

УРОКИ МОРСКИХ БУДНЕЙ

Слово «дружба» имеет много эпитетов. Есть среди них и постоянные, как голубое — у неба, синее — у моря, белый — у снега. Дружба бывает крепкая, неразлучная, мужская, верная, суровая, трогательная...

Есть дружба морская. Это понятие, кажется, прочно закреплено в сознании даже тех, кто о море и моряках знает лишь понаслышке. Морская дружба как бы рождается условиями жизни на море и становится их неотъемлемой частью. Море любит не только сильных людей. Оно любит людей честных и смелых, добрых и неравнодушных, способных жертвовать собой ради других, всегда готовых прийти на помощь товарищу.

В сборнике «Выше нас — одно море» * все рассказы и повесть посвящены жизни моряков. В книге не однажды упоминается о крещении в соленой купели. Это не обязательный обряд посвящения в матросы. Даже не обязательно признак бывалости настоящих «морских волков». Но крещение в этой самой соленой купели испытывают многие герои Альберта Беляева. Испытывают многие, выдерживают не все.

Есть в конце повести «И снова в море» такие строки: «Вместе с Тимофеем получили назначение на «Россию» еще двенадцать моряков из бывшего экипажа «Тавриды». Тимофей растроганно смотрел на них и радовался тому, что на новом дизель-электроходе около него будут эти ребята. Такие не подведут».

Многое вбирают в себя эти строки. Они подытоживают описанные в повести события, происшедшие на грузовозе «Таврида» в одном из регулярных рейсов. Рейс был обычный, но обстоятельства, в которых оказался экипаж парохода, не назовешь будничными даже для бывалых моряков. Был десятибалльный шторм. Натиска слепых сил не выдержал стальной корпус судна. Но и когда была обнаружена трещина в корпусе, наледью на надстройках оборвало антенну, и судно потеряло связь с берегом, люди, напрягая до предела силы и нервы, все-таки не потеряли духа и способности сопротивляться стихии до конца. Час за часом, день и ночь на протяжении нескольких суток шла эта борьба. Тревога за судьбу судна и его экипажа охватила весь портовый город. Днями люди толпились у кабинета начальника пароходства в ожидании хоть каких-нибудь вестей с «Тавриды», которую могучие волны, разбушевавшиеся в море, несут к берегу, чтобы разбить о скалы.

Исход оказался в общем благополучным. Помощь подоспела, и, казалось, неминуемая гибель судна была предотвращена. Уставшие от пережитого и перенесенного люди возвратились в родной порт. Им лишь надолго пришлось расстаться со своим кораблем — после такого

---

* Альберт Беляев. Выше нас — одно море. Рассказы и повести. М., изд-во «Советская Россия», 1973.

шторма ему необходим капитальный ремонт. Часть экипажа, как мы знаем, получила назначение на дизель-электроход «Россия». Кто-то уйдет в долгожданный отпуск. Кто-то — в мореходное училище передавать свой опыт молодым штурманам морских путей. Удастся ли капитану Шулепову собрать экипаж снова, когда «Таврида» выйдет из капитального ремонта, который будет длиться, может быть, не один месяц? Словом, был дружный экипаж, и, кажется, не стало его. Но так лишь кажется. Коллектив этот не исчез, а как бы рассредоточился. Задумываясь над дальнейшей судьбой каждого из членов экипажа, понимаешь, что в каком бы новом коллективе ни оказался, он будет невольно руководствоваться уроками, полученными на «Тавриде».

Испытаниям предшествуют уроки. Сравнение суровых морских будней с уроками, а штормов — с испытаниями, может быть, и упрощенное. Шторм, в который попал экипаж «Тавриды», сам по себе является целой школой мужества, стойкости, смелости. Каждый урок в этой школе может запомниться на всю жизнь. Недаром в матросском лексиконе подобные уроки и называются крещением в соленой купели.

Уроки... Их много. Они воспитывают те самые морские традиции, пренебрегая которыми можно поплатиться честью, дружбой, а иногда и жизнью. Снова о шторме. На этот раз он застал в море небольшой катер, буксирующий шлюпку с продуктами для зимовщиков (рассказ «Крутая волна»). В единоборство с морем вступают всего пять человек — трое на шлюпке и двое на катере. Но стихия разделила и их. Волной оборвало трос. Неуправляемая шлюпка с грузом и тремя зимовщиками оказалась в открытом море. Механик катера Евгений Цесарский прекрасно понимает, что может случиться с ними. В опасности он сам и его невеста, радистка Таня, помогающая ему на катере. Но в несравнимо большей опасности люди на шлюпке. Вот в этих-то условиях и не выдержали нервы морского рыцаря. Ни уговоры, ни угрозы Тани не убедили Цесарского в том, что нельзя оставлять товарищей в такой беде, что надо немедленно идти им на помощь. И он не повернул бы катер в обратную сторону, в открытое море навстречу шторму, не прибегни Таня к самой крайней в этих условиях мере — она взяла пожарный топор и сказала: «Я разобью катер, если ты сейчас же не повернешь в море. Понял меня?»

Взглянув на Таню, Цесарский понял, что она в эту минуту могла разбить не только катер. И он повернул.

Да, море любит сильных людей. И еще людей, умеющих рисковать не только ради себя. Человеку нельзя быть одному... Истина старая, но не стареющая. В своих рассказах Альберт Беляев и не стремится открыть в морских буднях что-то необычное. Он показывает, как в этих буднях складываются человеческие отношения у людей суровой профессии — покорителей моря, как складываются в жизни те самые морские традиции, о которых мало говорят сами настоящие моряки, но которые

поистине достойны внимания и подражания.

Напротив, морские будни вовсе не романтизируются. В книге герои проявляют себя не только во время штормов, в бушующем море.

Четыре матроса с затонувшего корабля выбрались на безлюдный берег. Зима. Люди оказались без еды и огня. Замерзшие, голодные, бредут они по берегу к ближайшему маяку и по очереди несут больного, потерявшего сознание капитана. Каждый из троих понимает, что капитан безнадежен, что, оставив его, можно двигаться быстрее, что силы у всех на исходе. Но мысль бросить одного умирающего ради спасения троих приходит лишь судовому механику Леону Чикваидзе: «Почему из-за одного обреченного трое должны погибать? Где тут логика?..» Мол, все мы одинаковые перед смертью: и капитаны, и кочегары. Двое других, пожалуй, и не нашли логически стройного ответа на его вопросы. С не меньшей горячностью ему ответил боцман:

«— Врешь, шкура! Я и помирать буду как моряк! Как советский моряк, понял, ты? Я моряк, и Степан моряк, а ты... ты...»

Двое других не досказали на словах, но доказали на деле. Капитан все-таки умер на руках у товарищей. Собрав последние силы, они даже его похоронили. Леон Чикваидзе ушел спасаться один. Но не спасся — в пути он замерз. Видимо, перед смертью ему хотелось что-то сказать матросам, оставшимся с капитаном.

«Давно уже скрылся из глаз высокий холмик, сложенный ими на могиле капитана, давно уже наступило утро, а они все шли и шли, не давая себе отдыха. И вдруг остановились. Прямо перед ними лежал на земле человек, головой в ту сторону, откуда они шли, уткнувшись лицом в снег и зябко поджав под себя руки. Моряки повернули закоченевшее тело.

— Он, — хрипло выдохнул боцман.

Они молча постояли над замерзшим механиком и снова побрели вперед.

Метрах в двухстах нашли полузасыпанную снегом шапку с «крабом». Шкатов поднял ее, отряхнул, потом оглянулся туда, где остался лежать Чикваидзе, и глухо сказал:

— Он возвращался...

— Понял все-таки, — дрогнувшим голосом проговорил боцман».

Рассказ «Море шумит», в котором описываются эти события, читается с захватывающим интересом. Фраза «с захватывающим интересом» стала своеобразным штампом и порою мало внушает доверия, но здесь по-иному и не скажешь.

Трудно сказать, что именно заставило Леона Чикваидзе покинуть товарищей: трусость, эгоизм, горячность ли молодости. А может, жизненные уроки, предшествующие этому испытанию мужеством, были слишком абстрактны (Леону нравилось выглядеть морским волком)? Бесспорно одно: испытания он не выдержал, и поступок его сам по себе является уроком.

И еще один урок. Его еще мальчишкой получил Яков Богданов, герой рассказа, давшего название всему сборнику. На страницах рассказа мы знакомимся со зна-

менитым на весь Север рыбаком, капитаном сейнера, суровым помором, влюбленным в свой поселок «Семь двориков», приютившийся у подножия двух сопок у самого берега студеного моря. А было в жизни Якова Антоновича Богданова и такое. Заманил его в молодости город, и покинул он свои «Семь двориков», ушел на поиски чего-то небывалого. Мытарств особых не испытал, но и небывалого ничего не нашел. Вовремя увидел его в городе старожил поселка, знатный рыбак Филипп Тимофеевич, полюбопытствовал о жизни, а потом посадил на буксир и повез восвояси. В дороге-то все и произошло. Разыгрался шторм, волной опрокинуло буксир, и оказавшийся в закрытом кубрике Яков и Филипп Тимофеевич пошли вместе с посудиной на морское дно. Спастись мог только один из них — хватить последний глоток воздуха, пролезть в иллюминатор и выплыть на поверхность бушующего моря. Сделать это Филипп Тимофеевич приказал Якову. Исход оказался благополучным — всплывшего на поверхность парня подобрали люди из службы погранпоста. «Вот так и получил я свое первое крещение в соленой купели...» — вспоминает Яков Антонович. И потом в его жизни было немало испытаний-уроков — не шуточное дело стать и быть капитаном в северных морях. Это прежде всего огромная личная ответственность за себя и за товарищей. Недаром бывалый капитан Богданов так говорит в рассказе о личной ответственности: мол, личная так личная. У нас на море иной ведь и нет...

Разные они, морские будни... Очень сурова порой их романтика. Сборник «Выше нас — одно море» содержит в себе произведения, объединенные не только тематически. Книга едина отношением автора к флоту, любовью к труженикам моря, пристальностью внимания к их суровой жизни.

Все это и дает основание сказать, что сборник Альберта Беляева является интересной, познавательной и полезной книгой.

В. БАЛАШОВ

ЧЕРТЫ ЗНАКОМОГО ОБЛИКА

Юрий Прокушев уже почти два десятка лет известен как внимательный и тонкий исследователь творчества С. Есенина, открывающий все новые и новые подробности жизни и творчества поэта.

В издательской аннотации к монографии «Сергей Есенин. Поэт. Человек» * сказано, что это книга для учителя. Думается, адресована она

* Ю. Л. Прокушев, Сергей Есенин. Поэт. Человек. М., изд-во «Просвещение», 1973.

гораздо более широкому кругу: всем, кому дорог и интересен поэт.

О Есенине еще при его жизни было написано так много, что, казалось, личность поэта уже навсегда канонизирована. Ю. Прокушев убедительно доказывает: многое в биографии и творчестве поэта воспринято зачастую неверно, а то и просто тенденциозно.

Исследователь проделал огромную работу, чтобы очистить Есенина от хрестоматийного глянца и паутины сплетен. Ю. Прокушев трудился в архивах, искал неопубликованные автографы поэта, беседовал с его родственниками и знакомыми.

Строгая документальность в сочетании с углубленным и проницательным анализом творческого наследия Есенина и составляют сущность работы Ю. Прокушева.

Факты, приводимые Ю. Прокушевым, прежде всего рассеивают впечатление, что Есенин поэт «стихийный», малообразованный, «деревенский», богатый эмоциями, но не культурной мысли. Четырнадцатилетний Есенин обсуждает трактат Л. Толстого «В чем моя вера?», спорит с Горьким, увлекается Пушкиным, Гоголем, Некрасовым... Да и в дальнейшем всю свою жизнь поэт жадно читает книги. Многое почерпнул для своего образования Есенин, посещая народный университет Шанявского, где он слушал лекции по истории и литературе.

Разумеется, на фоне рафинированной книжной поэзии декадентов стихи Есенина, в которых заговорила о себе деревенская Русь, выглядели непривычно. Это в известной мере и положило начало мифу о его необразованности.

Исследователь опровергает и традиционное представление о том, что в ранних стихах поэта основное место занимают мотивы и образы, навеянные церковно-христианским обиходом и образом мышления, вводя новые доказательства и прибегая к стилистическому анализу.

Сталкиваешься порой с точкой зрения, будто Есенин далек от политики, что революция была ему чужда. Разысканные Ю. Прокушевым в архивах охранного отделения документы гласят, что накануне империалистической войны за девятнадцатилетним Есениным, числившимся у шпиков под кличкой «Набор», устанавливается тщательнейшее наблюдение. В филерском дневнике иные дни жизни Есенина расписаны по минутам.

Но не переусердствовали ли агенты охранки, приняв романтически настроенного юношу за опасного врага самодержавия? Нет. В данном случае следует отдать должное профессиональному чутью филеров. Есенин был в числе пятидесяти человек, подписавших письмо в ленинскую «Правду», активно участвовал в рабочих собраниях и митингах. А. Р. Изряднова, вместе с Есениным посещавшая университет Шанявского, вспоминает: «Как в типографии, так и в университете он слыл за передового, распространял нелегальную литературу».

Располагая подобными данными, легко можно впасть в соблазн зачислить Есенина в ряды передовых борцов революции. Однако Ю. Прокушев предостерегает читате-

ля от такой крайности. Он вовремя напоминает, что Есенин, стоящий на общедемократических позициях, еще неясно представляет себе конкретные пути народной революции, что еще многое в его общественной позиции и раннем творчестве было противоречиво, как противоречивы были условия, в которых формировалось мировоззрение поэта.

Пожалуй, самое живучее заблуждение связано с представлением о Есенине как о «беспечном таланте», который не работал над совершенствованием своего дарования. Сам Есенин считал, что без упорного труда быть писателем немыслимо. Он советовал одному из друзей: «...работай, как сукин сын! До последнего издыхания работай!» О самом себе Есенин сказал: «Если я за целый день не напишу четырех строк хороших стихов, я не могу спать». На ряде примеров Ю. Прокушев показывает, что это не было лишь декларацией для публики. Штрих за штрихом рисует он образ поэта-труженика.

Какие бы стороны жизни и поэтической деятельности Есенина ни раскрывал Ю. Прокушев, все его усилия направлены к одной цели — показать, что поэт и гражданин в Есенине нерасторжимы. Нельзя не согласиться с автором книги, что только человек, остро и очень лично воспринимавший народное горе и радость, мог создать стихотворение «Русь», где воочию предстает могучий поэтический талант Есенина, его гражданское кредо:

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи
в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

Подробно рассматривает Ю. Прокушев взаимоотношения Есенина с Блоком. Блок для Есенина — учитель, первым признавший своеобразие и размеры его дарования, первым протянувший ему дружескую руку помощи. И хотя Есенин в своих стихах нередко полемизировал с Блоком, влияние его бесспорно. Глава «Признание», в которой идет речь о первой встрече Есенина с Блоком, одна из наиболее интересных в книге Ю. Прокушева.

1917 год — рубежный год, отделяющий старый мир от нового. Переход в другую историческую эпоху, в другое «измерение» для многих в России был крайне нелегок. Трудовой крестьянский люд шел в революцию на первых порах скорее стихийно, чем сознательно. Богоборчество, бунтарство русской деревни и передает в своей поэзии Есенин.

Говоря о послереволюционном периоде творчества Есенина, Ю. Прокушев прослеживает постепенную эволюцию взглядов поэта. Интересно сопоставление «Небесного барабанщика» с «Двенадцатью» Блока и «Левым маршем» Маяковского. Может быть, следовало бы сделать его более развернутым, не ограничиваясь сравнением ритмики и интонации, но уже сама по себе параллель эта помогает увидеть Есенина в общей шеренге певцов революции.

В своей работе Ю. Прокушев, сроднившись с есенинской поэзией, восстанавливает подлинную творческую

и человеческую сущность Есенина.

При всей любви к поэту исследователь не «выпрямляет» его сложный путь. И мятущаяся мысль Есенина, стремящегося постигнуть смысл еще неясных ему перемен, и есенинское желание «стать с веком наравне», и сожаление о впустую растраченных силах — все это читатель вслед за Ю. Прокушевым воспринимает как «грустную радость» бытия большого поэта-гуманиста.

Не ограничиваясь разговором о Есенине-поэте, Ю. Прокушев рассказывает о деятельности Есенина как драматурга, киносценариста, критика. И к уже знакомому облику художника добавляются новые существенные черты.

Два года назад А. Дымшиц в рецензии на одну из работ Ю. Л. Прокушева справедливо заметил, что «это и книга некоторых итогов, и книга обещаний». Отрадно сознавать, что многие из этих обещаний реализованы.

В. МЕЩЕРЯКОВ

Письмо в редакцию

После опубликования статьи народного артиста СССР Р. В. Захарова о современном балетном искусстве («Молодая гвардия», 1973, № 10) редакция получила много писем. В основном писали люди, так или иначе связанные с балетом, — балетмейстеры, артисты балета, аспиранты искусствоведческих вузов. Одно из писем рекомендуем вниманию читателей.

РАЗГОВОР О БАЛЕТЕ

В прошлом году на страницах «Молодой гвардии» была опубликована интересная статья народного артиста СССР Р. В. Захарова «Разговор о продолжении», в которой автор поставил ряд важных проблем развития советского балетного искусства.

В связи с этим хотелось бы высказать несколько соображений об одной проблеме, имеющей первостепенное значение для нашего балета, — о подготовке молодых балетных кадров.

В годы становления советского искусства после Октября ощущался острый недостаток квалифицированных артистов балета. Они были нужны и для формирования балетных трупп создававшихся тогда новых театров, и для пополнения молодыми силами существовавших ранее коллективов. Поэтому количество учащихся в Московском и Ленинградском хореографических училищах увеличилось и была проведена серьезная реформа всей системы обучения будущих танцовщиков. Основными принципами преподавания стали высокая специализация, серьезное внимание к вопросам идейно-политиче-

ского воспитания, занятия общеобразовательными предметами и гуманитарными науками. Начались поиски единой методики специальных предметов. Кроме классического танца, в программы училищ были включены дисциплины: актерское мастерство, характерный, историко-бытовой и дуэтный танцы. Несколько позднее в Московском и Ленинградском училищах открылись национальные отделения, в которых началось обучение будущих артистов балета для театров союзных и автономных республик. В 30-е годы впервые в истории хореографии в училищах стали готовить педагогов танца и балетмейстеров.

После Великой Отечественной войны балетные школы открылись в столицах союзных республик и ряде областных центров. В результате, если до революции у нас было всего две школы — в Петербурге и в Москве, то сейчас в стране девятнадцать хореографических училищ.

В тот же послевоенный период группа крупнейших мастеров московского балета во главе с Р. В. Захаровым создала в Государственном институте театрального искусства имени А. В. Луначарского специальный факультет, на котором учились будущие молодые балетмейстеры и педагоги. Воспитанники этого факультета работают теперь во многих городах Союза. В шестидесятых годах подготовка молодых балетмейстеров началась и в Ленинградской консерватории.

Мы рады успехам советского балета. Однако это не значит, конечно, что в обучении специалистов балета нет никаких недостатков. Значительное число оканчивающих хореографические училища, к сожалению, не всегда обладают подлинным исполнительским мастерством.

Почему это происходит?

Несомненно, что уже *при приеме в училища* не всегда строго оцениваются физические данные и артистические задатки поступающих. Это положение усугубляется тем, что органы Министерства культуры планируют для каждого училища обязательную цифру выпуска, в силу чего учебные заведения часто не могут своевременно отчислить неуспевающих учеников, недостаточно соответствующих требованиям балетной сцены.

Успех подготовки будущего балетного артиста во многом зависит *от первых лет обучения* в школе. Основы, заложенные теми педагогами, которым доверено приобщение учеников к искусству танца, определяют дальнейшее развитие профессионального мастерства исполнителя. Именно здесь, в младших классах, закладывается тот фундамент знания классического танца, на котором в ходе дальнейшего обучения развиваются виртуозная техника и стилистическая отточенность, присущие исполнительскому мастерству наших ведущих артистов. В частности, начало выдающихся достижений лауреатов премии Ленинского комсомола Е. Максимовой, Н. Бессмертновой и Н. Сорокиной, о творчестве которых писал в своей статье Р. В. Захаров, несомненно было положено в младших классах Московского хореографического училища. Затем развитие их дарований было продолжено крупнейшими мастерами балета — педагогами средних и старших классов, репетиторами и балетмейстерами Большого театра. Если же в младших классах не уделять достаточного внимания строгой академичности исполнения учениками каждого танцевального

элемента, это может привести к небрежной манере и недостаточной чистоте танца отдельных учеников старших классов и даже артистов балета.

Некоторые педагоги начальных классов стремятся заставить детей делать трудные, виртуозные движения. Эти движения выглядят эффектно, и их исполнение приводит в восторг родителей учеников, но для ребенка, еще недостаточно овладевшего элементарными основами классического танца, работа над ними является преждевременной, а иногда и просто вредной.

Если говорить о недостатках обучения будущих танцовщиков *в средних и старших классах* наших училищ, то, вероятно, надо прежде всего сказать о проблемах *актерского мастерства.* Картина здесь крайне пестрая. В некоторых училищах этой стороне воспитания балетного артиста уделяется серьезное внимание, что бывает видно уже на выпускном спектакле. Но, к сожалению, это происходит не везде. Между тем русский балет всегда отличала та особенность, что в нем существовал не танец ради танца, не форма как самоцель, не галерея масок, а «душой исполненный полет». Танец «русской Терпсихоры» определялся прежде всего интересом нашего искусства к человеку, к его мыслям, чувствам и переживаниям. Поэтическая одухотворенность, сила страстей, искренность и жизненная правдивость сценических образов даже сказочных и аллегорических героев отличали и отличают исполнительное мастерство наших лучших артистов.

Вероятно, недостатки обучения актерскому мастерству в известной мере объясняются тем, что в ряде театров увлекаются абстрактным танцем, техникой ради техники, механической кукольностью движений исполнителей. Тем самым эти театры перестают нуждаться в актерском мастерстве молодых артистов, и центр тяжести требований к выпускникам школ все более переносится только на их техническую подготовленность. Бытует даже теория, что в век научно-технической революции зритель якобы «не приспособлен к переживаниям», что стремительные скорости и ритмы нашей действительности не оставляют времени на раздумье и углубление во внутренний мир героев. В этой связи один из известных артистов ленинградского балета, Н. Долгушин, правильно писал: «Разговор о глубине, о проникновении в суть образа ушел на второй план. Многим это кажется старомодным».

В своей статье Р. В. Захаров не случайно уделил довольно много внимания *сценическому характерному танцу.* Этот наиболее демократичный по своей природе вид хореографической пластики играет значительную роль в расширении выразительных средств балетного искусства. Между тем за последние годы получила распространение справедливо критикуемая Р. В. Захаровым «теория», что характерным танцем должны заниматься только ансамбли. Нам кажется, что эта «теория» глубоко ошибочна. Сценический характерный танец настолько же отличается от танца в ансамбле, насколько последний от народного первоисточника. Как мелодия простой народной песни, услышанной композитором, часто становится основой для создания сложного музыкального произведения, так и танцевальный фольклор, обогащенный движениями классического танца, стилизованный и подчиненный действенным задачам, заложенным в сюжете, превращается в сценический характерный танец. Элементы народной хореографии при этом как бы укрупняются, театрализуются и

органически связываются с другими выразительными средствами балетного спектакля.

К сожалению, в хореографических училищах характерному танцу не всегда уделяется достаточное внимание. Еще хуже, пожалуй, обстоит дело во многих наших театрах. Здесь вообще отменены занятия характерным танцем. В последнее время в новых спектаклях на театральной сцене и в репертуаре ряда эстрадных коллективов почти исчезла, например, выразительная красота русских танцев. Вместо них широким потоком разлились псевдорусские лубки, персонажи которых окарикатурены, оглуплены и уподоблены бездушным манекенам.

Недостаточное внимание училищ и театров к характерному танцу приводит к тому, что значительная часть балетной молодежи начинает явно недооценивать этот важный жанр хореографии.

Аксиомой хореографического воспитания является обучение будущих артистов балета на материале классического наследия. Не менее важная сторона работы балетных училищ — это воспитание в молодом артисте стремления к созданию *образа нашего современника,* с тем чтобы эта цель стала его *жизненной потребностью* во всей дальнейшей сценической деятельности.

Конечно, хорошо бы посоветовать нашей молодежи брать пример с балетных коллективов наших театров, но, к сожалению, этот совет трудно исполнить. Руководители театров не скупятся на заявления, что создание спектаклей о советской действительности — их основная задача, но на практике, как правило, приступают к очередной переделке очередного классического балета или к постановке спектакля хотя и нового по названию, но тема которого весьма далека от советской современности. Так проще и спокойнее. Между тем настойчивые поиски решения современной темы в балетном искусстве должны проводиться и в театрах, и в школах.

Едва ли будет ошибкой сказать, что недостаточный интерес к современной советской теме в известной мере вызван проникновением на нашу балетную сцену под флагом поисков нового танцевального языка приемов модернистской хореографии. Отказ некоторых постановщиков от богатейших выразительных средств классического танца и мода на широкое использование «открытий» западного балета привели в ряде хореографических спектаклей к надуманности и аморфности содержания, что сплошь и рядом выдается за особого рода «интеллектуализм», за стремление постигнуть некие «философские глубины» и т. д. Между тем модернистский танцевальный язык, несмотря на имеющиеся в нем отдельные находки, в общем недостаточно богат и выразителен, чтобы им можно было передать бесконечное многообразие чувств и глубину переживаний человека. Именно ограниченность модернистского танцевального языка приводит на практике к тому, что совершенно различные, а иногда и прямо противоположные по своему характеру герои разных эпох и национальностей изображаются удивительно похожим стандартным набором поз и движений.

В еще большей степени эта ограниченность вскрывается при попытках создания на балетной сцене образа нашего современника и окружающей его советской действительности. Такие наиболее характерные особенности модернистского танца, как бессю-

жетность, абстрактная трактовка образов основных героев, увлечение сугубо сексуальными позами и движениями, широкое использование приемов западного варьете и мюзикхолла, эксцентрическая изломанность движений — все это не может, конечно, служить основным средством решения в балете *главной* задачи, стоящей перед всеми видами нашего искусства, — создания образа советского *положительного героя.*

Сказанное выше не означает, что выразительные средства балетного искусства не должны все время обогащаться новыми хореографическими решениями и, в частности, развитием и расширением танцевальной лексики. Однако уровень мастерства и сценической культуры молодых артистов балета в основном зависит от преемственности традиций. В хореографическом искусстве, не имеющем установленной системы записи танца, особенно важно, чтобы опыт предшествующих поколений как эстафета передавался молодежи.

Не будем забывать слова А. В. Луначарского о том, что «слишком часто в истории человечества видели мы, как суетливая мода выдвигала новенькое, стремившееся как можно скорее превратить старое в руину», а потом «следующее поколение плакало над развалинами красоты, пренебрежительно проходя мимо недавних царьков быстролетного успеха».

А. АНДРЕЕВ, заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств БССР

Ст. художественный редактор Б. Чупрыгин

Технический редактор Н. Строева

Сдано в набор 1/VIII 1974 г. Подп. к печ. 16/IX 1974 г. А01455.
Формат 84×108¹/₃₂. Печ. л. 10 (усл. 16,8). Уч.-изд. л. 21,4.
Тираж 590 000 экз. Зак. 1654. Цена 60 коп.
Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»,
103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.



Иллюстрации
художника
П. Бунина
к стихотворению
М. Ю. Лермонтова
«Бородино»



В 1975 ГОДУ ЖУРНАЛ „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Сергей Смирнов, ПОЭМА О ЛЕНИНЕ.
Иван Акулов, КРЕЩЕНИЕ. Роман, кн. 3-я.
Григорий Коновалов, НОВАЯ ПОВЕСТЬ.
Михаил Барышев, ЛЕГКО БЫТЬ ДОБРЫМ. Роман.
Николай Кузьмин, ДВА ОЧКА ПОБЕДЫ. Роман.
Муса Магомедов, КОГДА ОНИ РЯДОМ. Повесть.
Юрий Никулин, ПОЧТИ СЕРЬЕЗНО... Документальная повесть.
Василий Федоров, НОВЫЙ ДОН-ЖУАН. Поэма.

СВОИ НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАМ ОБЕЩАЛИ:

прозаики — Михаил Алексеев, Ахмедхан Абу-Бакар, Юрий Бондарев, Сергей Воронин, Сергей Высоцкий, Нодар Думбадзе, Микола Зарудный, Виталий Закруткин, Вадим Кожевников, Юрий Куранов, Аркадий Первенцев, Иван Стаднюк, Валентин Распутин, Альберт Усольцев, Вячеслав Шугаев и др.;

поэты — П. Бровка, С. Васильев, Г. Регистан, Н. Грибачев, Н. Доризо, Е. Исаев, В. Костров, М. Луконин, С. Львов, С. Наровчатов, Б. Олейник, Л. Ошанин, С. Орлов, А. Софронов, В. Сорокин, Н. Старшинов, М. Танк, Л. Татьяничева, В. Фирсов, Н. Хазри, Ф. Чуев и др.;

очеркисты — Л. Золотарев, А. Зябрев, В. Колыхалов, В. Пошатаев, Ю. Тепляков, И. Филоненко, Б. Чехонин и др.;

критики — А. Власенко, П. Выходцев, О. Воронова, И. Гринберг, А. Дымшиц, Ю. Зубков, Р. Захаров, В. Кочетков, М. Лобанов, О. Михайлов, В. Назаренко, А. Овчаренко, В. Петелин, Ф. Прийма, Ю. Прокушев, С. Семанов, М. Синельников, Вс. Сахаров, Бор. Соловьев, П. Строков, В. Чалмаев, А. Шагалов и др.

Подписку на журнал «Молодая гвардия» можно оформить в пунктах подписки «Союзпечати», у общественных распространителей на предприятиях, в колхозах, совхозах, в учреждениях, учебных заведениях, а также в отделениях связи и на почтамтах.

Подписная цена на год — 7 р. 20 к., на полгода — 3 р. 60 к.

Цена 60 коп.

Индекс 70544